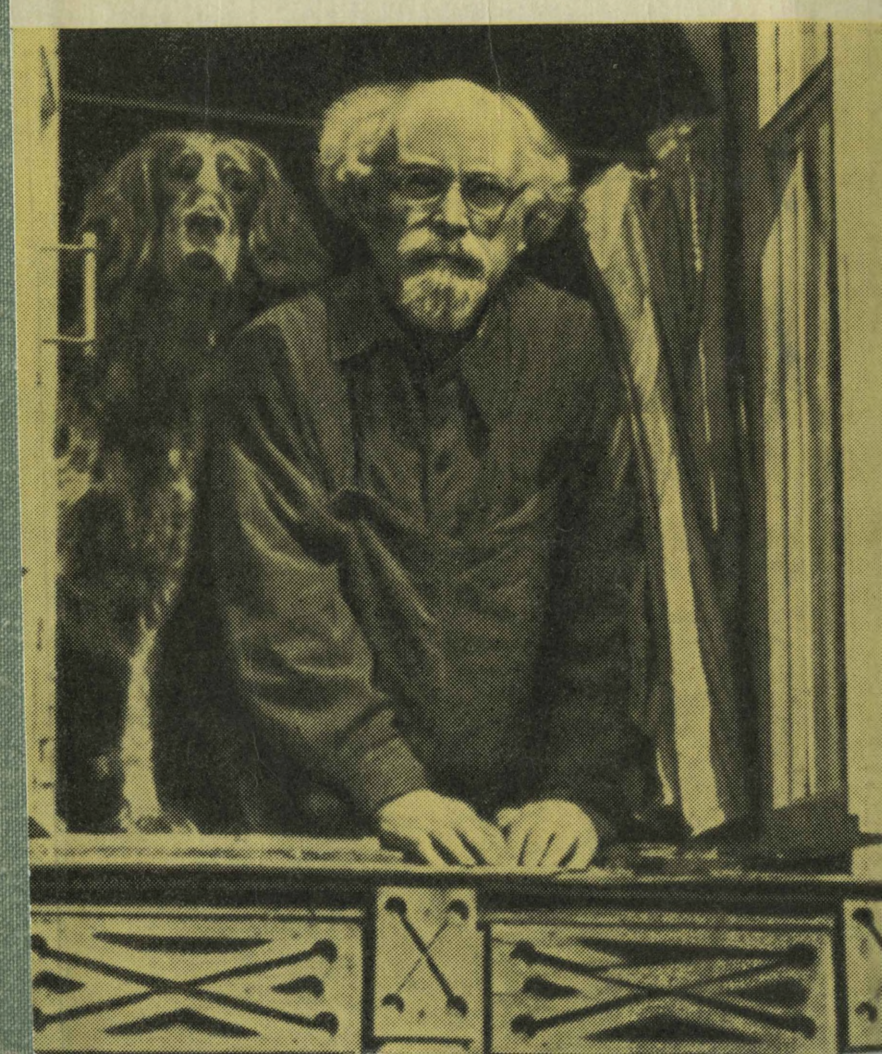
НАШ ДОМ

В. Пришвина

В. Пришвина

НАШ ДОМ



Тот маленький дом, в котором мы рождаемся, разрушается со временем, как и гнездо у птиц: птицы вылетают на большой простор, предоставляя гнездо дождям и бурям, а человек должен непременно достигнуть такого простора, чтобы тело свое почувствовать вместе со всей землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением, как свой собственный дом.

М. М. Пришвин





В. Пришвина

НАШ ДОМ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977

8Р2
П77

$П \frac{70302-077}{078(02)-77} 250-77$

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА



та книга о человеке, которого нет с нами, живущими, уже два десятилетия. Но бывает иногда — человек ушел, а потом с каждым годом мы изумленно наблюдаем, как совершается его возврат в нашу жизнь. И так жизнь продолжается. Это, по-видимому, и должно случаться с каждым дорогим нам человеком. Правда, некоторые, прошедшие по жизни незаметно, возвращаются лишь для немногих. Другие — великие — для всех. Но есть ли, возможно ли такое различение? Мы так напряжены, подчас так душевно рассеянны, живем так торопливо... Кто мал, кто велик — нелегко нам установить, и не о том сейчас наша забота.

Этого человека некоторые знают по его книгам, другие — понаслышке: был такой писатель Михаил Михайлович Пришвин, писал он больше о природе. Поэтому и называют его часто «певец природы». Казалось бы, все о нем ясно: певец природы, а на деле до ясности еще очень далеко. Сам Пришвин об этом записал однажды так: «Спросите кого угодно, что значит *природа*, о которой мы говорим ежедневно, — и никто не даст ясный ответ».

И правда, представим себе, что я или ты — мы идем

в какой-то счастливый день нашей жизни по зеленому берегу веселой реки, мы оглядываемся, с восторгом наблюдаем: сияет солнце, голубеет небо, играет вода, шелестят деревья, и цветут травы, каждая в ее форме и раскраске — совершенство. А воздух, этот таинственный источник нашей жизни! Каждый вздох — новый шаг, и танец, и игра, и подарок. Прекрасная природа!

И та же природа может стать ужасной для меня, если я иду, угнетенный какой-либо житейской обидой: солнце изнуряет, небо пугает беспредельностью, в которой, возможно, таятся враждебные мне миры; вода — холодными глубинами, где живут неведомые существа, скользкие, хищные. Деревья... кто хоть раз блуждал в незнакомом лесу, тот знает, какая это жуть. Цветы же говорят об одном — о мимолетности жизни: зачем, для чего была их беззащитная, хрупкая и такая совершенная красота? А воздух... Печаль давит на сердце, и оно потихоньку, потихоньку, вздох за вздохом напоминает: впереди тебя неминуемо ожидает твой последний вздох.

Понятно, что человек убегает от такой природы в какое-либо отвлечение.

Это как в музыке: слух человеческий требует гармонии звуков, и, если она нарушается, человек говорит: «Фальшиво!» Что же он ценит в природе, такой разной? Где он находит в ней гармонию? Пришвин как-то обронил в разговоре: «Гармония, это когда в природе человек находит соответствие своей душе». Пришвин всю жизнь не уставал твердить нам о каком-то глубоком нашем согласии или родстве с природой. В дунинском дневнике он записывает: «На ночь опять вернулась невыразимая мысль всей жизни... что сам человек тем только и человек, что соединяет в себе все, что есть в природе, расставляет эти свои части на места, и когда это верно приходится — все на места — то достигается нечто новое в жизни, называемое по-разному: культу-

рой, прогрессом, творчеством, и тогда вся природа включается в человека.

Когда же гармоническое действие в человеке не удается, то природа выпадает из человека и рассыпается на куски, облеченная в красоту и безобразие, в добро и зло, правду и ложь, тьму и свет, войну и мир... Тогда как бы под действием мертвой воды весь мир распадается на части, и это состояние получает тоже имя природы».

...«Невыразимая мысль всей жизни», — сказал сейчас Пришвин. Около этой тайны мироздания ходит он всю долгую жизнь (Пришвин умер на 81-м своем году). Да, он свидетельствует из личного опыта, а не из отвлеченных размышлений, что природа (он часто ее называет и космосом и вселенной) и человек — это одно.

— Как? — спрашиваем мы. — Маленький человек, этот муравей на необъятном шаре, слабее придорожной травы, которую мы, не щадя, не глядя, топчем ногами?

— Да, — отвечает Михаил Михайлович, — человек равен вселенной. Потому равен, что без человека эта без-мысленная природа — лишь собрание вертящихся малых и огромных шаров, и оно пусто.

Только человек ее о-мысливает — обнимает своей мыслью, включая в круг своего сознания и целенаправленного действия. Это деятельное одухотворение природы совершается силой человека, которую мы назовем сейчас для себя условно Поэзией. Некоторые, не вдумываясь, понимают под поэзией украшение жизни или ее красивость. Но это неправда. На самом деле Поэзия — это величайшая наша сила или способность мгновенно схватывать суть мира, жизни, вещей, а потом уж их изучать и осваивать. Пришвин часто называл поэта душой природы.

О нем самом — о таком человеке — и будет наш рассказ.

Мы встретились в начале 1940 года на 67-м году его жизни: уже начиналась его бодрая и на редкость красивая старость. Когда хотят дать образ человека, то ведут обычно рассказ с начала — с его детства: где родился, как рос. Мы же будем начинать с конца, потому что в спелом и беспорочном плоде содержатся все соки и сохраняются все следы постепенного и прекрасного его вызревания. Сам Пришвин так именно и записал тогда, в ту памятную зиму 1939/40 года. Обсуждая будущую книгу о своей жизни и творчестве, он говорит: «Исследование своей жизни я предложил не с начала моего рождения, а с настоящего дня, в котором содержится все мое прошлое».

Первое мое о нем впечатление: среднего роста, широко сложенный — полным его тогда назвать было еще нельзя. Он много двигался — движение до утомления, и так было не ради здоровья — этого требовало постоянное дело. Польза вытекала у него естественно из деятельной жизни, и потому к спорту как к самоцели он никогда не прибегал:

«Охота. Весь день в переживании мускулов. Но нечего горевать: мысли радостной вереницей придут... Когда измученное тело начинает отдыхать, мысли тогда принимаешь как явления отдыха тела».

«Охота мне дорога из-за того, что я работаю ногами и не думаю. Но все, что пропущено в голове, потом является с такой силой, какой не добьешься в правильной жизни».

У него были сильные ноги охотника и ходока на большие расстояния. Так, в 1927 году, пятидесяти пяти лет от роду, он записывает в дневнике после осенней охоты, что в общей сложности за восемьдесят дней он прошел «две тысячи верст, да еще по болотам».

А руки у Михаила Михайловича были слабые, он не раз нам в том признавался, да и мы сами это замечали. Вот почему любимым ружьем была простенькая самая

легкая двустволка 24-го калибра. С ней он никогда не расставался, и сейчас она висит у его постели в последнем обиталище — в Дунине.

Руки Михаила Михайловича, форма их кистей и пальцев обратили мое внимание на себя при первой же нашей встрече. Тонкое запястье — оно как-то по-детски доверчиво и незащищенно выглядывало из-под рукава; небольшая ладонь, ровные, как у юноши, без единого узла на суставах, пальцы с овальной формы гладкими ногтями. Это были руки художника.

Мы знаем, как много говорит о человеке его рука, знаем по работам великих мастеров-портретистов. Рука Пришвина подтвердила мне сделанное им самим как-то признание, что он всю жизнь был физически несильным, легко утомлялся и хорошо это в себе знал. Свое долголетие и свою не изменившую ему до последнего дня работоспособность он создавал сам величайшей строгостью к себе, самим образом жизни: он не позволял себе тратиться на пустяки, на слабости, на дешевые, легкие удовольствия. Это не было ханжеством: он не боялся для себя свободы, но всегда стоял на страже ее границ и добродушно, и строго, и лукаво сам за собой наблюдал. Только когда люди прочтут весь огромный дневник — исповедь Пришвина, они убедятся, что это была не просто жизнь талантливого писателя, не пользовавшегося громкой славой, — это был еще и большой нравственный подвиг, вызывающий уважение; постоянная внутренняя работа души на ее подъеме.

Приведем пока лишь одну запись Пришвина 30-х годов, еще неизвестную читателю. Она легка, даже шутлива, но подтверждает высказанную только что мысль. Изложена она тем единственным «пришвинским» языком, которому характерна не просто стилистическая правильность, а стремление зафиксировать мысль, факт. Называется эта запись *«Как я бросил курить»:*

«Опыт борьбы с куреньем табака и Льва Толстого, и знаменитых медиков не только не дал каких-нибудь положительных результатов, но даже, по-моему, в конце концов прибавилось курильщиков. И потом, если табак мне сейчас приятен, а вред скажется только в старости, то зачем я буду бросать и портить молодость из-за счастья старости... И бросил я курить совсем по другой причине.

Было это утром, я встал с левой ноги и обидел жену. Я был неправ и сумрачный вышел из дому. И тут вдруг я увидал в то утро, что жизнь везде хороша: солнце, воздух, аромат, птицы поют, все чудесно вокруг, а у меня сумрачно, и я виноват.

«Разве, — подумал я, — вернуться домой и попросить у жены прощенья? Нельзя! В сущности же, я не так перед ней, как перед собой виноват. И надо не замазывать вину просьбой прощенья, а в самом деле исправить все обещанием. Но ведь забудешь обещание, а как бы сделать, чтоб не забыть?» И тут мне пришло в голову оторвать от себя вдруг тридцатилетнюю привычку курить: тогда ведь никогда не забудешь. А могу ли? Ну, вот еще, конечно же, я могу! Швырнуть папиросы подальше и потом опять не курить, опять не курить... Нужен договор, нужна клятва. С кем договор, кому клясться? Людям сказать — посмеются и не поверят, скажут: «Опять закуришь, знаем...»

И вдруг мне пришло в голову с самим табаком заключить договор. Я вернулся домой и записал: «Договор с табаком... года, месяца, числа. Табак освобождает меня от куренья навсегда. Я обещаюсь и клянусь никогда никому не говорить о вреде табака».

Немедленно, когда подписал этот договор, радость жизни вернулась ко мне, и я с восторгом, как маленький, отправился по своему делу. И первый день я не мог сказать, чтобы мне было очень трудно. На другой день вечером я возвращался домой — вдруг грусть, что ведь

никогда! Третий день я страдал и всю ночь не спал. Следующие ночи — день жить было почти невыносимо, ночью бредил. Жена почувствовала глубину моего страдания и упрашивала сказать, объяснить. Я ответил, что могу открыть ей только в конце недели, в субботу вечером...

И прошло уже пять лет, а в душе я все так же люблю табак и часто радостно гляжу на хорошие табачные коробочки. Иногда в ресторане за столом я вижу — на полочке лежит шоколад, на другой полочке апельсины. А ниже пачки с чем-то апельсинового цвета. «Что это — на третьей полочке?» — спросил я, и мне ответили: «Это папиросы «Сафо».

Какие милые коробочки! Рот просит. О, табак, как ты приятен!

Курите же, граждане дорогие, курите себе на здоровье и радуйтесь. Но если придет время и заставит жизнь дать клятву — держите свое слово твердо, благодарите табак за принесенную радость и не говорите никому о вреде табака — не это убеждает, исправляет людей — пустые хитрые рассуждения».

Радость жизни, умение подняться над серостью будней и показать нам их смысл и красоту — все это не было дано от рождения, а создано нравственной волей этого человека, его убежденностью в добре жизни.

Пришвина (подобно всем нам) встретила в детстве жизнь как поле битвы добра и зла, радостей и страданий. Это было и страшно, и дивно, и повелительно: все звало бороться! Бой Ивана-царевича с ненавистным Кащеем из народной сказки, слышанной им чуть ли не с колыбели от няньки, потом от орловских мужиков, среди которых рос будущий писатель. Вся сила его была именно в этой убежденности, что «добро перемогает зло».

Однажды, в 1942 году (в трудные дни, когда мы были заброшены военными событиями в глухие ярославские леса), Михаил Михайлович переснял и отпечатал для меня по собственному побуждению свою сохранившуюся детскую фотографию, подарил ее мне и сделал тут же в дневнике такую запись: «Напечатал для Л.* свою детскую карточку «Курымушку» и вспоминал свое прошлое, — мне кажется теперь, будто мальчиком я не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал».

Этот подарок и эту запись хранила я с тех пор как завет, как ключ к будущей книге о Пришвине. На фотографии изображен мальчик, по семейному прозвищу Курымушка. Судя по надписи на ней рукой Пришвина, ему там восемь лет. Взгляд мальчика обращен внутрь, к своей душе с вопросом и в то же время с каким-то уже созревшим решением. Мы понимаем: это маленький рыцарь перед великим жизненным сражением. Оно продлится до последнего вздоха Курымушки — Пришвина.

Каков же он был, когда я встретила его стоящим уже на пороге старости? В чем-то он казался все тем же мальчиком, как на детской карточке, только насколько же светлей и освобожденней! Видимо, много уже было у него одержано над собой нравственных побед. Об этом свете, доставшемся нелегко и не даром, лучше всего скажет нам запись Пришвина, сделанная уже в Дунине в 1947 году: «Я буду писать о той радости жизни, какая бывает последствием трагедии. Они же (читатели) будут понимать как радость языческую, пантеизм, детство...»

Если предположить, что у Пришвина к старости совершился какой-то новый поворот мысли, мы ошибемся. Вот как думал он, например, за 20 лет до того, в 1927 го-

* Л. — начальная буква моего домашнего имени, которая и будет употребляться в дальнейшем в соответствующих случаях. У Пришвина оно писалось целиком. — *В. П.*)

ду: «...Поэтическое творение будет здоровым, сильным, прекрасным, если оно является завершением трагедии жизни. И оно будет упадочным и убийственно вредным, если для осуществления его поэт отстраняет от себя простую, общую всем трагедию жизни».

Люди, знавшие Пришвина в молодости, говорили и писали, что он был похож на цыгана (видимо, из-за его черных волос). Когда я встретила его, ничего цыганского в нем не оставалось. Это было привлекательное, открытое и очень русское лицо.

Спутники и свидетели жизни нашей быстро уходят. Фотографии остаются все такие разные... Вот почему хочу я описать, какой мне запомнилась наружность Михаила Михайловича при первой встрече.

У него был небольшой и правильный нос с тонкими ноздрями. Чистой, четкой формы рот.

Рот несколько скрыт подстриженными усами. Небольшая борода. Скульптурный лоб, он переходит в открытый спереди высокий купол головы. Пришвин не знал, как это было выразительно, красиво. Есть у него в дневнике запись о том, как с годами ему «пришлось зачесывать волосы свои наперед», и кто-то открыл их однажды (это была писательница О. Форш. — *В. П.*) и сказал: «Зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина». И вот я мало-помалу примирился с лысиной».

На затылке и висках круто и крупно вились густые волосы, черные с обильной сединой. Волосы были от природы тонки и потому лежали легко и подвижно: они *осеняли* лицо. Светлый оттенок кожи (чистота ее была как у ребенка, и так до последнего дня) в соединении с блеском седины в кудрях, их легкость — все это создавало впечатление полета, свечения. Голова жила и смотрелась как-то независимо от тела, она венчала его.

И вообще надо сказать, что чем старше становился Михаил Михайлович, тем одухотворенней было его лицо,

Так воспринимали не только художники, его писавшие, но и все мы, близкие друзья.

В связи с этим вспоминается собственное наблюдение Пришвина по поводу своей матери. Он как-то записал, что мать его «только к старости стала по-настоящему красивой, привлекавшей к себе людей».

Глаза у Михаила Михайловича были серо-зеленые, менявшиеся в окраске, вероятно, в зависимости от самочувствия. Их особенность — выражение напряженной мысли и ее двойное устремление: и внутрь себя, и к собеседнику. Полная отданность внимания человеку, доверие и открытость и в то же время какая-то твердость в себе, даже неприступность: собеседник не должен был переступать через эту оберегаемую мысленную грань. Трудно передать мне это выражение словами... Видимо, это была победа над старческой естественной расслабленностью — над старением души. Мы это старение не заметили у Михаила Михайловича до его последнего часа. Что́ — мы! Об этом убедительней всего свидетельствует дневник писателя — сколько в нем силы и света.

Голос Пришвина был мягок, глуховат, по тембру — баритональный тенор. В произношении Михаил Михайлович сохранил до старости родное елецкое смягченное «г». Речь его была речью человека не пишущего, а сказывающего, она не была связана никакими синтаксическими и грамматическими условностями и правилами. Она всецело подчинялась одному — музыкальному ритму. Так и надо понимать собственное высказывание Пришвина: «Сказку я понимаю в широком смысле слова как явление ритма». Поэтому в устных выступлениях Пришвин делал повторы, паузы, позволял себе иногда какие-то неопределенные междометия, вроде оханья или легкого помыкивания, перемежал рассказ обращением к слушателям или выражением личного отношения к сказываемому — прямым обращением к себе.

Это было море мыслей и чувств, игра интонаций, от-

тенков, в котором рассказчик плыл вполне свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь.

В этой абсолютной свободе от книжных условностей и одновременно в строжайшей подчиненности музыкальному началу, и еще в ощущении родства с каждым слушающим его человеком (родства если и не осуществленного, то заданного) — в этом всем был, видимо, секрет обаяния пришвинского живого слова, как интимных бесед, так равно и выступлений с общественной трибуны.

Именно это свободное словесное творчество Пришвина и было источником его писательства. Он наблюдал и слушал с детства и до старости живое слово народа: как говорят женщины «у плетней, у колодцев»; как перешептывается мать со своим ребенком; как шепчутся влюбленные; как переговариваются старики, греясь на солнце у завалинки.

Пришвин пишет в дневнике: «...Так вот, бывало, один обращается к другому с такими словами: — Друг, скажи по правде. И друг отвечает: — По правде говорю тебе.

И вот эта правда понимания друг друга и есть наука простого человека, его философия и его поэзия».

И дальше: «Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным».

У каждого такого «незнакомого — родного» человека Пришвин и учился. Между прочим, учителем его был и прославленный художник Репин, о котором как о рассказчике мы можем сообщить сейчас некую подробность, может быть, и не отмеченную его биографами.

В дневнике Пришвина есть законченный рассказ о встрече с Репиным, фрагмент из которого мы сейчас приведем.

«...Я пришел в Тенишевский зал (в Петербурге) на лекцию Чуковского о Некрасове. Не помню, то ли я рано

пришел, то ли запоздал лектор, но вышел значительный промежуток времени между моим приходом в зал и началом лекции.

— Смотрите, — сказали мне, — вот и Репин идет.

Я стал у стены. Репин прошел мимо меня и сел в первом ряду. Это был старичок худенький, небольшого росту.

Я один раз слышал его выступление на большом съезде художников, и его манера говорить поразила меня и на всю жизнь вдохновила. Он говорил не как ораторы говорят для отвлеченной аудитории, а как говорит кто-нибудь для семьи своей или друзей дома. Мы все во время речи Репина, очень смелой, освобождались от условностей, становились большой семьей почитателей искусства, людьми, родственно связанными своим служением большому делу.

С тех пор Репин, конечно, постарел, подсох, но все же это был Репин. Мне вспомнилась его речь, и вдруг захотелось мне перекинуться с ним двумя-тремя фразами.

— Как бы мне с ним познакомиться? — спросил я.

— С Репиным! Да разве можно знакомиться с Репиным, — у него и незнакомые все знакомые. Подойдите просто к нему и приветствуйте.

— Здравствуйте, Илья Ефимович, — сказал я, подсаживаясь к Репину.

— Здравствуйте, милый мой, — ответил тот, — что это вас давно не видно? Откуда вы приехали?

Тут я соврал:

— Из Ельца, — говорю, — приехал.

— Из Ельца! Ну, рассказывайте, как там живопись в соборе — не чернеет? Только пойдемте в буфет чай пить, успеем, пока Чуковский начнет.

Так я познакомился с Репиным и сел чай пить как совершенно знакомый, свой человек. Правда, он не знал моего имени, не знал, чем я занимаюсь. Но в общении

с ним меня это не смущало, казалось, будто это все личное мое неважно, а самое главное общее, входящее в каждого человека, составляющее как бы всего человека, — это он знал, и это одно было важно и для него и для меня...»

Повторим: «...его (Репина) манера говорить поразила меня и на всю жизнь вдохновила».

Из-за этой-то особенной свободной манеры говорить, ее доверчивой искренности Пришвина часто принимали за хитреца. Люди вообще как-то с трудом верят искренности и часто ее встречают с опаской. Вот почему искренность, осуществляемая всерьез, — это признак большой цельности. «Жизнь основана на доверии, — говорит Пришвин, — которое не всегда оправдывается, — значит, на доверии героическом и жертвенном».

Пришвин так и понимал свое положение среди людей и шел на это героическое испытание искренностью. Часто он терпел поражения. Но зато именно на этом пути он приобретал верных друзей. Есть у него такая запись, выхватывающая и освещающая живой кусок его быта. Запись эта от 2 января 1940 года:

«Пришла ко мне маминская комиссия (комиссия от Гос. Литер. музея по устройству юбилейного вечера Мамина-Сибиряка. — *В. П.*). ...За чаем я им много наговорил о Мамине, о себе, с выработанной манерой, ставящей перед слушателями задачу решить, кто я? — открытый простак или хитрец, юродивый, играющий в простоту... Помню, однажды задал я этот вопрос Шкловскому, и тот решил, что я хитрец, и высказал это с уважением... Сам-то я себя считаю простаком. Скорее же всего все это кажущееся раздвоение происходит от моего живого народного языка, который встречается со школьной условностью речи среднего интеллигента: он тут спотыкается».

Возможно, Пришвин прав: человек, испорченный «лукавством» письменности, втиснувший естественную

живую речь в железный корсет формы, такой человек — «средний интеллигент» — действительно «спотыкается», так как не верит искренности сказителя, не верит потому, что его речь непохожа на письменную. Она прежде всего импровизация. Недаром существует эпитет — живое слово. Живое оно потому, что творится тогда же, когда и сказывается. И значит, мы вынуждены противопоставить его какому-то мертвому слову — от этого сопоставления нам никуда не уйти.

Письменная речь у Пришвина была уже вторичным проявлением его словесного творчества, и она с несомненностью несла на себе следы живой его речи. Значит, одному и тому же делу служил в Пришвине и сказитель и писатель. Стихия того и другого — это единая стихия слова, которое есть в существе своем не что иное, как усилие пробить кору чужой замкнутости.

Однако люди часто в Пришвине этого не понимали или понимали ложно, чему он сам способствовал парадоксами своих лаконических высказываний. Вот запись в 1946 году, сделанная в санатории «Поречье»:

«За ужином за мой столик сели две девушки.

— Почему в ваших книгах задушевность? Вы человека любите? — спрашивает девушка.

— Нет, — ответил я, — люблю не человека, а язык, держусь близости речи, а кто близок к речи, тот близок и душе человека».

Эта отданность или любовь к слову не раз наводила читателя на ложный след. Так, возможно, собьет с толку и сейчас кого-то приведенная только что запись Пришвина. Внешне она звучит как парадокс, потому что облечена в предельно сжатую форму. В то же время она выражает глубочайшую мысль Пришвина: он любит человеческое в человеке, иными словами, лучшее в нем, и это он видит воплощенным в языке — в смысле; это, а не просто высшее биологическое существо в природе любит он и называет человеком.

Конечно, была тут и тайная игра писателя с читателями: недоговоренностью или загадочностью своих слов он заставлял поглубже вдуматься в трафаретный, обращаемый к нему вопрос. Было время, люди, подобные З. Н. Гиппиус, воспринимали Пришвина как «бесчеловечного писателя», писали так о нем. Он же всю жизнь только и делал, что пером, как молотком или сверлом, продалбливал ход к чужой душе. «Терпи, — есть конец этому сверлению, — пишет Пришвин... — Это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе».

Говоря языком позднего Пришвина, так совершается создание целокупного организма Всечеловека — величайшая, далекая, но неотвратимая наша задача — задача всей многовековой человеческой культуры. Первый шаг к этому — уметь прислушаться к другому человеку и сказать ему свое на понятном языке. Этим и был занят всю жизнь Михаил Михайлович Пришвин.

Нет-нет и вспоминают еще то в печати, то в беседах выступление Пришвина на слете молодых писателей, проходившем в марте 1951 года в Москве.

От этого выступления, состоявшегося четверть века тому назад, запомнилось неповторимое своеобразие, свежесть, доходчивость.

Ему, старейшему, дали слово. Он начал: «Приветствую вас, молодые товарищи! Поздравляю вас...» — и сделал паузу.

Старейший мастер — к ним, начинающим, зеленым, чем-то будет он их поучать с высоты своего опыта, подобно тому как слышали они это от предыдущих ораторов?.. И вдруг — невозможно даже предположить сейчас, что было сказано Пришвиным в д р у г!

Михаил Михайлович широко, победоносно окинул всех веселым глазом и сказал: «Поздравляю вас — грачи прилетели!»

Наступило недоумение, момент молчания, потом взрыв восторга: все поняли, к чему он вел, этот старик,

в душном, набитом людьми зале: это было о весне, значит, о молодости, о всепобедительной радости жизни. И тут раздались аплодисменты и возгласы благодарности.

На примере этого своего выступления Пришвин записывает для себя самого, как совершается обычно в нем процесс живого словотворчества:

«...На мгновение мне было так, будто я все слова позабыл и сказать мне теперь нечего. Но так бывает постоянно со мной при переходе с записанной речи к устной, к тому языку, каким мать мне говорила и учила меня его первым словам.

Каждый раз, когда я, забыв на мгновение все, чему меня учили, берусь за эти родные слова, мне кажется, будто не слово приходит ко мне, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, со сверкающими глазками, с острым носиком, как у синички, и это — я сам.

Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что сказка эта сказывается. И потому она мне кажется, эта сказка, крылатой и свободной, что я всю жизнь трудился, учился так же свободно писать, как она сказывается, и все-таки не мог обратить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях и в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев».

Мы знаем случай, когда жизнь Михаила Михайловича висела на волоске, и спасло его тогда тоже живое слово, и потому спасло, что оно неразрывно связано у русского человека с чувством юмора, у каждого, у кого это слово подлинно живое, а не деланное.

Это было на родине, в Ельце, в гражданскую войну, во время нашествия одной из многочисленных банд. В тот раз отряд состоял почти исключительно из киргизов. Пришвина — брюнета — приняли ошибочно за еврея и без суда поставили было к стенке под взведенные дула ружей. Тут бы ему и конец, но вдруг он вспо-

мнил слова приветствия на киргизском языке, запавшие где-то в кладовую памяти от недавней поездки по Киргизии в облике «черного араба» *. И он их произнес, эти слова, направив к людям, нацелившим на него ружья.

По-видимому, не только слова, но и сама интонация доверчивого бесстрашия несла в себе такую силу, что ружья опустились — Михаил Михайлович был спасен.

Много такого рассказывал и записал он о силе устного слова. Не потому ли тотчас после нашей встречи мы с Михаилом Михайловичем решили очистить нашу общую, теперь соединенную библиотеку от всего второстепенного, оставив себе лишь «вечных спутников»? В союзники себе мы взяли тогда первого нашего народного философа, жившего в XVIII веке, — Григория Саввича Сковороду, который придавал особое значение искусству чтения. Он учил читать мало и углубленно. Мы с восторгом приняли тогда такое его поучение: «Мы шатаемся по бесчисленным и разнородным книг стадам — без меры, без разбору, без гавани. Больный разных тварей беспокоит, а здоровый одной ядью сыт. Скушает одно со вкусом — и довлеет.

Нет вреднее, как разное и безмерное. Пифагор, разжевав один треугольник, сколько насытился?»

Объем мысли Пришвина был таков, что одни его светлые до прозрачности рассказы печатаются в хрестоматийных сборниках для малых детей, другие вызывают подчас споры и недоумение взрослых. «Это хорошо, — говорят они, — образно, музыкально, очень народно, но слишком г у с т а мысль. — И добавляют: — Расскажите, какой он был, Пришвин!»

Мы могли бы ответить словами одного из самых чутких читателей Пришвина — Константина Георгиеви-

* См. его повесть «Черный араб».

ча Паустовского, написавшего предисловие к посмертному Собранию избранных произведений Пришвина. Он пишет так: «Пришвин — один из своеобразнейших писателей. Он ни на кого не похож — ни у нас, ни в мировой литературе. Может быть, поэтому существует мнение, что у Пришвина нет учителей и предшественников. Это неверно. Учитель у Пришвина есть. Тот единственный учитель, которому обязана своей силой, глубиной и задушевностью русская литература. Этот учитель — русский народ. Народность Пришвина цельная, резко выраженная и ничем не замутненная... Жизнь Пришвина была жизнью человека пытливого, деятельного и простого. Недаром он сказал, что «величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди». В этом «быть как все» и заключается, очевидно, сила Пришвина. «Быть как все» для писателя означает стремление быть собирателем и выразителем всего лучшего, чем живут эти «все», иными словами, чем живет весь народ, его сверстники, его страна...

В повестях, рассказах и «географических очерках» Пришвина все объединено человеком — неспокойным, думающим человеком с открытой и смелой душой. Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к человеку... Его не интересует наносное. Его занимает суть человека, та мечта, которая живет у каждого в сердце, будь то лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача! А сделать это трудно. Ничего человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и, уж конечно, не выносит прикосновения человеческих рук. Только единомышленнику можно доверить свою мечту. Таким единомышленником безвестных мечтателей и был Пришвин».

Казалось, этой характеристикой художника другим

большим художником мы могли бы ограничиться в своей зарисовке портрета писателя и человека. Но в те же самые годы тот же К. Г. Паустовский напутствует молодого писателя Сергея Никитина, шедшего впервые на свидание с Пришвиным, и говорит ему вдогонку: «Конечно, сходите к нему. Обязательно! Только смотрите, чтобы он не запутал вас. Начнет колдовать, берегитесь. Колдун!»

В своей книге «Золотая роза» Паустовский повторил о Пришвине почти те же на первый взгляд странные слова.

Нередко мы наталкиваемся на этот оттенок то влюбленного, то любопытствующего недоумения. Чего-то Пришвин действительно не успел или не сумел по разным причинам досказать. Для полного понимания художника нужно, чтобы прошло время, то время, впереди которого он всегда движется силой своего особого художнического дара. «Поэзия — это предчувствие мысли», — говорит Пришвин. Иными словами, дарование поэта в том, чтобы опережать время, угадывать его направление и его смысл, чтобы в образе воплощать движение жизни, эту лаву, еще не остывшую, не затвердевшую в логической формуле, в незыблемом факте бытия.

Систематизировать художественную мысль, загнав ее раз и навсегда в заранее заготовленные логические отсеки, — это значит ее убить. И если на этом пути мы могли бы даже получить полезный для нашего здоровья мед, собранный с цветов, сами-то живые цветы погибнут.

Две темы, или лучше сказать по Паустовскому — две «мечты», замечаем мы у Пришвина как человека и художника: первая — это мечта о личном счастье, понимаемом как общение с другом по духу. Когда читаешь его многолетние дневники с молодости и до глубокой старости, остается одно впечатление, один образ: душа,

жаждущая любви! Любовь, о которой мы сейчас говорим, — это «радость о бытии другого». В таком понимании личное счастье, которое иной человек даже стыдливо скрывает, — это счастье облекается у Пришвина великим светом и смыслом.

Это радость о друге сочувственном, со-мысленном, ценителе твоей души и твоих лучших стремлений; слово «друг» тут в самом богатом его понимании.

Но здесь и открывается: счастья двух, если только они прячутся в нем от всего живого, тоже борющегося за радость, — такого уединенного счастья мало для человека. Человек, оказывается, тем только и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения со-отнесен. Эта *весть* и есть наша человеческая со-весть: так названо и освящено веками и поколениями родное, прекрасное, точное слово.

Совесть и является, по-видимому, синонимом поэтического призвания, иначе говоря, голоса, подающего нам весть о чужом существовании как о своем. Это слышит в своей душе безобманно каждый подлинный поэт.

Что же делать услышавшему этот зов? Единственное — ринуться на помощь или на сорадование всем существом, забыв себя.

Самозабвение — это щедрый *ответ* на голос родства, это чувство ответственности. Оно может проявиться в самой малости, в самой, казалось бы, ничтожной повседневности.

Но разве для поэта, услышавшего тот голос, может быть что-нибудь ничтожным в природе?

Как пример выберем у Пришвина самую малость — описание первой зеленой травы:

«...Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка, и кто бы ни прошел, тот сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость... Вот по-

чему я *выхожу из себя* и записываю сегодня для всех: «Зеленеет дорожка, друзья мои!»

Оказывается, именно в обращенности ко всему живому, в самозабвении, в этом особенном вольном воздухе духовной свободы — в этом полете души и встречает человек свою радость. Достаточно ее увидать — и тут же слетаются к нему, тоже как птицы, наши лучшие слова, издавна полюбившиеся народу и утвержденные великой русской литературой. Это — «справедливость», «самоотверженность», «со-чувствие» и, наконец, «любовь».

Вот как преображается вторая тема Пришвина — тема общечеловеческой связи в дело жизни. Это уже не мечта — это работа. Пришвин четко называет ее для себя: родственное внимание. «Внимание как величайшая творческая сила, лежащая в основе *всякого* дела на земле».

Эти две темы — родство с другом и осуществление жизненного дела, обращенного ко всем, — они срастаются, становятся творческой необходимостью, как у птицы два крыла, чтоб ей дальше лететь.

Выход из себя — радостная самоотверженность безгранично расширяет пространство, где живет и ожидает нас друг. У Пришвина его устремленность к человеку идет через всю жизнь, причем друг этот может быть за тысячу верст и «даже без имени». Но тем не менее к нему направлено все, о чем пишет художник. Чтобы стать счастливым, достаточно уверенности в том, что друг существует.

Пришвин не запрашивает многого у жизни — он только борется за человеческое достоинство, за лучшее, в то же время строго проверяя себя по природе: не нарушил ли он пределы ее гармонии, ее мудрого равновесия. Пришвин не отделяет вовсе себя от природы, и в то же время он поднимает ее на мыслимую человеческую высоту.

«Природа — это любовь, а человек — это что из любви можно сделать». И еще он пишет так: «Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому».

В этих двух берегах, или «мечтах», и протекала жизнь и работа М. М. Пришвина. Он записал в своем дневнике: «Чем я силен? Только тем, что ценное людям слово покупаю ценой собственной жизни».

Такие слова записал он, конечно, для себя одного и побоялся бы человеческого к ним прикосновения. «Мечта не выносит самого малого осмеяния», — прочли мы только что у К. Г. Паустовского и не без колебания решились открыть это интимное признание читателю.

Перечитывая написанное Пришвиным за пятьдесят лет, устанавливаешь для себя почти что закон: не устаревает искреннее, такое, где, по слову Пришвина, писатель еще не успевает «излукавиться». И потому потомки ценят искреннее, пусть даже в чем-то несовершенное, иначе сказать — не довершенное художником по каким-то причинам. Происходят постоянные изменения в сознании, изменения во внешних событиях и обстановке жизни, и в то же время человек остается неизменяемым в своем существе от рождения и до могилы. Это можно сказать о М. М. Пришвине. Впрочем, каждый, кто имеет за плечами долгий путь, тот знает: жизнь, оказывается, коротка, как одно усилие, как рывок в неизведанное пространство. Она так коротка, что ребенок не успевает состариться перед лицом великой вечности; стареет лишь тот, кто поддался Кащею (проще говоря — всякому проявлению зла) или сам превратился в него.

Что такое достойная, даже счастливая старость в понимании Пришвина? Это итог жизненного труда, это полнота, это завершение круга: конец жизни смыкается с ее началом. Значит, это и возврат к детству, его искренности, свободе от условностей, к тому человеку,

который, по слову Пришвина, «еще не успел излукавиться» в житейской борьбе.

Эту свою прекрасную старость Пришвин провел в деревне Дунино под Москвой.

Название «Дунино» будет означать для нас не только местность, но и определенный строй души, образ жизни и содержание работы.

ПОИСКИ ДОМА



се мы, люди, стремимся поскорей остановиться на полюбившемся нам месте, чтоб сделать его постоянным своим домом. У Пришвина было иначе: он не столько жил, сколько скитался по Руси с кое-как налаженным бытом. Без преувеличения можно сказать — он кочевал до середины 20-х годов по российским просторам, а уж чем-чем — этим-то наша Родина всегда была богата.

Простором, свободой независимой бедности и богатела и дышала душа художника. Таким он был.

В стремлении «уроднить всю землю» (слова Пришвина) лежало ощущение мира как вселенского дома. И как бы в раскрытие этой потребности творческой души преодолевать границы — мысленные, пространственные, всякие — мы приведем тот незначительный в общем-то, но нам много говорящий факт, что это начало в Пришвине очень точно поняли и выразили словами чехи. Это они еще при жизни М. М. Пришвина назвали переведенный ими сборник произведений Пришвина «Очарованный странник» *.

* M. Prišvin. Okouzlení poutník. Praha, Družstvo Dílo, 1948.

Михаил Михайлович рассказывал, живописуя словами, свое далекое прошлое: по проселку медленно движется телега, наполненная домашним скарбом. На телеге женщина с двумя мальчиками. Верх воза венчает корзина с петухом: по народной примете петух из старого дома — это счастье в новый дом. Сзади трусят на сворке охотничьи собаки. Хозяин идет рядом с вожжами в руках. Попыхивает трубкой. Размышляет о чем-то своем... Семья переезжает на новое место.

Вспоминается запись Пришвина в одном из поздних его дневников: «...я всю жизнь ищу, где бы свить гнездо, каждую весну покупаю где-нибудь дом, а весна проходит, и птицы сядут на яйца, и сказка исчезает».

Заметим: дом не как оседлость и покой, дом для него — это еще и *сказка*...

В юности мы уходим из дому на большой поиск, а потом, взрослея, стремимся создать собственный дом. То ли натерпелись по жизненным дорогам, то ли скопили себе нечто ценное — ищем ему защиту от недоброго, от нескромного глаза. Короче сказать — мы ищем покоя.

В народе так и называют комнаты удобного, просторного жилища несколько чопорным словом *«покои»*. Но, с другой стороны, тот же народ называет и умершего человека покойником, и могилу его домовиной... Нет, не такого покоя, не такого дома искал себе Пришвин — певец жизни, вечного ее возрожденья! Он страстно желал себе найти какой-то большой прекрасный дом. Может быть, назвать его счастьем? Обычного счастья, понимаемого как «удача», он тоже не искал. Ему нужно было какое-то глубокое и бескорыстное счастье, подобное тому, какое агроном находит в глубокой почве, иными словами, почве, благоприятной для выращивания растений.

Дом как счастье, и опять-таки не то ограниченное, собственническое, отягощенное заботами, о котором с

тончайшей иронией говорит народная пословица: «Домом жить — обо всем тужить».

Пришвин не мог оставаться с одной «домашней» всепоглощающей заботой, даже если это *свое* понимать как любимое дело, призвание, успех... Он жил ощущением всеобщности жизни, ее радостями и страданиями — вот отчего близка ему и такая народная пословица, высмеивающая эгоизм замкнутой домашности: «Зачем в люди по печаль, когда дома плачут». Призвание Пришвина как художника и народного мыслителя в том и было, чтоб ходить в люди по их печаль. Недаром именно эти две приведенные нами пословицы были подчеркнуты Пришвиным в словаре Даля.

Пришвин ищет всю жизнь, «где бы свить гнездо», ищет и не находит. Почему? Робко догадываемся: он как поэт ищет некое совершенство, а оно недостижимо... Вот почему каждый раз мечтаемая сказка его кончается, и остается только тропинка к нему — «извилистая, обманчивая, пропадающая».

Из позднего дневника: «...недоволен я собой: весь я в настроениях, нет смелости, прямоты, нет лукавства достаточного. Боже мой! как я жил, как я живу! Одно, одно только верно — это путь мой, тропинка моя извилистая, обманчивая, пропадающая».

Запись эта — в дни переселения в Дунино, в свой последний дом.

Кто так не думал? Перед подобной задачей ходил и великий Толстой, на старости лет метнулся было в осуществление, но не выдержал, погиб. А Пришвин, один из скромнейших его учеников в искусстве, записывает о том же, стоя на пороге старости, но записывает почти что с улыбкой. Нам ясно, это стояло и перед ним всю жизнь как сокровенная задача, и в то же время ясно и другое: им был найден *выход,* или иначе — в нем совершилось некое преодоление, до которого не дожил Толстой.

Запись 1940 года: «Это было в 1932 году... Я стал усиленно искать себе где-нибудь в глуши избушку, чтобы купить ее и поселиться в ней одному. Много я пересмотрел везде избушек; уединенней всех и красивей была изба в деревне Спас-на-Нерли. Только случайно я не купил ее, и потом так обернулось, что желанная «избушка Толстого» превратилась в квартиру в Москве».

Запись на грани шутки, но в ней запрятана правда. Таков прием художника: чтобы пробудить ответное живое чувство и мысль у слушателя или читателя, правда нуждается в образном толковании, в полупрозрачном покрове искусства — «выдумке» художественности. В этом, по-видимому, и состоит «полезность» искусства.

Раздумывая над этими строками Пришвина, понимаешь, что он действительно нашел выход или совершил в себе какое-то нравственное открытие, благодаря чему и не погиб, «как Толстой». Об этом, по существу, и будет весь мой дальнейший рассказ.

Перед тем как получить в 1937 году в Москве «желанную избушку Толстого», Пришвин приобрел себе в 1926 году впервые после многолетней страннической жизни «небольшой рыженький домик с тремя окошками на улицу». Это было в Троице-Сергиеве, ныне Загорске, в 70 километрах от Москвы.

Труден был писателю в его годы путь по железной дороге из Загорска в Москву по всякому большому и малому делу. А дела требовали частых поездок: он много пишет и много печатается. Дела приходилось устраивать «обыденкой» — ночевать негде. Пришвина волнует и подчас оскорбляет такое положение своей отстраненности от общественных связей и деятельности. Он пишет об этом неоднократно и с горечью в дневнике. Хранится черновик его письма от 21 марта 1931 года, адресованного в Союз писателей: «...после больших хлопот я купил в Сергиеве деревянный дом в три окош-

ка и с тех пор живу в нем, устраивая литературные дела обыденкой, так как номера в гостинице всегда заняты. По натуре своей, положению и возрасту я не могу отбивать силой комнату у претендента, не имеющего приюта в Москве и начинающего карьеру. И мне отказывают под предлогом, что я не городской человек и удовлетворяюсь жизнью в природе. Но это неправда. Я живу «в природе» только потому, что стесняюсь чуть что добиваться себе жизни в Москве. Но вот я пошел навстречу общему зову писателя к производству и городу... Я жил на Урале, получил там много тем, разрабатывать которые могу только по городским материалам. Мне совершенно необходима в Москве комната, в которой я мог бы удобно работать и уезжать из Москвы без опасения за целость архива моего. Мне сейчас комната нужна, необходима...» (Черновик обрывается. — *В. П.*)

Пришвин долго ожидает и наконец получает отдельную квартиру во вновь выстроенном писательском доме в Лаврушинском переулке, куда и переселяется из Загорска. Квартира в Москве была самым длительным по времени обиталищем Пришвина за всю его жизнь. Лаврушинский кабинет служил писателю с 1937 года и до его кончины в 1954 году.

Трудно преувеличить значение, какое имело получение отдельной квартиры в Москве — центре писательского «производства». Самое же главное — квартира эта дала возможность жить и работать уединенно и спокойно в большом шумном городе. «Художнику, — писал он, — запереться можно и надо от шума, от помех, но от жизни нельзя запираться, — ты должен слышать постоянно течение... Ты пишешь в уединении, но чувствуешь текущую реку... Ныне праздное уединение позорно».

Общение с предметами культуры, искусства, сосредоточенными в городе, никак не противопоставляется

Пришвиным излюбленной его теме общения с природой. Исключительную отданность свою теме природы в течение всей прошедшей писательской жизни Пришвин пытается теперь объяснить условиями своего многолетнего страннического и неустроенного быта. Это, несомненно, было односторонним, преувеличенным и потому неверным суждением: Пришвин попросту сейчас до предела увлечен новой для него темой города как *копилки культуры*. Однако ему свойственно искать на всех гранях жизни объединяющий их смысл. Вот почему и здесь, казалось бы, в таком частном вопросе, как перемена места жизни, он ищет целесообразность — связь со своим прошлым. «Когда вспомнишь о сближении своем с природой, то вспоминаешь, сколько этому счастью помогла бедность моя: нищенское существование до революции обрекало на деревенскую жизнь; после революции долго комнату не давали... стали вообще опускаться руки на перемену. Между тем при других обстоятельствах я мог бы так же, как природу, полюбить в городе искусство и книги.

Когда будет квартира, я непременно сделаю опыт в этом отношении: попробую пожить в городе «эстетически», то есть свободно, как в лесу». Это запись в марте 1937 года.

Через два месяца мы встречаем новую запись все о том же: «Если устроюсь в квартире своей, может быть, почувствую через предметы искусства дыхание истинной культуры человечества, как чувствовал через своих пташек дыханье матери-земли» *.

Ожидание квартиры становится все напряженней. Еще через два месяца (в июне) запись: «Мечты о квартире, что в Москве, именно в Москве! — закрою за со-

* Интересно сравнить запись, сделанную через десять лет, в 1947 году: «Начинаю понемногу понимать урбанистов: город как остров спасения... Утрата прежней веры в то, что там у лукоморья есть дуб зеленый: дуб этот срублен».

бой двери, и тут все мое, и что ни захочу, что ни задумаю — могу выполнить».

Какие желания владеют сейчас его увлеченным воображением? И вот ответ, как бы продолжение: «Любую книгу прочесть и купить!» Вот и все, оказывается, чего сейчас так страстно хочется Пришвину. Давно ли? — месяц назад, в мае, он думал о том же, но совсем, совсем по-иному. Он записал тогда: «О том, чего хочется, нигде не прочтешь: больше времени истратишь на поиски в библиотеках чужих работ, чем сам собственными ногами, руками, умом дойдешь до всего, ежедневно посещая лес».

Это ли не пример движения сознания через его же собственные противоречия?

Наконец в августе Пришвин получает ключ от долгожданной квартиры. Она досталась ему на шестом этаже, с широким видом на еще не застроенное высокими домами Замоскворечье. Небо открывалось из огромных окон во всю его ширь и высоту.

Что было еще ценно для Пришвина — это соседство с Третьяковской картинной галереей. В Москве сразу же рождается у Михаила Михайловича новая тема — ценности городской культуры. Он обнаруживает в себе острый интерес к этой культуре, творимой в библиотеках, музеях, концертных залах... Пришвин с юношеским азартом целые дни посвящает хождению по музеям и букинистическим магазинам. Не прошло и недели с тех пор, как он поселился в Москве, и вот уже появляется такая запись: «В Москве опять ходил по музеям и сравнивал, что дает лес и что красота: не то ли это самое?» Так он сравнивает природу и искусство и ищет позицию, с которой можно было бы их для себя соединить.

«По выходе из музея античной скульптуры. Всякая человеческая голова на улице была значительна и скульптурна, как будто вынес с собой луч художествен-

ного прожектора. Вот если бы это всегда нести внутри себя и с этим ходить по улицам!»

Вскоре в кабинете писателя появляется прекрасный мрамор: это античная голова юноши.

Пришвин изучает образцы в музее и делает для себя открытие: у него голова Антиноя, греческого юноши. Он радостно записывает: «Нашел в музее Антиноя, — да, да, у меня Антиной!» Возникает новая тема: *для чего* красота, которой служит искусство? «Чем, кому был полезен юноша Антиной, утонувший в 130 году на двадцатом году своей жизни? И вот — его статуя... Но когда я вышел из музея и головы людей на улице предстали мне скульптурно, у меня поднялось сочувствие к человеку, — музей потому оказался полезным, что «чувство доброе он...» *.

Искусство в понимании Пришвина углубляет нашу душу и наши связи друг с другом. Понятны становятся его слова о «бесполезной красоте», которая почему-то всегда встречается около того места, «где совершается общая необходимая, неутомимая работа».

Соприкосновение с городской культурой рождает в Михаиле Михайловиче множество вопросов. Живя в природе, он от природы и получает непосредственно ответы. В городе надо искать ответы в книгах. Вот, например, появляется в его кабинете копия бюста Антиноя — он куплен в антикварном магазине вскоре после «встречи» с Антиноем в музее. И тут же немедленно разыскивается в букинистическом магазине энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Запись в дневнике от 1 февраля 1938 года:

«Парень огромного роста, косая сажень в плечах, один принес на шестой этаж 86 томов Энциклопедического словаря.

---

* От пушкинского стиха: «...что чувства добрые я лирой пробуждал».

— Завидую, вот бы мне!

Он посмотрел на меня сверху вниз с недоумением, может быть, даже подумал, что я хочу посмеяться над ним.

— Нет, — повторил я, — не смеюсь, завидую вам.

Он поверил мне: я не смеюсь. Но огляделся вокруг, оглядел обстановку моей превосходной комнаты: бронзовые часы, мраморную статуэтку, пишущую машинку и с глубоким изумлением спросил:

— На что вам сила?

Я же сам хорошо не знаю, на что мне такая сила.

— На что мне сила... — замялся я.

— Да, на что вам она?

Обтирая липкой глицериновой тряпкой пыль с книг, я вставлял том за томом словарь в книжный шкаф.

— Вот книги, — сказал я, — желал бы ты иметь такую силу, чтобы их написать?

— Очень бы желал, — ответил он, — писал бы книги, а меня бы и грели, и освещали, и... ну вот, как бы я жил хорошо! А на что вам моя сила?»

Заметим: ни одна запись общения с человеком не сделана Пришвиным в эти дни с такой тщательностью, как эта — мимолетный разговор с молодым рабочим — грузчиком или шофером. Мы наблюдаем, как новая обстановка жизни ни в малой мере не остужает интерес и внимание Пришвина к основному герою его — человеку, «разному и простому», или иначе — «незнакомому и родному».

Рабочий кабинет в Москве просторен; он с матовыми темно-синими стенами и старинной мебелью XIX века. Время от времени появляется в нем какая-нибудь новая художественная старинная вещь. Вещи эти начинают жить здесь, каждая со своим собственным настроением, историей, смыслом, и в то же время все они теперь взаимно объединены душой их хозяина. Ничто

здесь, в этой молчаливой комнате, не происходит впустую или бесполезно. Вот побывал, побеседовал и ушел новый интересный Пришвину человек... В данном случае это была молодая женщина, сотрудник Государственного Литературного музея. Писатель делает в дневнике по этому поводу короткий штрих: «...все вещи заметили ее, как будто она всего коснулась и завлекла в единство с собой». Только одна фраза, но она несет в себе такую выразительную силу, что мы видим и эту синюю комнату, и в ней таинственный хоровод вещей, оживших от прикосновения мелькнувшей и ушедшей женщины.

Посреди комнаты висит старинная люстра, она сделана из чистейшего венецианского стекла. Она прекрасна легкостью и чистотой материала. В ней нет ни одной металлической или деревянной детали. По форме она напоминает сложный прозрачный цветок. Лепестки его были когда-то разбиты. После того склеены... В дневнике мы находим запись, посвященную этой вещи. Оканчивается запись так: «...прелесть живого цветка подчеркнута непременной и близкой смертью его. Своей красотой он как бы обращается ко мне словами: «Возьми меня, человек, я тебе отдаюсь и вверяюсь, возьми и спаси меня от неминучей смерти.

И вот какой-то человек взял смертный цветок и создал бессмертный из хрусталя. Пусть он разбит — все равно он не умирает: даже в обломках его остается победное усилие человека на пути к бессмертию».

Так о каждой вещи, которая здесь появляется, самой малой, но несущей на себе признак художественности, в дневнике писателя мы находим опоэтизирующую ее запись. Мы улавливаем некое эстетическое и нравственное единство в этой новой для Пришвина обстановке. Это единство есть творимая издавна сказка о жизни, сказка о правде, а сказка — это поэзия.

В тихом просторном кабинете с большими окнами,

открывающими небо, идет об этом у Михаила Михайловича непрерывная беседа с самим собой. «Вечером смотрю на море огней и на небо чистое, как будто слушаю симфонию, и думаю, думаю о своем, а симфония где-то сама собой».

Выплывает постепенно тема — она и поэтична, и музыкальна, и не нова у Пришвина: она родилась для него еще в 1908 году, во время его поездки в керженские леса, к озеру Светлояру, где, по народной легенде, затонул град Китеж. «Я хочу создать Китеж в Москве», — записывает Пришвин глубокой осенью в первый год своей жизни в лаврушинском доме.

Тема эта, по-видимому, неизживаема для Пришвина-художника. Так, пройдет еще десять лет, и вот мы читаем в дунинском дневнике: «Мне снилось, будто мать моя в присутствии Л. спросила меня, что я теперь буду писать.

— О Невидимом граде, — ответил я.

— Кто же теперь тебя печатать будет? — спросила Л.

— Пройдет время, — ответил я, — и я сам пройду, и тогда будут печатать...

Мать смотрела на меня внимательно, вдумчиво».

Это шел 1948 год, мы были тогда уже в Дунине. Теперь же вернемся снова в описываемый нами год 1937-й — в московскую квартиру писателя.

Человек после многолетней суровой, полной лишений жизни очутился среди городских удобств. Он серьезно и благодарно записывает перед самым получением квартиры: «...не только не надо печки топить, а даже негде бумажку ненужную сжечь... Не надо заготовлять дров, не надо таскать их со двора, грязнить квартиру, следить за топкой, угорать... Не надо будет ходить за водой с ведрами на коромыслах, — вода проведена и бежит из крана даже горячая: холодная и горячая!.. Ты можешь легко, не спускаясь вниз, в широкие окна

любоваться морозом, полетом ласточек над Москвой. Ты можешь забывать о земле и, делая свое какое-нибудь дело, например, сочиняя повесть, совсем забыть о грубом труде».

И дальше через месяц: «Наслаждаюсь по-детски удобствами от квартиры «воздушный замок».

Все это так просто, по-человечески так понятно. Но удивительно, что Пришвин не теряет и обычной строгой взыскательности к себе, он наблюдает себя, иронизирует... Так, он не раз говаривал разным людям, что кабинет в стиле XIX века ему нужен только ради редакторов, — «а то они меня и за настоящего писателя не считают».

Несмотря на добродушно-ироническое отношение Пришвина к новым условиям своей жизни, прочная радость его в том, что создалась обстановка, всецело подчиненная рабочим требованиям:

«...есть такие люди — лучше им жить в труднейшем беспорядке, да вот только в своем. И я был такой, и не хотел, и не мог жить как все. И вот теперь под старость это «как все» оправдывается необходимостью сбрасывать балласт, чтобы двигаться. Ну вот, я сбрасываю и могу дальше лететь».

Скромно, и просто, и серьезно Пришвин сводит сам себя этой записью с некоего утвержденного за ним пьедестала охотника и «Пана», чтобы подчиниться новой для него рабочей целесообразности. Притом самое важное — не для покоя делает он это, а чтобы «дальше лететь».

Все это было так, но тем не менее человек, посвятивший долгую жизнь вживанию в естественную вольную природу, на той грани, где ее еще не касается ни городское потребительство, ни городской эстетизм, — такой человек в Пришвине был неистребим. Вот тут и началась очень скоро и всерьез борьба природы с городом в душе Пришвина. Рядом с приведенными запи-

сями мы должны поставить и другую, звучащую как итог размышлений, сделанную лет через десять, уже в деревне Дунино: «Вещи, собранные в моей московской квартире, имеют один недостаток: они не мои. Моих вещей как-то вообще нет, но в лесу деревья, цветы на лугах, облака на небе — это все мое».

Китеж-град должен был неминуемо покинуть городские стены. И потому неудивительно, что, поселившись в Москве, Пришвин тут же начинает подумывать об устройстве где-нибудь в деревне, на природе. В дневнике 1939 года мы находим такую запись: «...я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне».

Чтобы понять Пришвина тех лет, надо помнить самое существенное: это шли труднейшие для нашего народа и Родины предвоенные годы. Сам Пришвин жил в атмосфере непрекращающейся гражданской тревоги, владевшей тогда каждым из нас. Возьмем наугад запись из дневника 1937 года: «Гибнет Испания, но испанский футбол процветает... Недавно вся бригада футбольная была в Москве торжественно встречена. Это ли не кутерьма?

...Наступает самое напряженное время перед возможностью войны... И такая усиливающаяся заостренность подвижничества в чистом воздухе, и такая пыль человеческая, собравшаяся у самых ног. Трудно продвигаться, но надо!»

Война разгорается очагами. Осложненность отношений между народами и социальными системами во всем мире. Напряженная жизнь у себя на Родине. Все это представляется Пришвину как начинающийся взрыв пробужденного мирового вулкана — жизнь при его извержении. И запись: «Квартира на Лаврушинском против Третьяковской галереи начинает казаться безумной мечтой об убежище в горле вулкана... А впрочем, эта мораль та же самая, что и на войне, как описано у

Л. Толстого в «Войне и мире»: на усталого не смотрят, он отстанет и должен погибнуть, от него прямо отвертываются, потому что вся мораль в том, чтобы двигаться вперед...

Наша тревога происходит от быстроты движения государств, планеты: невозможно всмотреться, влюбиться и вжиться, все мелькает... Стал бы на такое высокое прочное место, откуда бы это мелькание сливалось в огненные полосы, как при падающих звездах... Стал бы, но как встать?».

И вывод: «Время подходит к тому, чтобы людям забыть свои лица, народам свою народность и броситься в чан истории».

Так Пришвин как бы не своей волей, а некой исторической необходимостью подведен к давно задуманному роману «Осударева дорога». Центральная его тема — о личной свободе *каждого* (его призвании, таланте) и общественном долге *всех*. (Наше *Надо* и наше *Хочется,* по терминологии Пришвина.) «...Это несет нам ветер истории».

В своем романе Пришвин пытается нащупать самую возможность соединения двух противоборствующих в жизни начал. Только такое осуществленное единство приведет, по мысли Пришвина, человечество к спасению и миру («к выходу из давки», — говорит он в другом месте).

Это были годы, когда назревали невиданные катастрофы, совершался пересмотр идей, пространств, отношений. Впрочем, такое предчувствовалось в русском обществе уже не одно десятилетие, еще с начала века. Чувство катастрофы не ново в сознании русского человека, по нравственной природе своей максималиста — так думает Пришвин. «Чувство катастрофы — это категория души русского интеллигента», — замечает он.

Какой же выход из катастрофы для творца, мысли-

теля, художника, призванного думать и чувствовать за всех? Так спрашиваем мы. Пришвин нам отвечает в том же 1937 году: «Дело большого художника угадать сквозь толщу катастрофы хоть каких-нибудь вестников желанного мира».

Творчество мира — это и была ведущая внутренняя подтема назревавшего романа.

Не хотелось Михаилу Михайловичу браться за эту работу — столько виделось ему препятствий на пути ее осуществления. Но не писать роман Пришвин уже не мог. Не мог по той простой причине, что роман этот был его личной жизнью — жизнью его мысли, зеркалом каждого дня. Уйти же от современности было невозможно: роман был, по его словам, «сточной ямой, куда он отводил свои мысленки». «Мысленки» же толпились и требовали работы. Она назревала, «сгущалась, как туча», ждала нового усилия к новому полету.

Так постепенно рабочий кабинет писателя на наших глазах превращался в одной редакции в «убежище в горле вулкана», в другой — в «Китеж», и, наконец, в третьей — в «воздушный замок», где Пришвин учится сохранять в себе «чувство высоты», все с той же единственной целью: чтоб ему «дальше лететь».

Кончались 30-е годы. Как писатель Пришвин находился на творческом подъеме: его переполняли и тревожили неосуществленные замыслы, необходимость собрать и систематизировать многолетний архив со множеством неопубликованных текстов. А годы уходили, и силы убывали. В большом деле систематизации и обработки различных материалов Михаилу Михайловичу нужен был помощник. К тому времени у Михаила Михайловича возникли оживленные деловые связи с Государственным Литературным музеем в Москве через его директора В. Д. Бонч-Бруевича, с которым

Пришвин был знаком еще по дореволюционному Петербургу.

Теперь Владимир Дмитриевич, давнишний и опытный собиратель литературных ценностей, проявил большой интерес к архиву Пришвина и возобновил старинное знакомство. По рекомендации музея Пришвин и пригласил меня себе в помощь, как литературного сотрудника. Это было в январе 1940 года. Я осталась с ним до конца его дней как участник и свидетель всех последующих лет его жизни и работы.

Лето 1940 года мы провели в деревне Тяжино под Бронницами, где Пришвин снимал избу у колхозника С. И. Грекова. Там была создана книга по дневникам, которые почти не подвергались автором правке. Это была «Лесная капель», открывавшаяся поэтической сюитой «Фацелия» (автор назвал ее поэмой).

Новая книга была о радости и мире. Пришвин писал о мире, когда на Земле разгоралась война. Это не сразу было понято. Вот почему Михаилу Михайловичу пришлось бороться за свою мысль (и книгу) еще целых три года, пока в разгар Великой Отечественной войны его мысль не восторжествовала; всем стало понятно, что именно радостью жизни и стремлением к миру питается наша любовь к Родине и необходимость ее защиты. «Лесная капель» вышла неожиданно для автора в 1943 году отдельным изданием и с тех пор заняла достойное место в творчестве Пришвина *.

Что существенно сейчас в нашем рассказе — книга эта была не чем иным, как продолжением вековечных поисков *дома.* Она так и была названа Пришвиным — «Мой дом». На этот раз слово «дом» символизировало всю великую природу и включало в себя — как незначительную деталь — человеческое жилище. Вскоре

---

* Историю издания книги см. в моих воспоминаниях «Жизнь как слово» (журнал «Москва», 1972, № 9; 1975, № 12).

пришло другое название книге — «Лесная капель», оно и победило, но первоначальная рукопись «Мой дом», значительно более обширная, сохраняется в архиве писателя.

Вернувшись осенью из Тяжина в Москву, Пришвин стал искать себе деревенский дом для постоянного пребывания там хотя бы с ранней весны и до поздней осени. Надо заметить, что еще в 1937 году, живя в Загорске, Михаил Михайлович мечтает «о доме с садом и на реке».

И тут, когда мы раздумывали, куда бы поехать, где бы поискать, мне припомнилась маленькая деревенька Дунино: 70 километров от Москвы по железной дороге до станции Звенигород, от станции пешком по проселку, и лесом еще пять. В этой деревне я провела свой служебный отпуск в 1930 году.

Добираться туда было трудновато — это я помнила, но почему-то такая мысль меня не страшила: уж очень хорошо было место — нетронутое, лесное, на берегу Москвы-реки, и река была чистой, еще не принявшей в себя отходы большого города. Деревня тянулась по ее крутому откосу. А за домами расстилалось старинное крестьянское поле, издавна кормившее деревню. Оно стояло круглое, как чаша, то золотое — под рожью, то малиновое — под клевером, то розовое — под гречихой. Леса и деревня окаймляли его со всех сторон. Леса шли вглубь на многие километры; сплошные леса состояли из смешанных пород: липа и дуб, сосна и ель, ольха, клен, береза... Мы застали еще в нем целые поляны, сплошь красные от земляники. Грибов повсюду была тьма.

Кто, как не Пришвин, должен был оценить дунинскую природу. И я предложила ему туда съездить на разведку. В связи с этим появилась в дневнике его такая запись: «Не могу жить в городе безвыездно! Решено завтра ехать искать дачу под Звенигородом».

Мы отправились на машине в неудачный день — в серую распутицу. Стояло начало октября. Заехали по дороге в некоторые дачные поселки — Назарьево, Дарьино, Николину Гору (поселок учёных, художников, писателей). Оттуда кружным путем через санаторий «Поречье» пробрались в Дунино. Мы плутали, завязали, стало уже смеркаться. Все были уставшими до предела. Понятно, что местность не произвела на Пришвина впечатления.

На краю деревни мы увидели заколоченный на зиму давно знакомый мне дом. Ранее он принадлежал преподавателю Московского университета географу Лебедеву. Географ к тому времени уже умер, и теперь домом владела старушка вдова его Лебедева-Критская Наталья Александровна, с которой я была в 1930 году отдаленно знакома.

Дом выглядел сейчас запущенным, осиротелым. И тем не менее какое-то неясное, но особенное впечатление от этого места осталось, видимо, у Пришвина. Иначе не сделал бы он в дневнике на следующий день короткую, но много говорящую нам запись: «2 октября. Ездили в Звенигород, на Николину Гору, в Дарьино и в Дунино. Дача делового человека Николина Гора и дача вольная Дунино».

Наступила зима, и мы с головой ушли в нашу работу. Весной 1941 года мы принялись вновь за поиски пристанища на природе. Месяца за два до начала Великой Отечественной войны, ничего о войне не помышляя, Пришвин купил наконец в Старой Рузе, под Москвой, деревенский дом. Деревня эта была расположена, так же как и Дунино, на высоком берегу Москвы-реки, только дальше от столицы. Изба, чтобы стать обитаемой, требовала ремонта, и мы тут же за него принялись.

На этом и застала нас весть о внезапном начале войны. Неприятель приближался к Смоленску, а дерев-

ня наша была расположена в смоленском направлении. Пришел момент — мы бросили Старую Рузу, переехали в город и вскоре покинули Москву. Мы уехали в глухие места Ярославской области под Переславлем-Залесским — в деревню Усолье. Это были места, где Пришвин в прошлом не раз живал, охотился, работал. Там мы и прожили почти три года — самые тяжкие годы фашистского нашествия *.

Позднеосенние дни 1941 военного года переживались нами как рубеж, за которым стояло неизвестное будущее либо не стояло *ничего*. Но вот диво: несмотря на все, мы были бодры, деятельны, верили в какой-то добрый исход великой народной беды.

Пришвин записывает: «...Теперь даже один наступающий день нужно считать за *все* время. Никто и никак теперь не может сказать — будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь другая, благополучная, но все равно эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра I и всех нас будут значительнее всех дней».

Казалось бы, не до писательской работы было Пришвину сейчас.

И вдруг неожиданная, полная света и силы запись: «Утром, в полумраке, я увидел на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс, и все взорвано, страна пуста, как во время татар или в «Слове о полку Игореве». И вот оно, Слово, и я знаю — по Слову все встанет, заживет. Я так давно был занят словом, и так недавно по-

---

* Усольские наши годы описаны мной подробнее в работе «Жизнь как слово» (журнал «Москва», 1972, № 9; 1975, № 12).

нял это вполне ясно: не чугуном, а словом все делается».

Михаил Михайлович стремился во всем разделять наши общие труды, не делая себе скидки на возраст. А забот, требовавших физических сил, было много. Вот, например, привезли нам дрова. «Вчера укладывали дрова, и от этой работы Л. раскисла, я же скрывал, что чувствую боль в сердце. А между тем с наступлением весны наверняка мы должны будем работать на огороде.

Так болит спина, что дров не мог наколоть. Пришлось смириться до уважения числа моих лет и поручить колоть дрова мальчику. Вместо колки дров огорченный сажусь за стол, пишу и чувствую, что много крепче мое слово теперь, чем раньше... слово мое становится все крепче в этой борьбе за жизнь всего человека».

Вот доносится к нам с улицы плач и причитания женщин: это идут проводы новобранцев на войну. «На всю деревню голосит сиплым нечеловеческим голосом бабушка Аграфена: «Ой, и жизнь моя, Ванюшка! Ванюшку убили! Ой, и жизнь моя, Николаюшка! Николаюшку убили! Ой, катитеся, слезы, по лицу моему». Идет с причитаниями, медленно через все село».

Вижу, сердце срывается у Михаила Михайловича, стыдится своего бездействия, — хоть сам иди на войну. «Тянет на войну!» — записывает он в марте 1942 года. Но вспоминает, что ему семидесятый год, понимает, что это ложный стыд: «И самое происхождение этого чувства стыда несложное: это оттого, что сама гордость хочет на себя взять больше, чем может».

Подвиг его должен быть в другом — в труде над словом, самоотверженном труде для всех, кто будет творить новую жизнь после войны. Он всячески побуждает себя на этот труд: «Совершается на наших глазах злодейство... Тот злодей, кто молчал и берег свою жизнь, и, может быть, больше всех злодей ты

сам, не отдавший жизнь за необходимое огненнное слово». Величайший долг, по Пришвину, — быть современным. Это значит «быть с тем, кто участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил».

Пройдет год с начала войны, год углубленных размышлений, и вот Пришвин записывает уже ясный вывод на страницах дневника: он вспоминает, как началом его художественной деятельности в 1905 году был выход из научного рационализма к целостному постижению жизни — в искусство.

Теперь в нем совершается столь же решительный поворот: «С таким же чувством благоговения, как тогда в природу, я теперь направляюсь к человеку и... возьму его в себя, и к этому ничтожному серпику жизни приставлю дополнительный круг всего человека.

Так я начну свой новый круг жизни» (9 ноября 1942 г.).

В молчаливом лесу и молчаливом доме, занесенном в ту зиму небывалыми снегами, шла беседа писателя с самим собой на страницах дневника, шли наши с ним нескончаемые беседы.

Всю снежную зиму мы были отрезаны от большого мира, так как проезда по нашей единственной дороге до Переславля не было. Ходили мы в город пешком по двадцать километров. Как-то проехал кустарный снегоочиститель, так называемый «клин», прорыл траншею между двумя стенами снега, и мы тут же собрались в Москву, рассчитывая вернуться до половодья.

У Пришвина есть запись этой поездки:

«На Лаврушинском вокруг нашего дома все разрушено. Флигель, в который тогда еще при нас бомба попала, когда-то так трогательно чинился под ежедневно падающими бомбами, теперь стоит недоделанный: видно, бились-бились за жизнь и бросили. Так и человека иногда бросают.

...Снег толстыми слоями лежит на крышах. Но коты от голода страшного — холода этой зимы — куда-то исчезли. А раньше, бывало, они на крыше жили весной света. Вот и говорят в благополучии: живуч как кошка. Теперь, наверно, у кошек в неблагополучии говорят: живуч, как человек.

В квартиру свою мы вошли как в склеп. Потолок лежит на полу. В комнатах гуляет ветер и заносит с улицы снег. Ушли ночевать в чужую брошенную квартиру в нашем же доме.

Слух: в Ленинграде умирает по двенадцати тысяч в день и лежат штабеля трупов. Сейчас трупы начинают вытаивать...

...Рассказ художницы (Жени Р.) о весне в голодной Москве. Какая-то огромная мрачная очередь, полная молчанья замученных заботами и голодом людей. Вдруг крикнула по-весеннему ворона. И кто-то воскликнул в очереди: «Батюшки, ворона проснулась!» Все засмеялись, все оглянулись в направлении вороньего крика и заговорили о весне, понимая, что пусть у людей нет ничего, а в природе весна, та самая весна, которую когда-то любили, когда-то ждали...

...Зовут сказать по радио на Всеславянский митинг... Сказать мог бы приблизительно следующее: «С малолетства и по старости во мне как кровно русском человеке из города Ельца живет странное чувство, которое не встречал ни у одного народа. При встрече с представителем другой национальности... познакомившись с каждым из них, я узнаю в них нечто лучшее, чего не знаю в своем народе... Я искренне, подетски радуюсь, что где-то на стороне у других так же много всего хорошего... И нужно было видеть теперь в эту войну, какой отравой вливается гитлеризм (чувство превосходства германцев перед всеми народами мира) в это благоговейное чисто детское состояние души русского человека...»

В годы войны Пришвин написал «Повесть нашего времени», в которой отразилась наша жизнь в Усолье даже в казавшихся незначительными подробностях. Но, видимо, для человека глубокого сознания нет ничего второстепенного в жизни. Мы наблюдаем через повесть, как идет это сопереживание «на миру» — щедро-сочувственное всей жизни, всем ее сторонам, столь свойственное русскому характеру. Герои повести — солдаты, возвращаясь домой, приносят с собой новые отношения дружбы, где «не лукавятся, не таятся, где один миг тут отвечает за весь пуд соли». Эта сила разрывает привычные штампы отношений и одаривает человека высокой способностью «превращать себя в другого», — такое понимание вкладывается писателем в понятие дружбы, выстраданной на войне. Этой же силой высокой дружбы разрешается и моральный конфликт в судьбе героини повести, бесчисленно обсуждавшийся в литературе, — соперничество двух за любовь к женщине. Разрешается он сам собой по великодушию и душевной чистоте всех его участников.

Повесть «Кладовая солнца», которая будет закончена тотчас по возвращении Пришвина из эвакуации, целиком насыщена впечатлениями от усольской природы и нашей жизни среди нее.

Осенью 1942 года Пришвин записывает: «В сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтоб творить будущий мир».

И в нашу дремучую глушь доходили живые отголоски человеческих страданий. Вот приехала спасшаяся из осажденного Ленинграда через Ладожское озеро женщина, истощенная чуть не до состояния мумии. Однако она живо рассказывает о пережитом, останавливаясь почему-то на незначительных бытовых подробностях: вспоминает брошенные вещи, любимого кота, гордится, что они не съели кота: «Ведь живое существо!»

Мы сказали, что после всего этого люди уже не могут продолжать жить на тех же основах, по-старому.

Казалось, женщина не должна понять нашей мысли. Но страдание облагородило ее, и она живо ответила: «Ну конечно, можно ли после всего потом жить, как мы раньше жили!»

В октябре 1942 года мы с трудом добрались до Москвы — навестить друзей. Записи, сделанные тогда: «Наступление голода страшно своим разделением людей на сильных и слабых... Увидев это начало Ленинграда, ясно представляешь себе время, когда будут умирать по тридцать пять тысяч в день и в то же время какие-то существа будут за двести граммов хлеба скупать каракулевые шапки.

Большинство не хочет уезжать и потерять свой угол, который потом сделается гробом ему. Но есть немногие, кто остается в своем углу, презирая смерть. Я знаю таких».

«Надо перейти к делу, надо писать так, будто не существует на свете никаких препятствий... Надо этим глубоко проникнуться... Для начала я отправляюсь на Ботик в колонию детей Ленинграда, проникнусь этими материалами и напишу «Дети Ленинграда».

В 14 километрах от Усолья сохранился дворец Петра Первого Ботик, где Пришвин в середине 20-х годов начал свою первую крупную работу советского периода и написал книгу «Родники Берендея». Сейчас привезли туда спасенных детей из осажденного Ленинграда. Возбудил к ним внимание Пришвина впервые не писательский его интерес, а забота об их жизни, так как Михаил Михайлович узнал, что отопление на Ботике не работает, а с ремонтом помещения возникли какие-то непреодолимые трудности.

Михаил Михайлович тут же обратился по телефону из Усолья к А. Н. Толстому с просьбой о помощи, а сам отправился пешком на Ботик.

На этот раз дворец счастливого Берендеева царства предстал перед Пришвиным в новом свете. Тема человеческих страданий, тема материнского подвига во время войны — все это соединилось теперь для писателя в лице матери-Родины. «Ленинградская страда перешла в народ и стала фольклором. Так я и написал «Рассказы о прекрасной маме».

Осенью была закончена повесть о детях, она состояла из ряда рассказов, плотно связанных единым сюжетом. В душе писателя пульсировала теперь тема о новой женщине — всеобщей матери, амазонке, берущей в руки дело жизни. Пришвин уверен, что наступает новая эпоха — творчества женщины.

«Материнство — это сила особенная, которую мы, мужчины, по себе непосредственно вовсе не можем узнать и понять. Какая это сила и сколько ее напрасно тратится, можно видеть по таким матерям трехсот детей, как Нина Семеновна Соколова и Анастасия Ефимовна Андрианова (воспитатели в детском доме. — *В. П.*), их двух хватает на триста детей!.. Есть женщины, сознающие это, им тесны рамки семьи, они... вырываются из оков родового начала, стремясь осуществить свою исключительную силу материнства вне рода».

Рассказы эти были, конечно, о детях, но в то же время впитали в себя пережитое самим Пришвиным во время войны. В них он, как всегда, остается верен фактам жизни, столь, по его мнению, богатой, что она и не требует «выдумки». Вот пример: в одном из этих рассказов («Роман») солдат, вернувшись из разведки, получает сразу пачку писем от дорогой ему женщины; он не хочет читать их при товарищах в землянке и выходит ночью в степь. Горел ковыль в степи, ветер гнал огонь в сторону, боец шел за огнем и при свете его читал.

Это точный перенос обстановки события, сообщен-

ного красноармейцем В. Борахвостовым. Письмо было написано 29 апреля 1943 года на фронте, адресовано Пришвину на Москву и бог весть какими путями дошло к нам в Усолье 16 июня, как раз в дни, когда Михаил Михайлович работал над рассказами. Красноармеец пишет, как он в разгромленном врагом местечке нашел книгу совершенно ему незнакомого писателя Пришвина — роман «Кащеева цепь», читал ее всю ночь, двигаясь вслед за степным пожаром при разрыве снарядов и мин. И так к утру прочел весь том. Он просил прислать продолжение.

Я сохраняю в памяти еще одно неизвестное событие, малое, но дорогое для нас, читателей и друзей Пришвина. Оно осталось неизвестным и самому Пришвину, потому что было сообщено мне после его кончины давнишним исследователем пришвинского творчества А. А. Семеновым. Он пишет о свидетельстве знакомого ему человека, как в фашистском лагере для военнопленных заключенные бережно хранили и тайно передавали друг другу переписанную кем-то поэтическую миниатюру Пришвина «Птичик». Она воспринималась страдающими людьми как символ стойкости, бескорыстия в любви к родной земле*.

Все это были «неведомые друзья» Пришвина, для которых он и писал.

В конце зимы 1943 года, 5 февраля, Михаилу Михайловичу исполнилось семьдесят лет. Рано утром, как только рассвело, к нам пришел неизвестный мальчик с запиской от тоже неизвестного нам монтера с соседнего торфопредприятия. Монтер узнал случайно на почте, что там лежит еще не доставленная телеграмма,

---

* Новелла «Птичик» из поэмы Пришвина «Фацелия». Упоминаемые мною письма сохраняются в архиве писателя.

из которой явствует, что Михаил Михайлович награжден орденом Трудового Красного Знамени. Монтеру не терпелось нам об этом сообщить. Так даже и в официальном деле действовал в жизни Пришвина «неведомый друг».

Юбилейный вечер в Союзе писателей был назначен на начало мая, как только станут проезжими дороги.

Мы жили в гостинице «Москва» — квартира на Лаврушинском стояла еще разрушенная. У нас запросто бывали новые милые нам люди. Мы знакомились, шли откровенные беседы... Федин, Сейфуллина, Асеев, Всеволод Иванов, Перцов, Замошкин, И. Ф. Попов — разные люди приходили в наш номер гостиницы и засиживались допоздна...

Мы повидали наших личных друзей. Боже мой, до чего же они были истощены! Но всех радовала весна, и никто из них не унывал.

Вечер открылся моим выступлением «О юморе Пришвина».

Однажды Пришвин мне сказал:

«...Если ты выбросишь из меня фольклор, ты выбросишь половину меня самого... Вспомни народный юмор Шекспира. Сколько в нем презрения, сколько злости; и даже добрый Чехов настолько интеллигент, что не может улыбнуться чему-нибудь вместе с простецом».

Если бы мне довелось сейчас вновь писать о юморе Пришвина, я начала бы с того, что объяснила бы читателю, как я решаюсь писать о юморе в разгар человеческих страданий — войны. Я постаралась бы объяснить, что в моем понимании юмор Пришвина — это улыбка сочувствия, это рука друга, это голос надежды.

«Юмор как отдых человека на тяжелом пути его к истинной правде» (Пришвин).

В своем выступлении я напомнила о мысли Достоевского, что человека скорее всего можно судить по его смеху, кто он такой: смех скорее всего обнаруживает суть человека.

Пришвин никогда ни над чем не смеется, смеется он всегда чему-то, и чему-то непременно хорошему. Он постигает, таким образом, само существо смеха как чистую радость... Вот кто — Пушкин, цельный человек, положил этому начало!

У него началась эта радость, особенно в вещах, рожденных от фольклора; от земли рождается слово, а потом уже рождается литература и ее мастера.

Прежде чем стать мастером в литературе, Пришвин стал мастером в жизни своей. Жизнь свою он строил со всей строгостью к себе, к своему делу, к своему долгу. Это была особенная жизнь — суровая, среди природы и народа, рассчитанная не на благополучие, не на легкий успех, не на преимущества писательского ремесла. Он как-то по-младенчески даже живет в материнском лоне русской культуры... И в то же время без всякой сознательной надумки и предвзятости его творчество служит человеческому делу данного дня.

Как работал молодой Пришвин — приведу тому пример. А. М. Ремизов рассказывал, что три человека доставляли материалы для сборника «Северные сказки»: академик Шахматов, этнограф Ончуков, который чуть ли не с фонографом записывал по последнему слову науки, и начинающий писатель Пришвин (тот уже записывал безо всякой «науки»). И вот, говорит Ремизов, самые драгоценные для писателя записи были у Пришвина. Ну кто из ученых записал бы такую нелепицу: «У Ивана-царевича вышло что-то с прекрасной девицей. Он наутро ушел от нее... Тут рассказчик-крестьянин задумался и добавил от себя неожиданный конец: «Ушел и оставил записку: «Кот тут был, молочко пил, а крынку не закрыл». Рассказчик весело смеет-

ся, довольный своей придумкой, а Пришвин внимательно записывает и про сказку и про рассказчика.

Таким же путем родился военный рассказ Пришвина «Как заяц сапоги съел». О нем сразу скажешь: добрая шутка, а потом и задумаешься... Да, именно шутка, народная шутка, рожденная в минуты величайшего народного страдания у самой земли и переданная из уст в уста, а не придуманная в городском кабинете. В русской народной шутке таится как в сокровищнице вся сила, вся доблесть, вся выносливость, вся храбрость русского человека, русского солдата с его чудесной для иностранца способностью шутить под пулями и возрождаться из полного, казалось бы, разрушения.

Сейчас, в суровые дни войны, сокровище — всякое слово, способное вызвать у человека чистую улыбку, без сарказма, без горечи, и подарить человека праздником хотя бы на мгновение. Эту-то драгоценную детскую радость и сохраняет нам в своих произведениях М. М. Пришвин. Этой способности русских удивляется исстари весь западный мир.

Шла вторая половина мая, все цвело, когда мы наконец выехали домой. К вечеру на закате мы проезжали мимо Ботика. По какому-то делу нам надо было зайти к своим ленинградским детям. Машину мы оставили внизу на шоссе, и, когда на возвратном пути спускались к ней по крутому холму, среди зарослей со всех сторон вокруг нас заливались соловьи.

Михаил Михайлович сокрушался, что мы потеряли столько времени в Москве, пропустив весну. Он записал тогда в дневнике: «Л. меня утешала, когда в Москве пропускали весну...

— Вспомни, как люди радовались весне на нашем вечере: ведь это мы им отдали нашу весну. А помнишь,

как Ойстрах на скрипке играл, все вокруг себя забывая, и ты же сказал: «Мне кажется, что все наше прекрасное там в природе через таких людей сюда собирается в город к страдающим людям на утешение».

— Это верно, — ответил я, — но отдать всю нашу весну для одного вечера — ведь это опустошение!

— И это неправда: так отдавать, как мы, это значит и получать. Почему непременно надо сидеть у природы недели и месяцы? Бывает одно мгновение, взгляд — и разом все получишь.

Так и случилось. Мы уехали, когда в лесах еще белел последний снег, а когда вернулись, вечером после грозы в лесу на Ботике пел соловей. Мы остановились, вслушались в песню, и вдруг все, что было пропущено от снега до соловья, к нам вернулось.

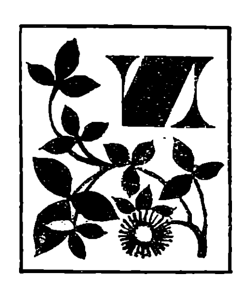
Я сказал:

— Такого соловья я никогда не слыхал.

И она:

— Такого я никогда не забуду. Это — навсегда».

КАК МЫ ПОСЕЛИЛИСЬ В ДУНИНЕ



вот показались радостные предвестники окончания войны: шло наше победоносное наступление. Осенью 1943 года мы вернулись в покинутую и разоренную московскую квартиру.

Не беда, что потолок обсыпался от взрывной волны и штукатурка лежала на полу, что в окнах не было стекол, — все это не беда, потому что уцелела чудом наша люстра, этот прекрасный цветок. Она по-прежнему висела в центре разрушенного потолка, и ни один из ее лепестков не был разбит. Значит, недаром ее принял когда-то Михаил Михайлович в круг своих избранных вещей как символ жизни, ее возрождения. Теперь надо было скорее все чинить. И мы, как могли, что-то замазывали, что-то приколачивали. Стекол не хватало — соединяли из кусков, только бы ветер, дождь и снег не гуляли по комнатам. Помню и холод и голод, но все это было не страшно — Советская Армия гнала врага с нашей земли, и впереди была жизнь.

Михаил Михайлович печатал в ту зиму частями привезенные из Усолья «Рассказы о прекрасной маме», писал «Повесть нашего времени».

Следующим летом 1944 года мы арендовали у Моссовета на несколько лет маленькую дачку летней легкой постройки в Пушкине, по Северной железной дороге. Там была возобновлена работа над романом «Осударева дорога», написан рассказ «Старый гриб», окончена «Повесть нашего времени», написана одним духом — в месяц — повесть «Кладовая солнца». С такой быстротой была создана Пришвиным в прошлом лишь одна вещь: «Корень жизни» («Женьшень»).

«Кладовая солнца» — это была повесть о победе мальчика над хищником волком. Внутренняя же тема была о победе светлого начала жизни над темным; значит, она отвечала в те дни величайшему событию современности — военной победе над фашизмом.

В те годы Пушкино еще ничем не напоминало теперешний городок. Это был поселок с деревянными домиками в садах, разделенных низким штакетником. Заборы где сгнили, где были сожжены хозяевами за годы войны. Все вокруг начинало понемногу оживать и восстанавливаться. Жизнь протекала на глазах, как это бывало в прежние годы в любой русской деревне, где все друг друга знают и живут при открытых дверях. И мы жили в Пушкине так же. Отношения у нас с соседями складывались легко, споро, рождались вокруг дружественные связи, чему, несомненно, способствовала радостная надежда на скорый конец войны. Хорошо до сих пор вспоминается то время!

Поначалу мы радовались Пушкину: так близко от Москвы, и прекрасный воздух, и лес, и водохранилище, и даже собственный при дачке небольшой яблоневый сад, выращенный со знанием дела каким-то безвестным нам агрономом, бывшим владельцем дачи.

Мы принялись за восстановление запущенного хозяйства. Михаил Михайлович делал частичный ремонт дома, доставал и возил материалы, сам шкурил лес — нелегкая в его годы работа.

Вот запись в дневнике, рисующая наш быт, характер и настроение: «1944 г. май. Задача: написать четыре детских рассказа и сделать на эти деньги на даче забор... За вчерашний день я ошкурил семь столбов и две слеги. Хочу сэкономить и построить забор сам...

— Как тебе не стыдно, — сказала Л., — можно ли связывать писание свое с забором!

— Отчего же нельзя, — ответил я. — У Ньютона яблоко упало, и это связалось со всемирным тяготением. А у меня забор — и полная-полная неуверенность, что из этого всего выйдет».

К тому времени у нас еще сохранялась истрепанная за войну легковая машина «эмка». Пришвин сам ее водил и сам по мере сил ухаживал. В связи с этим появилась запись встречи и знакомства с одним из соседей:

«Молодой человек двадцати семи лет, садовод по профессии, ныне лейтенант. Заведует каким-то гаражом в Москве. Проходя ежедневно мимо моей дачи, он видел, как я шкурил столбы, как ухаживал за машиной: смазывал, надувал баллоны, мыл. Недавно, проходя мимо меня навеселе, он поманил меня пальцем и спросил:

— Ты, дедушка, кому это помогаешь?

— А я сам себе, — ответил я, — помогаю. Я писатель и стараюсь все для себя делать своими руками.

— Разрешите мне вам помочь, — сказал он с большим почтением, — у меня есть замечательная лампа-переноска, есть конденсатор, молоточек для трамблера, хотите, я сейчас вам привезу на велосипеде?

— Привезите, — говорю, — только не знаю, как я расплачусь...

— А ничего не надо, поставьте сто грамм вина, распейте сами сто грамм со мной, и я буду очень доволен: я больше всего дорожу хорошим обществом.

Вечером я сказал Л.:

— Ты, живя со мной, была не раз свидетельницей явления подобных неведомых друзей. Вот за это я и живу в России и люблю русский народ.

— Почему же русский, — спросила Л., — разве англичане или любой хуже?

— Наверно, не хуже, — ответил я, — но ведь это отвлеченно и неощутимо для меня: ни языков как следует не знаю, ни соприкосновения не имею. Вывод, конечно, делаю: человек — везде человек. Но как я могу любить «вывод»? Я люблю русского человека и только на основании этой фактической любви делаю заключение, что у всех народов есть свои хорошие люди».

Однако прошел год, другой, и Пушкино оказалось на деле слишком «дачным» для Пришвина. Куда ни попадешь, везде упираешься в чей-то забор! Ему же необходима была жизнь ближе к «неогороженной» природе: «До чего исковеркан вблизи Пушкина лес. Изъеден коровами, козами, обломан, испачкан людьми!»

И вот он колеблется в решениях — не построиться ли нам теперь подальше — например, на реке Истре под Волоколамском... «Но как только подумаешь, что надо строиться, доставать деньги, гвозди, лес и тому подобное, то прямо тошнит. Не пора ли остановиться на том, что есть?»

Но может ли он, влюбленный в мечту о каком-то своем еще не осуществленном прекраснейшем доме, может ли он примириться с данным, отказавшись от желанного? Это было, по-видимому, для Пришвина невозможно. А если посмотреть с другой стороны, характернейшая черта его души была благодарность... Он хранит благодарность не только к человеку за мельчайшее

внимание, но и к месту, где становятся родными даже пни, на которых присел, чтоб записать, либо просто отдыхал...

В колебаниях — жить или не жить в Пушкине — Пришвин в продолжение месяца мог высказать прямо противоположные мысли, Так, например, в июле 1945 года он пишет: «Стало ясно, что дача в Пушкине не дает выхода в природу, и, значит, ее надо бросать и находить в другом месте».

Но не так-то легко было ему это осуществить, и грустно было расставаться с Пушкином. Вот почему в августе и сентябре появятся противоположные по настроению записи: «У меня есть участок, и я его возделываю, насколько хватает моих сил. В Пушкине мы уже два лета прожили, и так ладно, что ни с одним человеком не поссорились, ни одного худого слова никому не сказали, как будто не сидим на месте, а едем в вагоне. Как хорошо! И редко такое в жизни удается... Прихожу к мысли утвердиться в Пушкине окончательно».

Через год запись: «Заругали мы Пушкино, а вот как хорошо в жаркий день сияет Акулово озеро! Ищут лучшее место в юности, когда верят, что на хорошем месте и сам станешь хорош. Когда же юность проходит, то и вера в лучшее место проходит, и каждое место кажется прекрасным, если самим хорошо...»

Это написано в те дни, когда мы уже изменили Пушкину*, купили дачу в Дунине и собрались туда окончательно переезжать.

---

* С городом Пушкином Михаил Михайлович не порывал до последних дней. После кончины писателя переулок Добролюбова, где мы жили, был переименован в улицу Пришвина. Кроме того, неподалеку разбит сквер имени М. М. Пришвина. В стадии осуществления находится установка памятника писателю на этом сквере. Инициатором этого была семья инженера и любителя-цветовода, активного общественника И. Ф. Гадалина, наших бывших соседей.

За три месяца до того, как Пришвин сделал только что прочтенную запись, с нами произошло следующее: мы получили путевки в санаторий Академии наук «Поречье», под Звенигородом. Было это в марте 1946 года. Заметим, отдых в санатории — это было у Пришвина впервые за всю его долгую жизнь! До того он был лишь один раз по путевке в Доме творчества писателей в 1941 году.

«В 9 утра выехали из Москвы, в 11 приехали. Хорошо, как и не мечтали. Тихий, теплый и крупный снег падал весь день. Вечером прошли в Дунино, где шестнадцать лет тому назад Л. провела свой отпуск».

Радостно было сейчас Михаилу Михайловичу еще и потому, что администрация санатория без колебаний разрешила ему взять к себе в комнату нашу Жизель (Жульку) — молодую охотничью собаку, которую необходимо было натаскивать, то есть учить охотничьему делу в предстоящем сезоне.

Все было Пришвину здесь и ново и хорошо. Мы не замечали у него ни малейшего, хотя бы тайного гнушения удобствами, то есть «расслабленностью» санаторного житья, столь непривычного и даже странного для него, особенно странного потому, что оно не лишало близкого соприкосновения с природой: в «Поречье» люди не успели тогда ее испортить вокруг себя.

Повторяю: Пришвин умел быть благодарным жизни за *любые* ее дары, которые находил в повседневности. Благодарил он сейчас и «Поречье»: «Природа вылечила меня от душевной болезни — я ведь тут *все* прошел *. И зато нигде не принимают так радостно мои писания, как в санаториях».

---

* Запись, связанная с пережитой в юности любовью, когда Пришвин был на грани душевной болезни. (См. автобиографический роман «Кащеева цепь».)

Пришвин встречает здесь нередко своих читателей. Он отмечает в дневнике разговор с одним из них; человек этот «решил встретить весну *по Пришвину»*. Так можно было встречать весну только в виду окончания войны, с уверенностью в близком мире. Потому Михаил Михайлович и радуется: ему дорого в этом наивном читателе свидетельство, что он, Пришвин, вкладывает как писатель свою долю в делание мира на земле.

Вокруг Михаила Михайловича создавалось и в «Поречье» само собой особое настроение — оно было как бы следствием его веры в добротность жизни, в возможность радости среди измученных людей. И поэтому, может быть, Пришвин был в воображении окружающих его людей человеком особенным, знающим что-то свое, очень хорошее; он был как бы проводником в какой-то скрытый от всех прекрасный мир. Иногда в дневнике писателя появляются записи самых, казалось бы, мимолетных, но в чем-то значительных для него соприкосновений с человеком. Разговор в апреле: «Какая-то незнакомая девушка просила меня: «Михаил Михайлович, уведите меня в лес, далеко, далеко!..»

К нему тянулись. Но он был всегда сосредоточен, и люди стеснялись его останавливать и с ним заговаривать. Тем не менее все помнят, как происходило у Пришвина сближение с отдельными людьми среди отдыхавших в санатории. Так, в ту весну его писали художники Ф. Антонов, Ф. Шурпин, Р. Зелинская. Михаил Михайлович терпеливо, хоть и не очень охотно, позировал. Он ценил завязывавшиеся отношения.

Немало нам об этом расскажет запись-зарисовка прогулки в лесу в компании отдыхающих.

«Сегодня — березовая свадьба (вчера — девишник); ветер поднял золотую пыльцу, и роща стала как в тумане.

Я опустил свои вожжи, и мой конь пришел в общество гуляющих во главе с испанцем N.

Помню, на этом самом месте, где мы сегодня сидели, лежали, пели в девишнике березовом, я спрятался весной от группы отдыхающих в куст можжевельника в паническом страхе за свое одиночество в лесу.

Теперь же, когда я сам вошел к ним, мне стало так спокойно, так светло и просто на душе, что я стал сам своим хриплым голосом подпевать испанцу и любоваться пучком ландышей в волосах нашей художницы...

Испанец тренькал голосом, подделываясь под гитару, и ни он сам и никто из нас не думал о его трагическом вопросе: почему он — революционер, перенесший пытки от врагов с подгоном щепок под ногти, потерявший семью, — не может поехать к себе на родину в Испанию.

Мы шли в полнейшем равновесии душевных сил человека и обнимали собой природу, и природа ответно обнимала нас. Вечером тоже я присоединился к игре моих врагов, так долго не дававших мне работать, стал играть с ними в детские игры, и враги мои превратились в друзей. И еще мы играли в короли, и милые женщины называли меня «дядей Мишей».

После ночью мне вспомнилась вся моя жизнь в такой же борьбе одинокого человека с обществом за свою личность, с последующим признанием: признают тебя — и ты почувствуешь себя победителем. Так и теперь: раз я мог сегодня в майский день подпевать гуляющим — это моя победа, а когда в ужасе притаился от них в кусту можжевельника — это была моя борьба за себя».

«...Поговорил с женщинами по душам. «С вами легко, — сказали они, — будто вы женщина».

«Конечно, — ответил я, — ведь я тоже рожаю. Мысли тоже рождаются, как живые дети, и их долго вынашивают, прежде чем выпустить в свет».

Началась пора весенней тяги, и Пришвин не пропускал этих вечеров. Вырубка, где тянули вальдшнепы, была неподалеку от «Поречья». «Вчера была тяга самая красивая, какие только в жизни я видел».

Он, старый охотник, не пропустивший, вероятно, в жизни ни одной весенней тяги, — и не видал? Но таков постоянный настрой его души: ему дано видеть прекрасное в каждом мельчайшем явлении жизни и притом во всей его полноте; лишь бы не изменил он сам себе в чем-то главном, перед чем он стоит в смущении и радостном трепете и что он называет для себя «творческим поведением».

Наблюдая много лет Пришвина и восхищаясь им как человеком, я всегда думала так: он обладает недосягаемым для меня мужеством преодолевать в своем сознании все зло и всю скорбь жизни, «несмотря ни на что». Так он и записал однажды: «Может быть, самое главное... у меня... упрямая бесспорная («несмотря ни на что») радость жизни (или сила жизни?), перемогающая пошлость... И все творчество в указании: указываю, глядите туда — там вечная радость».

В те дни произошел следующий случай: Михаил Михайлович шел с вечерней тяги через вестибюль, где собрались люди на просмотр кинокартины. На ружье у Михаила Михайловича по рассеянности (или небрежности) не был взведен предохранитель. При каком-то неловком движении ружье выстрелило, к счастью, никого не ранив.

Не будем описывать реакцию публики. Но удивительно, что не было ни одного упрека смущенному охотнику: все, не сговариваясь, простили ему оплошность. И еще удивительно, что Пришвин лишь вскользь упоминает об этом происшествии в дневнике. Иначе и не объяснишь, как тем, что вспоминать ему было до крайности стыдно.

Живя в «Поречье», гуляя по окрестностям, Пришвин

влюбился в соседнюю деревеньку, в дом над рекой, в местную природу. Это было то самое Дунино, которое показалось ему столь неприглядным в 1940 году. Он ни разу даже не вспоминает теперь той осенней унылой поездки, бывшей семь лет назад.

За истекшие с тех пор военные годы дом Лебедевой-Критской был разрушен, фруктовый сад начисто порублен. Оставались на участке только дикие деревья — липы, ели, сосны, израненные гвоздями и колючей проволокой. Макушки у многих деревьев снесены снарядами. Сохранились в неприкосновенности лишь две центральные пирамидальные пихты, похожие по форме на кипарисы, — краса участка.

Дело в том, что во время только что окончившейся войны в доме этом стояли наши русские солдаты, а на противоположном берегу реки были видны невооруженным глазом солдаты противника. На участке дачи мы застали земляные укрепления, окопы, щели, оставшиеся от дней, когда деревня обстреливалась.

Дом был до крайности разорен. Сожжены все перегородки, двери, частично полы и потолки. Зияли проемы окон, уже без рам. Крыша во многих местах была содрана, снег и дождь падали в комнаты. Кирпичи из фундамента понемногу растаскивались, дом еле держался на опорных угловых столбах. Это было невеселое зрелище. Победоносно и нерушимо возвышалась в доме лишь печь — старинная, умно придуманная для быстрого обогрева всего дома: она была трехгранная и выходила в три комнаты. Посмотрев на нее, мы понимающе переглянулись, вспомнили свою, бесполезно сложенную в Рузе в самом конце мирной жизни. Но тогда это был знак нашей веры в победу. Теперь победа пришла — и с ней приходил к нам новый дом. Вспомнили и решили: мы должны здесь поселиться!

Больше всего восхитила Михаила Михайловича веранда. Она была построена лет сто тому назад каким-

то неведомым нам хозяином, по преданию финном, и по совершенно оригинальному образцу: семигранник с незастекленными проемами, разделенными лишь тонкими столбиками. Каждая грань открывает вид на сад, на лес, на деревню, на реку, на широкое заречье. Потолок у веранды очень высокий, вдобавок выкрашенный белым, и потому, стоя на веранде, испытываешь чувство полета.

Одноэтажный этот дом стоит на крутом склоне, и потому веранда, расположенная на нижнем конце дома, образует второй этаж. Покоится она на двух каменных столбах, между которыми внизу сохраняется сквозной проход, что увеличивает впечатление ее легкости. Извне на веранду попасть нельзя — только из комнат. В то же время с нее все видно. Это было место, незаменимое для работы и для общения с природой и ночью и днем. Михаил Михайлович впоследствии подолгу на ней гулял при звездах, здесь он часто встречал и солнечный восход.

31 марта Пришвин записывает: «Дом очень соблазнителен. Сегодня Л. едет в Москву уговаривать каких-то старушек продать его нам». Пришвин понимает — это будет его последний дом, в котором надо успеть закончить ему, писателю, все задуманное, все порученное жизнью; в выборе ошибиться больше нельзя: этот дом — последний.

Дальше в записи мы находим удивительное обращение: «Друг мой, кто бы ты ни был, далекий или близкий, и ты сам, неведомый, живущий в глубине моей собственной души, — призываю вас всех помочь мне — дайте мне совет.

У меня есть два личных желания, необходимых, как мне кажется, для воплощения творчества. Первое — своя непроницаемая для звуков хозяйственной жизни комната с ключом и друг мой Л., но целиком, без забот... Второе — возможность в любое время жить и

работать в природе. Кажется, для этого нужно купить дачу... (Но) она свяжет меня по рукам и ногам, принесет невозможную суету, и после всего окажется, что речка эта мелка, в лесах мало дичи, что вот там-то где-то лучше...»

Дальше Пришвин записывает ответ от лица всех, только что им мысленно спрошенных: «Михаил! Послушай наш совет... не вяжись ты ни с каким имуществом».

Один из встреченных в эти дни, уже вполне реальный, а не вымышленный друг, бросает ему походя подобный же совет: «Не заводите собственности — это хомут».

Легко дать совет, но трудно принять дружественные слова к сердцу, притом если так сильно хочется поступить по-своему! Что вся жизнь есть в известном смысле «хомут», об этом Пришвин думает уже давно. Важно, чтоб этот хомут приходился тебе как раз по шее, ее не натирал, и тогда, несмотря на хомут, ты будешь свободным. Свободной же жизни без трудового и творческого в ней поведения — такой жизни не существует, такая «свобода» — лишь мечтательная пустота и обман. И потому не хомут страшен, а страшна ошибка в выборе: «Успейте же выбрать себе хомут по шее — и будете свободны так же, как я», — говорит как-то Михаил Михайлович в письме своему корреспонденту.

Надо сознаться — сбивало Михаила Михайловича и мое опасливое отношение к этой покупке. «Не следует нам с тобой покупать дачу», — говорила я ему в первые же дни нашего приезда в «Поречье».

Через год после того, как мы поселились навсегда в Дунине, Михаил Михайлович вновь вспоминает в дневнике: «Л. долго меня мучила своим неверием в нашу дачу». Действительно, затея с покупкой и новым строительством мне казалась тогда не по силам. Нель-

зя забывать и другое, что в эти годы у меня лежала в параличе мать.

«4 апреля. Вечером опять вернулись к даче... Еду завтра в Москву с намерением или купить за сорок пять, или отказаться». Но как купить, если только что кончилась война, только что вернулись в полном безденежье из эвакуации...

«6 апреля. Поднял «Детгиз» на деньги для дачи. Заглянул в Гослитиздат».

Хозяйка дома, одинокая старушка, еще вдобавок попавшая в автомобильную катастрофу и передвигавшаяся на костылях, не хотела расставаться с любимым местом и в то же время не могла там жить и хозяйствовать. Мы привезли старушку из Москвы в Дунино, она посмотрела на стены, с которых уже понемногу стала исчезать обшивка, на зияющий дырами фундамент, на висевшую в воздухе веранду без пола и опорных столбов — и отдала нам развалины за 50 тысяч.

Вот как записаны эти дни в дневнике: «На деревьях в Дунине скворцы прилетели и маленькие птички-чечетки во множестве сидят и поют. Мы ищем, где бы нам свить гнездо, дачу купить, и так всерьез, так, кажется, вправду».

«Еду в Москву. Думаю, что покупка дачи — во всех отношениях удачное решение всех трудных вопросов в нашей семье и моих писательских. Это как будто судьба и счастье.

В вагоне по пути в Москву смотрел на непрерывный мелкий окладной дождь. С виду совершенно осенний дождь, а внутри, как вспомнишь, весь льется на жизнь, на рост, на песню...

Мне кажется, к этой даче ведет меня судьба (то есть сила сверхличная)» — так пишет в эти дни Пришвин и заключает: «Есть такая судьба, и я чувствую ее руку на этом пути. Но если это дело (с дачей) не выйдет, я огорчаться не буду: не судьба».

Михаил Михайлович вспоминает, что эта же «судьба» вела его в детстве в «Азию», когда он маленьким гимназистом пробовал убежать из родного города Ельца в какую-то неведомую страну «золотых гор». Мальчика тогда изловили и с позором вернули. Он плакал. А в 1919 году та же Елецкая гимназия пригласила его почетно (honoris causa) учителем географии. Кого пригласила? Того осмеянного в прошлом маленького мечтателя. Та же судьба, продолжает размышлять Пришвин, привела его, уже взрослого начинающего ученого-агронома на Север, в Карелию и Беломорье: он бросил науку и, повинуясь непреодолимому влечению, отправился в 1906 году записывать народные сказки. Он искал тогда свой подлинный путь, свое призвание, свой «хомут». Так он сделался писателем.

И снова в 30-х годах та же судьба привела его на те места, где он совершил свое первое путешествие в начале века; теперь новые люди прокладывали там Беломорско-Балтийский канал. На фоне столкновения двух разных эпох, разных миров Пришвин обдумывал свой новый роман «Осударева дорога».

В год поселения в Дунине Пришвин уже вошел в работу над романом. Приподнимает его и настигающая в эти дни «будоражащая весна»: как всегда, она призывает подняться во всю высоту. А тут еще колебания с покупкой дачи, поисками денег, организацией ремонта. Трудности — в один узел — со всех сторон! Но мы наблюдаем, как мужественно напрягает он все свои силы, чтобы не поддаться слепой судьбе.

И «судьба» ему подчинилась, выступив в лице Издательства географической литературы, которое предложило Пришвину составить сборник из его произведений под названием «Моя страна». Тогда, в детстве, смеялись над его мечтами о неосуществленной «золотой стране» Азии, а теперь в центре книги будет рассказ о его путешествии именно туда — «Черный араб». Сделать книгу нетрудно:

надо написать связующие главы. Это может несколько разрядить работу над романом и вывести Пришвина из денежного затруднения.

«5 мая. Так все сошлось в одну точку: узел моей работы над «каналом», узел дачного строительства и узел весны, — одно исключает другое.

Приходится делать так: узел весны сам собой развязывается; узел строительства развяжется в Москве (Пришвин надеется найти в Москве необходимые деньги с помощью издательств. — *В. П.);* а узел творчества перенести на сколько-то вперед и на какой-нибудь месяц заняться книгой «Моя страна».

«9 мая. Буду строить дом второй раз в жизни; первый строил в 1917 году (нужно же!), и теперь, без года через 30 лет, опять! Не знаю, хватит ли духу устроить дом в полном смысле слова...»

Однако через два месяца наконец-то появляется в дневнике следующая завершающая все эти колебания запись: «Около вечернего чая пришли девушки: предсельсовета и агроном. Они поставили печать на заготовленные нами бумаги, и двухмесячная борьба и колебания были закончены; развалины дачного дома стали нашим владением.

Я подарил Критской книгу с надписью: «Н. А. Лебедевой-Критской на память о счастливом хомуте. Я счастливо влез в хомут счастливого 13 мая 46 года, она счастливо из него вылезла».

Свое призвание, свой «хомут», Пришвин понимает как творчество небывалого. На первый взгляд оно может показаться фантазией или сказкой. Сам же Пришвин понимает сказку как ту творческую мечту, без которой не может быть у человечества никакого движения к лучшему. Таким образом, способность творить сказку и осуществлять ее по правде — это и есть величайшая созидательная сила человека. Сказка осуществляется и

открытиями науки, и созданием произведений искусства, и созданием прекрасного в самой бытовой повседневности. Вот почему поведение творческого человека нельзя судить по старым образцам и мерить его жизнь и работу на общий аршин. Для суда нужно, чтоб прошло время. Так думает Пришвин, он это узнал по собственному опыту жизни.

Вот он ведет разговор о современности, о политике. Собеседник удивляется тому, что Пришвин так хорошо чувствует текущее время. Пришвин ему отвечает: «Вы дивитесь, что, понимая время, могу сочинять сказки? Но я не могу их не сочинять. Это есть дело жизни. Пример: в 1917 году, когда я строил дом в Хрущеве... Второй пример: строил в Рузе перед немцами... И пусть! И вот теперь, может быть, и выстрою».

Михаил Михайлович восхищается разнотравьем дунинских лугов, богатством леса. Возникают постоянные сравнения с любимым хрущевским домом и садом под Ельцом, где он родился и провел детство: «Брожу весь день между липами, и вдруг вспомнилось Хрущево. Там был тоже такой легкий для дыхания воздух. С тех пор я не дышал таким воздухом, я не жил в здоровой природе, и мало-помалу забыл, что она существует... Я жил в болотах, в комарах, понимая такую природу как девственную, как самую лучшую. А разве мать моя жила не тем же чувством благодарности за жизнь, какая она ей пришлась, не имея никакой претензии на лучшую? Та даже и умерла, не испытав женской любви. Да и вся Россия такая жила в бедной истине, думая о том, что где-то лучше живут, и нам бы можно так.

И вот почему, когда я вышел из болот и стал здесь на *глубокую* * почву, где липы растут и нет комаров, мне кажется, будто я вернулся с Хрущево, в лучшее, прекрасное место, какого и не бывало на свете».

---

* Агрономический термин, означает питательную почву.

Все лето шел ремонт дома, Михаил Михайлович сам организовывал, ездил, хлопотал, в то же время никогда не прерывая своей утренней литературной работы, хотя условия для нее складывались непривычно тяжело. Он жил, пока шел ремонт, в санатории «Поречье» по путевке, причем администрация его постепенно вытесняла, как «зажившегося», что было нам понятно и даже не обидно.

В середине лета Михаил Михайлович очутился уже в клетушке около четырех квадратных метров, где умещалась лишь кровать и ночная тумбочка — на ней он и писал. С ним была неразлучна его Жулька. Я же — в постоянных разъездах между ним и матерью, которая оставалась в Пушкине на даче; мы дежурили около больной по очереди с моими давними друзьями — сестрами Барютиными *.

Михаил Михайлович не перелагал на меня в тот момент ни инициативы, ни осуществления практических дел по ремонту. После устройства Дунина он как бы перешел на новую ступень физической и духовной жизни. Это отразилось и на нашем дунинском хозяйстве: я взяла все хозяйственные заботы на себя.

Удивительна и прекрасна была жизнедеятельность и бодрость Михаила Михайловича, как будто хлынувшая в тот год внезапно и щедро из каких-то запасных источников его души. Понять это можно по одной, очень прозаической записи, сделанной, казалось бы, по мелкому поводу. Мы жили в те дни вместе в «Поречье».

Трогательна своей искренностью и какой-то беззащитностью была его утомляемость и отсюда нетерпеливость во внешних делах в противовес огромной выдержке — я бы сказала, изяществу в работе мысленной, в его писательстве.

---

* Семья Барютиных, ставшая друзьями М. М. Пришвина. (См. о них т. 6, с. 785.)

Пример нетерпеливости, о которой я упомянула выше. Вот мы собираемся куда-то ехать на машине. Он, шофер, давно готов, а мы, пассажиры-женщины, еще в чем-то замешкались. Тут он молниеносно выходит из себя и бросается пешком вперед: а вы попробуйте, мол, догонять! Уходит, потом, конечно, одумывается, возвращается...

Иногда бывало в этих случаях по-иному: мы оба приготовились к поездке с шофером и ожидаем машину. В этих случаях Михаил Михайлович обычно отстранялся внутренне от праздного ожидания, вынимал тетрадь с начатой работой и углублялся в нее. Так был написан рассказ «О чем шепчутся раки». Это было в доме творчества писателей «Малеевка» под Москвой в начале 1941 года. Мы сидели в нашем номере уже одетые, в шубах, и ждали машину из города. Пришвин был настроен легко, весело. Он велел мне открыть портативную машинку, сесть за нее и одним духом продиктовал рассказ. Помню, мы даже и работали одетыми.

Не случайно рассказ этот несет особый тон сказителя, а не писателя.

Нетерпеливость, о которой я рассказала выше, объясняется, несомненно, исключительной отданностью мысли и подсознательным стремлением к экономии времени и сил: поменьше тратиться на житейские пустяки. Сколько же их накапливалось с ремонтом дунинского дома!

Купили разрушенную дачу — как не быть иногда и сомнениям и досаде? «18 мая. Меня кормили, за мной ухаживали, убирали, почитали, и все было так, что ты сиди и пиши. Так нет же! Как стало только очень хорошо жить, я стал искать себе заботу, высматривать, выспрашивать и наконец нашел себе полуразвалившуюся дачу, купил, истратил все свои деньги и стал ремонтировать: забота бесконечная. И все это похоже на «а он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой...».

Не очевидно ли, что сущность жизни есть борьба, а радость жизни есть торжество победителя. Если же радость дается без борьбы готовая, то мы сами вызываем препятствия. Вот именно только на этой основе я и купил себе этот дом на реке и столько взял хлопот на себя...»

В конце мая приключилась новая беда. Михаил Михайлович схватил сухой плеврит, но достаточно было одному из служащих санатория попросить отвезти его в Звенигород, как Пришвин тут же делает над собой усилие и, пренебрегая своим состоянием, едет. А уж раз поехал — «все на пользу дела!» — и он заходит в Звенигороде в райземотдел по поводу досок, до зарезу ему нужных в тот момент. Начальник райзо Н. Н. Полетаев, узнав, что Пришвин ремонтирует себе дом в Дунине, спросил:

— Вы хотите там пятнистых оленей разводить?

— Вроде того, — ответил Михаил Михайлович, обрадованный, что имеет дело со своим читателем, знающим его повесть «Женьшень».

— Постараюсь помочь вам всеми силами, — ответил Полетаев.

«...и в одну секунду я получил 25 кбм леса, о которых хлопотал уже целый месяц напрасно. Так нашелся метод моей дальнейшей работы: все делать самому, ничего через представителей».

Однако поездка не прошла больному даром. Он слег. Полегчало лишь в начале июня.

«3 июня. Лег в постель читать «Госпожу Бовари», увлекся, пролежал столько, бог знает сколько, и, встав, почувствовал себя здоровым. Это чувство здоровья раскрывается прежде всего в пробуждении интереса во всем: вся жизнь интересна, за что ни возьмись. И все дорогое становится тебе дороже».

«7 июня. Вот бы выздороветь! Пожить еще хочется в Дунине на «Фацелии» (так называет здесь Пришвин

свою дачу. — *В. П.*). Из головы не выходит «Бовари» Флобера... Настоящее искусство действует как мина, взрывающая обстановку привычных положений...»

Болезнь приняла, однако, затяжной характер. Как Михаил Михайлович, старый человек, борется с нею, видно по его записям. Они поучительны.

«17 июня. Впал в последнюю лень (через болезнь) и теперь уже начинаю лечиться не от болезни, а от лени. Еле доплелся до леса, но там ожил и успешно учил Жульку».

В конце июня нужно было съездить в Рублево (где помещалось управление нашей водоохранной зоны) для оформления документов по даче.

«28 июня. В Рублеве помощник заведующего рассказал об их борьбе с человеком. Дело в том, что охрана воды сводится к охране леса, а охрана леса — к охране его от человека. Какие бы ни были люди, молодые и старые, мужчины, женщины, невежды и образованные, — все равно лес гибнет при соприкосновении со всяким человеком».

Приписка через несколько дней: «Я же подумал и о поэзии — тоже и поэзия гибнет при соприкосновении с цивилизованным человеком». Так Михаил Михайлович ставит задачу охраны природы и как бы завещает нам, оставшимся после него в Дунине, продолжение этого дела. Места наши удивительно сохранились, и притом вблизи большого города: уж по этому одному они являются заповедными.

Кончался июнь. Пришвин уже регулярно работает над рукописью будущего романа. Неукоснительно появляется на стройке. Но он еще далеко не выздоровел, и поддерживает его только чувство долга — воля.

«30 июня. Раньше я рано утром в предрассветный

час вставал в радостном трепете и верил, что если убедить всех вставать рано — все станут счастливыми. Теперь если встану рано — встану разбитый, а полежу, подремлю часа два — ничего.

И теперь я не верю, что всех людей можно убедить рано вставать и что они от этого будут счастливы...»

После перенесенной болезни Михаил Михайлович предпочитает жить в Пушкине: ему там удобней в бытовом отношении, да и я ему могла без отрыва в чем-то помогать.

Тем летом Пришвин ухитрялся еще и натаскивать собаку на болоте под Пушкином. И писание, и охота, и автомобиль, и общение с людьми, и постоянное уединенное общение с природой на далеких прогулках и поездках, причем это последнее ему было насущнее всего — как дыханье. Короче говоря, жизнь была наполнена до краев своим делом, и на поверхностный взгляд могло казаться, что Пришвин успевает жить только собой. Но так думать было бы грубейшей ошибкой, на самом деле происходило обратное: он делал будто для себя, а выходило непременно для других — для всех.

Для нас же, близко стоявших к нему и любивших его людей, от его усилий как можно лучше делать свое дело всем становилось тоже хорошо, и интересно, и весело.

В Дунине теперь следил за ремонтом один наш добрый знакомый, и Михаил Михайлович появлялся там лишь в необходимых случаях: «В Дунине дела без меня не идут. Выезжаю завтра». «В доме одна печка наполовину готова. Ставят ворота. Расчищена дорога для машины. Вечером дом светится. Сделаем!»

В июле Пришвин работал уже без срывов. По-видимому, болезнь прошла. «Расцвели все цветы. Поспели садовые ягоды. Показались на деревьях яблоки. Ух, какая работища нависла надо мной и тоже, как яблоко,

показалась из моей зелени*. В Дунине с великой силой взялись белые грибы. Всего трясет — так хочется пособирать, и в то же время думаешь, что все такое не ко времени. Теперь мне не до грибов, не до охоты, не до рыбы, даже и не до природы».

Летом 1946 года произошло страшное несчастье.

Мы ехали из Пушкина в Москву вдвоем, и наперерез нам прямо под колеса с обочины бросился мальчик. Потом оказалось, он бросился за упавшим колпаком с колеса. Остановить машину было невозможно. Михаил Михайлович успел лишь резко повернуть руль в сторону, и удар пришелся фарой в голову мальчика. «17 июля. При ударе фары о детскую голову был удар в мою душу: машина остановилась, и я сам остановился. Произошло то самое страшное, о чем думать себе я никогда не позволял. От всего меня остался обрубок, или пень, или шея, с которой снесена голова...

18 июля. Когда меня ударило в самую душу и я там в душе оглох, ослеп, отупел, то извне послышался голос: «Езжай сюда, жив!» И я очень искусно развертывался на шоссе. «Езжай в больницу!» Ехал верно и уверенно в больницу, в милицию, в автоинспекцию, обратно в больницу, обратно в милицию. Мне вспоминается, что я работал лучше, чем когда был свободным.

И вот этим объясняется работа на Канале, а не «перековкой» **; путем работы можно уходить от себя, заваливать песком свою душу.

19 июля. Л. узнала, что «крестник» хорошо поправляется и скоро выйдет... Так, пережив муку, опять возвращаюсь к «счастью», потому что все говорят: «какое счастье!»

---

* Речь идет о работе над романом «Осударева дорога».

** Имеется в виду роман «Осударева дорога». Термин «перековка» обозначал в те годы трудовое перевоспитание на строительстве канала.

Идет август, ремонт движется к концу, нам не хватает денег, чтоб расплатиться с плотниками. С вечера выясняем сроки расчетов, свои средства...

«17 августа. Вечером после дождя потеплело и от земли повалил пар. Подумал о грибах и сегодня поутру, очень хорошему, пошел. Но я был смущен и расстроен вчерашними подсчетами строительства, не мог войти в радость леса и вернулся с двумя грибами...

23 октября. С деньгами плохо. Спина ужасно болит, ходить почти не могу. Надо собирать силенки, зажечь огонь и разогнать наступающих волков».

Михаил Михайлович бросился в Государственное издательство художественной литературы за помощью. Там работал директором П. И. Чагин, благодарную память о котором хранят писатели не одного поколения. Он был страстным любителем литературы, чутким и бескорыстным помощником писателей во все трудные их минуты. От Чагина Пришвин с великой радостью узнал, что в Лейпциге напечатан его сборник. Этот сборник, выпущенный без ведома автора, и выручил нас при расчетах за ремонт.

Теперь станет понятной читателю без всякого переносного смысла запись в дневнике, относящаяся именно к тем дням борьбы за свой желанный дунинский дом: «Мой дом над рекой Москвой — это чудо. Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны».

Ремонт дома шел все лето, к концу которого, осенью, Пришвин пишет: «Вчера первый раз переночевал в своем доме. Начинаю пожинать урожай своего весеннего сева: посеял, все лето боролся, растил — и вот мой дом, как яблоко, как мысль, поспевает, и звезды небесные, как обстановка души моей, появляются над моими сенями.

Вечером на короткое время вызвездило, и я с веран-

ды увидел Большую Медведицу и другие звезды, с детства так знакомые и родные.

И вся небесная обстановка моего домика была как мебель собственной души моей, и даже сама душа, казалось, досталась мне от первых пастухов».

Запись эта станет понятной, если читатель узнает, что дом, в котором Пришвин тогда ночевал, еще стоял без полов, спал Михаил Михайлович на сколоченном наспех топчане, устланном свежим сеном. Вместо мебели вокруг стояли пни. Для работы Пришвину плотники тут же сколотили первый грубый стол.

Еще надо представить себе местоположение дома и весь дунинский пейзаж: веранда выдвинута вперед, расположена высоко и потому открыта на все четыре стороны. И раскинувшееся внизу за рекой до горизонта заречное поле, и широкое небо над ним, вечерами в звездах, — они воскрешали в памяти Пришвина его давнишнее путешествие в Киргизию, дикую в те годы страну, напоминавшую ему первую библейскую Книгу Бытия с ее кочевниками-пастухами. Пришвин сливался тогда с душой пустынной земли; отдыхал у костров и в юртах; проникался поэзией пустыни и поэзией неба над ней. О нем самом родилась тогда в степи легенда как о таинственном Черном арабе, едущем в Мекку. Через долгие годы нес в себе художник эти образы. О них почти не вспоминал. Но в звездную дунинскую ночь, на высокой веранде под открытым и в безлунную ночь таким близким небом, эти образы оживают.

В путевом дневнике 1909 года Черный араб пишет: «Кто видел звезды в ауле, того они всегда будут сопровождать... Сколько препятствий на пути к звездам!.. Что такое это стремление к природе?

К звездам, к звездам поднимается эта старая земля. А может быть, звезды опускаются к ней?.. И откроется простой путь к звездам... И потому нужно дорожить жизнью: звезда придет».

Когда читаешь сейчас эти давние строки, приходит на ум: только сейчас, больше чем через полстолетия, мысль одинокого человека, заброшенного в пустыню, вошла целиком в нашу современность и стала всеобщей. В начале века для Пришвина эти слова были чистой поэзией. В конце жизни он уже предвидел реальный вылет человека к звездам. Писал об этом. До осуществления не дожил всего несколько лет.

Слова о стремлении к звездам можно понять у Пришвина и символически, и одновременно в жизненной их простоте: это желание увидать «знакомую звезду над своими сенями, как мебель собственной души».

Есть у Пришвина в одном из дунинских дневников запись, звучащая по-детски наивно: «Не знаю, чем это объяснить, но Большую Медведицу начинаешь видеть почему-то с осени».

Объяснение этому такое простое: осенью она выходит из-за леса и появляется над нашей верандой именно в те часы, когда Михаил Михайлович туда выходит по вечерам. Это не мы ее, а она нас осенью «начинает видеть», к нам «опускается», как мечтал об этом некогда Черный араб, кочуя в пустыне.

И еще вспомним попутно одну запись в том давнем дневнике:

«Громадные желтые звезды догнали луну, распахнулись в золотой одежде низко-пренизко, и если бы мальчик ловил звезды сачком, как бабочек, то непременно поймал эту распахнувшуюся звезду... И может быть, где-нибудь, в самом деле, где только песок желтый-желый, и воздух чистый-чистый, и тишина... И там в особые минуты, в полночь, звезды спускаются к самой земле... и там, быть может, совсем маленькие чистые дети бегают с сачком в руках и ловят эти звезды, и опять пускают. Ловят и пускают... И так до утра...»

Заметим: это было написано за полстолетия до появления Маленького принца у Экзюпери.

«Стучат топоры, и очень все как-то по мне, все расставляется в моей душе на свои вечно предназначенные места, — вхожу в себя. Мне живо представляется время жизни моей на хуторе Бобринского в 1902 году *, сорок четыре года тому назад, когда мне было 29 лет. А как ясно вспоминаются даже первые записи. Помню даже, как записывал тогда, что бога нужно искать на границе природы, где природа кончается и начинается человек.

...Прошло почти полстолетия, и оказывается, что с тех пор я так и не отходил от той темы, и все написанное мною было об этом, и на этой теме я умнел и богател».

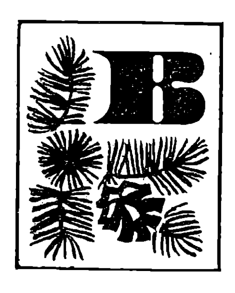
Наступил 1948 год. Все хозяйственные хлопоты для Михаила Михайловича были уже позади. Он живет и работает в Дунине: «Я встаю до солнца и гуляю на балконе. И мне кажется, эта прогулка, это жадное чувство жизни началось во мне с Балахонского хутора... Значит, иду я кругом сорок пять лет!»

Да, можно нам, друзьям Михаила Михайловича, надеяться: та звезда, которую он ждал, ради которой «дорожил жизнью», — эта звезда и вправду к нему «опустилась» в Дунине.

---

* Балахонские хутора Тульской губернии графа Бобринского, где служил агрономом М. М. Пришвин.

ПРОШЛОЕ ДУНИНСКОЙ УСАДЬБЫ



В архиве дунинского дома хранится старинный трудночитаемый документ. Бумага исписана выцветающими уже чернилами, украшена печатью — гербом в виде двуглавого орла. Этот документ имеет дату: 23 августа 1844 года и называется так: «Геометрический план, составленный попечением и милостью императора Николая I». Так гласит надпись вокруг государственной печати.

Из «плана» явствует, что в 1766 году, когда при Екатерине II было произведено размежевание земель, участок, на котором сейчас расположен наш дом, был отведен в «дачу села Козина». Слово «дача» будем понимать здесь в прямом его значении *дара,* как оно и разумелось в XVIII веке.

Далее из текста «плана» следует, что в 1844 году (то есть через 80 лет, прошедших после межевания) «дача села Козина» стала собственностью определенного лица. Она принадлежала теперь (видимо, была пожалована) некоему коллежскому асессору Андрею Матвеевичу Спиридову, человеку, не особо видному по его общественному положению. Надо сказать, что коллежский асессор — это был 8-й чин (или «ранг») из 14 по

установленной Петром I «табели о рангах» для людей, «оказавших услугу отечеству» и за это причисленных ко дворянству, «хотя бы и низкой породы были».

Из всего этого можно заключить, что владение было не из богатых и сам владелец «не высокой породы».

Усадьба по площади намного превосходила нынешнюю: в ней числилось по документу 1844 года 8 десятин 2125 квадратных сажен «удобной и неудобной земли». Сюда входили «поселения, огороды, гуменники, конопляники, проселочные дороги, полурека, берег...».

В плане оговаривается: «Во время межевания участка в поселении состояло деревень Дунино, в коем за коллежским асессором Андреем Матвеевичем Спиридовым господского дома не имеется, крестьянских дворов 3, из них по восьмой ревизии мужеска пола 6, женска 8, а ныне налицо мужеска 4, женска 7 душ».

Этот документ является живой иллюстрацией того, откуда происходили «мертвые души», за которыми именно в те годы и охотился Чичиков; в Дунине он мог бы купить их у Спиридова, как видим, только три.

В упомянутом 1844 году участок представлял собою землю, вытянувшуюся извилистой линией от реки в глубину леса. Несомненно, в те поры леса были сплошными и шли вокруг на сотни верст. Через много рук прошла эта «дача». Постепенно в силу изменявшихся исторических условий уменьшался и ее размер. Теперь, к нашим дням, от этого участка осталась только его небольшая «голова», обращенная к реке. Но, став минимальным по топографическому измерению, участок этот, представлявший некогда материальную ценность для владельца, ценен нам теперь совсем в ином его значении: теперь это памятник нашей культурной истории, причем не только место памяти о писателе М. М. Пришвине, но и место, где в конце XIX и начале XX века проходила жизнь еще многих других русских культурных и общественных деятелей.

Сейчас существование дунинского дома как частной дачи заканчивается навсегда. В нем идет подготовка к открытию мемориального музея в память М. М. Пришвина и его ближайших предшественников в Дунине, следы которых нам удалось восстановить.

Вернемся снова к истории «дачи». По найденным документам мы видим: после А. М. Спиридова «дачей» владела коллежская советница Ирина Александровна Михайлова. В документах второй половины XIX века упоминаются имена еще двух последующих владельцев: полковника Николая Ивановича Сперанского и присяжного поверенного Александра Александровича Никольского. О характере Никольского может косвенно сообщить нам лишь один имеющийся у нас документ — это акт и план обмена отдельными частями земли между владельцем и крестьянами «сельца Дунина». Акт подписан Никольским и уполномоченными от крестьян Алексеем Ивановичем Руненковым и Иваном Алексеевичем Захаровым, вероятно, единственными грамотными на деревне, так как мы видели акты, подписанные ими, и у других владельцев Дунина.

Что примечательно для нас — на документе сделана оговорка: «При этом споров ни от кого заявлено не было».

Кстати, фамилии Руненкова и Захарова до сих пор бытуют в современном Дунине.

В самом начале нашего века «дачей» владела «жена финского уроженца» Мария Освальд, у которой в 1901 году купила эту «дачу» «жена статского советника» Конкордия Васильевна Критская.

«А взяла я, Освальд, с нее, Критской, за то продаваемое имение денег одиннадцать тысяч рублей со всеми жилыми и нежилыми сельскохозяйственными строениями и всем инвентарем». Так значится в купчей.

«Дача» в купчей именуется «Миловидово». Название это порождено, думаю, прекрасным видом с высокого

дунинского берега на заливной козинский, и был этот вид в те годы, конечно, еще прекрасней. Когда появилось это название — установить нам не удалось. При екатерининском размежевании в 1766 году ни деревни Дунино, ни «дачи» Миловидово не упоминалось, а вся местность называлась сухо: «шестой участок села Козина».

Интересны некоторые условия, поставленные новой покупательнице имения со стороны бывшей владелицы. Они изложены в купчей так:

«1) За крестьянами деревни Дуниной сохраняется право а) проезда к их сенным сараям; б) проезда по дороге, пролегающей от владения крестьян деревни Дуниной по моим, владелицы, владениям и в) прогона скота и проезда по берегу реки Москвы через землю мою, продавщицы, примыкающую к бичевнику и 2) предоставляется право крестьянину Алексею Степанову пользоваться безвозмездно той усадебной землей, которую он ныне занимает, вплоть до того времени, когда он сам пожелает перенести свою усадьбу на другое место».

Думаю, что оригинальный план дунинской усадьбы обязан творческой инициативе и вкусу «финляндского урожденца», который, видимо, и строил этот дом в конце XIX века. При первом ремонте мы нашли под обоями одной из комнат газеты 1899 года.

Обратимся к внутренней истории нашей усадьбы — к нравственному облику и деятельности людей, живших здесь непосредственно перед нами.

Дочь Критской была замужем за географом Лебедевым — преподавателем Московского университета. Семья была связана и с Л. Н. Толстым, и с революционными деятелями начала века. Понятно, почему ближайшим другом их был известный издатель народ-

ной популярной библиотеки «Посредник» Иван Иванович Горбунов-Посадов. Вместе с семьей он проводил не один год лето в дунинском доме. Жила в нем и семья известного толстовца-экономиста Сергея Дмитриевича Николаева, автора книги об американском экономисте Генри Джордже, создавшем теорию уничтожения частной земельной собственности; теорию эту горячо одобрял Л. Н. Толстой.

Толстовство, этот своеобразный путь борьбы за общественную справедливость в начале века, как известно, где-то близко соприкасалось с революционным брожением в народе. Вот почему вполне закономерно для тех лет, что на памяти наших современников у Лебедевых-Критских в Дунине жил тогда начинавший, а потом прославленный скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. Жил здесь и его друг, известный живописец Петр Петрович Кончаловский, тогда тоже начинавший свой путь в искусстве. С. Т. Коненков впоследствии рассказывал нам, что их с Кончаловским навещала в Дунине товарищ по Училищу живописи Анна Семеновна Голубкина, известный скульптор. Коненков отзывался о ней с восхищением.

Приезжал в Дунино и еще один товарищ молодых художников по училищу — Леопольд Антонович Сулержицкий, режиссер Художественного театра, связанный с хозяевами дунинского дома тоже как единомышленник Толстого. Художников привлекала дунинская природа. Так, в конце века в Дунине поселился Константин Семенович Кувакин, балетмейстер Московского Большого театра, он был и живописцем.

Особым уважением пользовался бывавший в дунинском доме главный врач звенигородской больницы Дмитрий Васильевич Никитин. О нем осталась память и как о прекрасном человеке, и общественном деятеле, и ученом. В прошлом он был личным врачом Л. Н. Толстого до его последнего дня. Позже был врачом

А. М. Горького. Никитин был передовым земским врачом. При нем преобразилась звенигородская больница.

Владельцы дома и окружающее их общество были связаны и с прямыми революционными деятелями тех лет, в основном с народовольцами. Так, дунинский дом до сих пор хранит живую память о Вере Николаевне Фигнер. Здесь она провела много лет после освобождения из Шлиссельбургской крепости и последующего пребывания в эмиграции, то есть после 1915 года.

В. Н. Фигнер была близким другом Лебедевых-Критских. Жила она всегда в одной и той же комнате, обращенной на север и имеющей отдельный вход. Несомненно, в выборе комнаты диктовала ей долгая привычка к уединению, ставшая в какой-то степени ее потребностью — натурой. Следы ее пребывания в Дунине сохранились в памяти немногих уже доживающих свой век дунинских стариков. Они рассказывали мне, как по деревенской улице часто проходила худенькая женщина в темной блузке с неизменными белыми воротничками, похожая на учительницу, сдержанно-молчаливая, даже суровая, и чрезвычайно внимательная ко всякому, кто обращался к ней с вопросом.

Дунинскому дому был близок еще академик-биохимик Алексей Николаевич Бах, известный ученый и, кроме того, член народовольческой партии, автор книги «Царь Голод». А. Н. Бах отбывал не раз заключение и ссылку за свои убеждения.

Лучшие люди начала века были захвачены прогрессивными общественными идеями различного толка. Сохраняются имена этих людей и места их памяти. Наша скромная дунинская усадьба в лице ее обитателей также была малым, но подлинным отражением тех предреволюционных лет России.

На усадьбе стояло два дома. Я разумею под вторым домом не ветхую сторожку, еще доживающую сейчас свой век на нашем участке; «второй дом» — это

проданный последней хозяйкой, по ее словам, перед самой войной санаторию «Поречье», превращенный санаторием в общежитие для рабочих. Дом этот был расположен на одном участке с главным домом, о чем наглядно свидетельствуют остатки аллеи, ведущей от пришвинского дома к этому второму. Я лично бывала в нем у Лебедевых еще в 1930 году.

С Коненковым Пришвин встречался несколько раз до революции в его мастерской на Пресне. Знакомство было мимолетным. Пришвин запомнил Коненкова; не знаю, оставил ли тогда Пришвин в душе Коненкова какой-либо след. Настоящая их встреча произошла много позже, в 1948 году. Вот как вспоминает об этом сам Коненков в своей книге «Мой век»:

«Летом 1905 года по приглашению Дмитрия Кончаловского (брата художника. — *В. П.*), который служил в Звенигороде и жил в находящейся поблизости от города деревеньке Дунино, я приехал к нему погостить.

Но и здесь, в глуши, ощущалось приближение еще более грозных событий. Крестьяне открыто возмущались тем, как ведется война... Теряли былую веру в батюшку-царя. Помню, как бородатый дунинский мужик с понимающей усмешкой показывал мне сатирический рисунок в журнале. Под рисунком подпись такого содержания: «Японский император пишет русскому царю: Тебе не со мной воевать, а вином торговать».

А ведь так и было: в разгар русско-японской войны в изобилии были открыты «монополии», которые народ тотчас окрестил в «винополии».

...Как-то в разгар лета (это было по возвращении Коненкова из длительного пребывания за рубежом в 1948 году. — *В. П.*) меня потянуло навестить знакомые места под Звенигородом... В знакомом доме я застал писателя Михаила Михайловича Пришвина. Редкостный знаток природы, поэт Пришвин был мне давно дорог.

Пришвинская философская проза на всех действует благотворно. Она очищает, осветляет душу. Встреча с живым писателем оставила по себе впечатление тихого солнечного утра. Михаил Михайлович был великим тружеником, человеком, одаренным абсолютным зрением и тонким слухом, — был художником.

Для того чтобы «не заржаветь», художник должен как зеницу ока охранять свое нравственное здоровье, всю полноту чувств. Художник должен быть окрылен. Таким был Пришвин.

На могиле Пришвина стоит изваянная из камня «Птица Сирин». Птица Сирин в древней русской мифологии — символ счастья. Когда я думал о памятнике поэту природы, то ясно представлял себе: ведь каждая строчка Пришвина вечно будет дарить людям счастье» *.

Все рассказанное убеждает, что Дунино — это место, проникнутое духом русских правдоискателей XIX и начала XX века. А вокруг него простирается земля, которая прямо-таки дышит жизнью народного подвига и искусства. Не будем подробно здесь говорить о великих архитектурно-исторических памятниках древнего города Звенигорода — некогда равного брата самой стольной Москвы. Его Саввино-Сторожевский монастырь, Успенский собор на Городке, храмы села Уборы и в Больших Вяземах, архитектурный ансамбль во Введенском — все это известно не только нам, соотечественникам, но и туристам всего мира. И потому обратимся к воспоминанию о самих людях, живших на нашей звенигородской земле и оставивших по себе благодарную память.

Мы выше рассказали о бывавших и живших на дунинской усадьбе людях; есть среди них очень известные,

---

* На могиле М. М. Пришвина на Введенском кладбище в Москве стоит памятник работы С. Т. Коненкова.

есть и мало кому ведомые, но равно достойные... По окрестностям же Дунина расположились во всех направлениях, как бы звездой, и утвердились навсегда на своих местах многие славные имена. Мы разумеем здесь главным образом людей, работавших в искусстве.

Чехов работал врачом в звенигородской больнице. Неподалеку от города, в деревне Дютьково, жил композитор Танеев. В Саввинской слободе на окраине Звенигорода начинал свой путь в живописи Левитан. В Звенигороде работали учитель Левитана Саврасов, братья Коровины. Во Введенском — художники Борисов-Мусатов и Якунчикова. Мы не упоминаем здесь ряд менее известных имен прекрасных живописцев, также работавших в наших звенигородских местах.

А. М. Горький жил с 1931 по 1936 год под Звенигородом в Горках, это в 10 километрах от Дунина. Там он и скончался. Память о Герцене связана с имениями Васильевским и Покровским, принадлежавшими его отцу. В них Герцен провел все свои молодые годы. И наконец, наша земля хранит воспоминание о самом Пушкине: в близком соседстве с Дунином находится Захарово, бывшее имение бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал. Там Пушкин проводил летами все свое детство вплоть до поступления в лицей. Бывал наездами и в последующие годы.

Сохранилось и множество безымянных могил, о которых необходимо вспомнить. Прежде всего это следы древнейших ее насельников, славянского племени вятичей. В нескольких сотнях шагов от нашего дунинского забора в лесу находится курган их захоронений.

На нашей земле покоятся жертвы двух отечественных войн. Через Большие Вяземы шла армия французов на Москву после Бородинского сражения. В Саввинском монастыре был расположен французский корпус генерала Богарне. Под Звенигородом шли бои. Из мо-

настыря выбили неприятеля в октябре 1812 года наши партизаны *.

Звенигород и его окрестности были заняты неприятелем и во время Великой Отечественной войны 1941 года. Как мы уже сказали, отряды неприятеля стояли на противоположном берегу Москвы-реки, со стороны села Козина. Шел обстрел нашей деревни.

Что особенно дорого нам — Дунино хранит следы не только битв, но и самой победы: неприятель был остановлен на подступах к Дунину — реку он уже не перешел.

Однажды осенью 1973 года в группе наших гостей-экскурсантов оказался человек, приехавший с единственной целью — навестить дом, в котором он стоял солдатом во время фашистского нашествия. Мы видели, что человек этот взволнован воспоминаниями о здесь пережитом. Осматривая дом снаружи, он вдруг остановился у водосточной трубы и явно чему-то обрадовался... Чему? Мы не решались его спросить; он смотрел на большой чугунный котел, найденный на участке и служащий нам для сбора воды под капелью.

«— Спасибо, что сохранили, — улыбнулся нам бывший солдат, — это наш котел...»

Живя в Дунине, Пришвин не раз отмечал в дневнике замеченные им следы недавно окончившейся войны. Вот записи:

«Семь сестер-берез в одной кучке. Раненый был в таком состоянии, что его приняли за мертвого и выкопали ему могилу на опушке леса, но раненый, когда копали, показал признаки жизни, и санитары его унесли. Могила осталась раскрытой, а в нее полетели семена берез, и потом из множества уцелело и выросло семь сестер. 19. V. 47».

---

* С. Боровкова. Звенигород и его окрестности. М., «Московский рабочий», 1970.

«Ездили на Истру (дер. Лукино, Баево болото). Деревня сожжена немцами, но кое-где уже вырос новый домик. Под сожженными домами земля вздувается темно-зеленым бурьяном. Там из кущи раковых шеек торчит дуло пушки, придавленной танком, там в кузове сгоревшего грузовика выросла полынь, и в ней по глупости устроилась зачем-то ворона.

Баево болото есть дно пересохшего озера верст восемь в диаметре, на середине блестит немного воды, и там множество чаек... 3. VII. 48».

«Я ходил по стороне реки, где русские и немцы в долине стояли в нескольких сотнях метров и бились. Остались несколько братских могил и много изуродованных снарядами деревьев.

...Был дом, крытый соломой, и возле него было два сарая, тоже соломой крытых. Когда подходишь со стороны сараев, то одним окошком, как глазом, дом обернулся и глядит на тебя... Я заметил это выражение настороженности, недоверия и подумал, что это от военного времени осталось. 2. IX. 48».

До сих пор мы постоянно встречаем поблизости от нашей деревни остатки земляных укреплений, следы от разрывов снарядов и бомб. Застали мы их и на своем участке.

Годы проходят — следы постепенно зарастают... Но люди и дела их не забываются.

О ДРУЖБЕ



так, в 1946 году дунинский дом стал нашим личным владением. Через год был сделан землемерный обмер участка и выдан нам план на владение им «на 99 лет». Если в плане 1901 года при покупке предыдущими хозяевами в нем было 7 десятин 2318 квадратных сажен, то теперь, переведя на те старинные меры, в нем была всего только одна десятина. Дом был куплен на мое имя. Михаил Михайлович и говорил и писал не раз, что обладание Дунином дает ему спокойствие за условия моей будущей жизни и работы после его ухода. «Прекрасная затея с этой дачей, и даже если самому придется мало пожить, никак Л. не будут беспокоить...» Не о житейском благополучии моем думал он, делая эту запись: он заботился о создании спокойных условий для моей работы, которую он возлагал на меня как на своего прижизненного сотрудника и литературного наследника — он давно был озабочен этим. Так, за год до покупки Дунина он записывает: «Надо обеспечить Л. спокойную работу над дневниками».

Дневники — это была та область работы, которой он придавал особое значение и которая не была почти

известна при его жизни читателям. Житейское же спокойствие в воображении Михаила Михайловича осуществлялось просто: «Возьмешь к себе Барютиных, — говорил он мне полушутя, — и будете жить клубникой!..»

Последние слова свидетельствуют нам, что он хоть и шутил, но не представлял себе тогда размеров предстоящей работы после его кончины; работы, исключающей какую-либо трату внимания на личное хозяйство и так называемую личную жизнь. Она, эта жизнь, распорядилась с Дунином непредвиденно содержательней и щедрей: из спокойной дачи создается постепенно памятное место — мемориальный музей. Как — об этом расскажем далее.

Нужно все время помнить, это шли первые послевоенные годы. Вот почему мы скромно, временами скудно жили с Михаилом Михайловичем в Дунине. Достаточно сказать, что забор был нашей неосуществимой мечтой. Тем не менее относительная ограниченность в средствах ни в какой мере не отражалась на нашем трудном и деятельном счастье.

Содержание дунинского дома всегда причиняло нам много хлопот, так как дом старый, запущенный, невыгодно расположенный на крутом северо-восточном склоне, с которого постоянно стекают воды, подмывая фундамент и заливая подвал.

Ежегодно обнаруживались дефекты ремонта, временно исправляемые не слишком старательными случайными людьми. Нижнее помещение подвала было отремонтировано под жилье с полом, печью и освещением, но через год уже признано непригодным для жилья из-за сырости и превращено в хозяйственное помещение, хотя, по преданию, люди до нас в нем жили,

По-видимому, изменился микроклимат вокруг нашего участка.

Сделанный солдатами во время войны пируб в верхней части дома, служивший им кухней, мы превратили в холодную пристройку. Одно время Михаил Михайлович проектировал в нем гараж. На некоторых ранних фотографиях видны на передней стенке прируба ворота, очень скоро ликвидированные, гараж был перенесен в так называемый маленький домик.

Следует упомянуть, что в прирубе одно время были устроены стойла для коз Катьки и Зорьки. Мы не выдержали хозяйства с ними; правда, козы облегчали вопрос питания, но причиняли много хлопот.

Я позволила себе записать эту ничтожную подробность нашей хозяйственной жизни лишь потому, что мне кажется очень выразительной дневниковая запись Пришвина во время его сомнений и внутренней борьбы по поводу романа «Осударева дорога»:

«Покупка двух коз «определила мое сознание»; огород, ягодный сад и две козы с травосеянием на половине участка могут вполне дать минимум средств к существованию и создать минимальные условия независимости от литературных гонораров».

Маленький домик — это сторожка, досталась она нам как приложение к основному дому вместе с доживавшей здесь свой век женой бывшего сторожа дачи Критских Филиппа Красивого. Старушку звали Домашей. Это была достойная женщина, боровшаяся в полном одиночестве за свою жизнь и самостоятельность. Существовала она главным образом сбором лекарственных трав, которыми богаты наши звенигородские луга, а также ворожбою. Эти два направления деятельности как-то связывались в ее лечебной практике. Домик едва держался от ветхости.

Осенью 1946 года Михаил Михайлович записывает во время усиленной работы над «Осударевой дорогой»

и в связи с трудностями по ходу этой работы, иногда повергающей его в уныние: «Героическая борьба старухи Домаши (80 лет) за жизнь, — то поднимется, то ляжет; когда поднимается, носит из лесу шишки мешками и собирает кусочки. Когда ложится, то гадает, и ей за это несут. Вот укоряющий образ!.. Попробую развить и свой героизм в своей работе».

Осенью 1947 года Домаша заболела (видимо, и жила-то уже она через силу). Она попросила отвезти ее к дочери, где вскоре умерла.

Мы по-хозяйски готовились к первой нашей зиме в дунинском доме: «19 сентября: Золотое теплое ароматное утро. На огороде успокоительно торчат остатки капусты — кончились наши хлопоты! И готово овощехранилище, и все доделал на зиму спокойный и дельный человек Иван Федорович».

Иван Федорович Попов — это плотник, стороживший нашу дачу в Пушкине, срок на аренду которой еще тогда не истек; там жила моя больная мать. С весны 1948 года мы принялись с его помощью за ремонт осиротевшего Домашиного домика.

Иван Федорович очень нравился Пришвину и характером, и рабочими повадками. Михаил Михайлович к нему приглядывался, любил поговорить, несмотря на то, что разговаривать с ним было нелегко: он только улыбался в ответ собеседнику.

Эти наблюдения не прошли бесследно для Пришвина-художника, и понятно, откуда в «Корабельной чаще» через несколько лет появилась фигура плотника Силыча. Это был точнейший портрет нашего Ивана Федоровича. Читаем в главе 14:

«...И сколько таких хороших людей есть на свете, и никто из них сам ничего хорошего не знает о себе, и так все привыкнут к нему, что никто и не догадывается, как он хорош...

Вот тоже и у нас в Вологде на самом берегу реки жил такой плотник Федор Силыч. Как все плотники, он работал молча, но, если станешь ему рассказывать о чем-нибудь, он слушает охотно, не говорит даже ни «да», ни «нет», а только улыбается и, насколько ему можно оторваться от топора или рубанка, поглядывает понимающим глазом.

Самому себе всегда кажется, будто разговор с ним идет ему впрок, и оттого так скоро между ним и тобой вырастает целая большая пахучая гора стружек. А когда отойдешь от него, то всегда думаешь: а не пойти ли самому в плотники, не заделаться ли самому столяром?»

Да, это был портрет Ивана Федоровича!

В ремонте дома вскоре принял участие наш новый знакомый — морской капитан П. С. *. Он был и охотник. Мы познакомились с ним прошедшей зимой при распределении щенков от нашего спаниеля Норы. И вот как-то само получилось, что Михаил Михайлович пригласил их с женой и девочкой провести отпуск у нас в Дунине. Он сам был поражен собственным поступком; дело в том, что, конечно, всю затею с дачей он вел для своего рабочего одиночества. Таков был план... «Я бы в обморок упал, — пишет он, — если бы мне весной сказали, что в моем доме бок о бок будет жить другая семья. Таков был план, а жизнь показала обратное — семья эта живет, и мне от нее только лучше.

В этом-то и есть мудрость в устройстве жизни, что план планом, а в то же время во всякий момент надо быть тоже готовым план этот бросить... Я как живу, так и пишу: свободно и свободно (Грибоедов)».

Скоро и муж и жена стали близкими друзьями нашей семьи: «Приехал Иван Федорович, начал починку... Ему помогает П. С. Стучат топоры и выстукивают

---

* Павел Семенович Оршанко.

дружбу. Так песня рождается в трудовом ритме, так в этом же ритме рождается и процветает дружба».

Смелое решение Михаила Михайловича изменить свой «план» я объясняла тогда себе нехваткой у него творческой среды и потребностью в мужской дружбе. С другой стороны, П. С. привлекал его как личность своими богатыми, еще как бы лежащими под спудом возможностями и манил его как возможный прототип.

В те годы П. С. был предан Пришвину как самый заботливый сын. Пришвин являлся для него источником нового, обогащенного восприятия жизни, и мы наблюдали, как П. С. переживал более чем простую заинтересованность — прямо-таки восхищенность и самим Михайлом Михайловичем, и тем новым строем мыслей и чувств, который ему через Михаила Михайловича открывался. П. С. же нравился Пришвину деятельной убежденностью коммуниста — творца общественной правды, казался ему образцом человека нашей современности. Бесстрашие, находчивость в правде — вот какие качества восхищали Пришвина в его новом друге. Кроме того, он был человеком практического труда, у которого, по словам Пришвина, «в руках и самый топор мыслит».

Конечно, у художника не могла тут же не начаться подсознательная переработка личности П. С. в материал для нового произведения. В дневнике появляются отдельные этюды о П. С. — они пригодятся Пришвину для обрисовки Василия Веселкина в повести «Корабельная чаща»: «Отец П. С. столяр — любил делать совершенные вещи, это у него первое и это порождало второе: жил хорошо. Так выходило само собой, что он жил для людей.

Сын его не был мастером, но усвоил себе радость делать хорошо для людей. На этом основании он получил военное воспитание: служить Советскому Союзу. Так он стал коммунистом».

Пришвин в эти дни с увлечением изучает военный дисциплинарный устав. Записи: «Военный устав, организующий дисциплину, обходит молчанием и в то же время признает необходимость личного поступка, нарушающего в иных крайних случаях дисциплину.

Очень возможно, что наша победа над немцами объясняется правильным расположением в душе русского человека того и другого начала. И наоборот, у немцев не вышло дело из-за поглощенности дисциплиной самой личности человека».

«В силу военной дисциплины солдат должен безусловно повиноваться начальнику. И в то же время, если солдат уверен, что приказ поведет к беде, что, может быть, начальник даже изменник, то солдат не должен слушаться... Закон дисциплины военной: только рискуя жизнью, ты можешь не послушаться...»

«П. С. когда с негодяем вступает в борьбу, то это все равно, что с самим собой начинает борьбу. Его задача — скрутить негодяя и заставить его делать то самое, чему он служит. Он везде милостив к своему врагу после победы, потому что враг как бы уже соединился с ним самим.

Правдотворчество дает бесстрашие самому себе, а со стороны становится страшно за правдолюбца: кажется, вот-вот он погибнет. Правдолюбец плывет в обществе как корабль, рассекая лоно вод на две волны: на одной стороне друзья героя, на другой стороне — враги его... Вера в правду, ощущение ее и правдотворчество мгновенно показывают фальшь слов обыкновенных людей и мгновенно рождают неожиданный ответ, острый, пронзительный, как укол шпаги».

Пришвин находит точный образ своего будущего героя: «Мой герой — это *Иван-дурак, как русское разрешение темы Дон-Кихота,* он вступился за мельницу:

«Кто же ему теперь даст право ломать мельницы? Хорошо еще, что ветер был, а будь тихо — чего бы он не наломал!»

«Дон-Кихот всегда в правде: он в правде и оттого не боится, не стесняется, не жмется ни в каком обществе, рыцари это или пастухи. Так вот и мой герой.

Куда же деть моего героя? С кем он борется? — С губернаторами (Санчо). — Во имя чего? — Принципов Дон-Кихота.

Это спустившийся сверху Дон-Кихот».

«Новое в моем герое, может быть, одно: он наткнулся на Губернатора, стал глядеть в сторону Дурака и ему удивляться: «Михаил Михайлович, если бы я снова начал жить, я бы пошел вашими путями».

— Нашими глазами посмотрите, — приказывает ему Губернатор.

— Нет, я своими глазами погляжу, — отвечает очнувшийся Дон-Кихот» *.

Новый друг Пришвина должен был вдохнуть жизнь в статически-рассудочный образ Сутулова — начальника в романе «Осударева дорога». Так хотелось Пришвину, но это намерение было, по-видимому, для него уже неосуществимо, так как роман к тому времени лежал написанным и образы людей в нем накрепко сложились в своих лицах и характерах.

Почувствовав это (вряд ли в полной мере осознав), Пришвин перекидывается мыслью на новую, только что задуманную повесть «Слово Правды» (в будущем названную — «Корабельная чаща»). Он намеревается там предоставить место действия своему другу. Основной герой повести — лесник Василий Веселкин: «Василий Веселкин выйдет из П. С.».

* Запись рассказа П. С. о его служебной борьбе с бюрократом-«губернатором».

Веселкину должна быть поручена в повести тема мужества, тема внутреннего начальника, иными словами, разрешение борьбы между свободой и необходимостью, или еще и так сказать — найденный человеком удобный «хомут»: «Почему бы в образе моего героя не дать, пусть утопический, идеал разрешения свободы и необходимости?»

Эти и многие другие яркие записи остаются неиспользованными в повести. По сравнению с ними Веселкин там кажется схематичней и бледней. Почему так случилось? Случилось так по причинам, которые сложней и глубже личных человеческих отношений: «Корабельная чаща», по существу, у Пришвина переход на новую ступень сознания. (Впрочем, эти слова можно сказать о каждой новой вещи художника.)

Так бывает в горах при подъеме на новую высоту: с нее все вещи расставляются в иных соотношениях. Но об этих соотношениях сказать четче нельзя, разве только если выйти за пределы художественного образа и оголить свою мысль, а этого художник сделать не может.

Сейчас же наш рассказ идет о простых отношениях людей — об их дружбе, и в этих пределах нам можно предположить и так: в какой-то мере это случилось из-за исключительной впечатлительности Пришвина в отношениях с людьми, ранимости, которую я в нем многократно и сочувственно наблюдала.

Заметим: приведенные выше записи относятся в основном к 1949 году, когда Пришвин принялся за повесть. И как раз в конце того же года П. С. был переведен на Дальний Восток. П С. был человеком бесконечно живым, человеком непосредственных впечатлений: с кем сейчас работает, с кем охотится, с кем спорит, с тем он и друг. И за него в огонь и в воду. Он легко впитывал новые влияния, легко становился в чем-то новым человеком. На Дальнем Востоке у него на-

чалась новая жизнь, появились новые люди, выплыли новые задачи.

Когда П. С. приехал повидаться с нами, Михаил Михайлович сделал короткую и грустную отметку в дневнике о переменах, произошедших якобы в отношениях с другом: «...Что с возу упало, то пропало... Что-то упало». «Упало» оно и для нас, читателей: «Корабельная чаща» осталась без своего подлинного героя.

Но так может показаться в отношении повести лишь на первый взгляд, и сейчас мы объясним почему. Что же касается самого «прототипа», то с нашей стороны было бы наивно винить его, а не самого автора в некоторой недоговоренности последней пришвинской повести. К тому же вряд ли это является ее недостатком, так как недоговоренность закономерна для художника, при этом не как сознательный прием, а как отражение самого способа его мышления, идущего часто впереди, а иногда и наперекор жесткой логике факта. Это с особой силой и сказалось в двух последних крупных произведениях Пришвина: «Осударевой дороге» и «Корабельной чаще».

Так, говоря о житейских отношениях с друзьями, окружавшими художника, мы невольно подошли сейчас к проблеме: прототип — герой.

Мир Пришвина — это в первую очередь мир нравственных идей, иными словами, поисков смысла жизни. Человек, герой, прототип — как их ни назовешь, лишь толчок для мысли; мысль развивается далее на ряде образов, связанных между собой и равно значительных для Пришвина. Идя трафаретным путем толкования — обособляя каждый из них, то есть ставя в основу произведения *отдельного* героя, мы никогда не доберемся до понимания Пришвина-художника; нет у него этой прямой и обязательной связи: прототип — образ — роман — жизнь.

В «Корабельной чаще» из действия всех героев рож-

дается каждый раз как бы новая жизнь, всеми равно творимая; это единый поток «всечеловека», основного, единственного и подлинного героя Пришвина. В этом смысле все у Пришвина равны, то есть равно значительны. Главное же у него, как сверхзадача, — это поиски смысла в созидательном движении жизни. «Масштабность» каждого отдельного малого и великого участника не снижает этого смысла: сила — не в отдельных конкретных образах, а в самой жизни — ее единстве, ее потоке, в котором плывет и бьется каждый участник (или «герой»).

...Образ единой великой жизни как мыслящей стихии, и в нем сама «правда истинная». Так совершается у Пришвина внутреннее рождение каждого существа, при этом, что существенно, рождение от самих поисков. В них участвует равно и сплавщик Мануйло, идущий за Правдой, и дети, ищущие отца, и водяная крыса с огоньком человеческой мысли в глазах, ищущая спасения от разлива, и елка, тянущаяся к свету, и дрозд, славящий зарю на ее вершине, и, наконец, сам солдат Василий Веселкин в поисках на Пинеге леса для военных нужд.

И как завершение — два образа: большой воды на осударевой дороге и заповедной чащи в северных лесах.

Впрочем, судьба, ставившая препятствия в развитии возникших было творческих отношений с П. С., готовила Пришвину новый дар: в том же 1949 году он познакомился с академиком Петром Леонидовичем Капицей. Знакомство это быстро перешло в дружбу.

Чтобы рассказать, как мы познакомились с П. Л. Капицей и его семьей, необходимо перед этим вспомнить Валентину Михайловну Мещерину, искусствоведа и первую жену И. Э. Грабаря. Она была ангелом-покровителем всех нуждавшихся в этом покровительстве талантливых художников с трудной судьбой. Человек она была редкой отзывчивости и бескорыстия. Память о

ней хранят еще многие люди, и мы рады возможности войти сейчас в этот круг памяти и благодарности.

«Всеобщий дух добра» — так пишет о ней в дневнике М. М. Пришвин.

Она почти не жила оседло. Я была до крайности удивлена, когда обнаружила, что у нее есть собственный дом, вернее — жилплощадь: бедная комнатка в коммунальной квартире. В то же время Валентина Михайловна умела ценить и даже любить чужие устойчивые семейные дома, между которыми и кочевала всегда желанным гостем.

Помню один ее приезд, вернее, приход, к нам в Дунино. Общественного транспорта у нас тогда поблизости не было, и Валентине Михайловне служили ее собственные ноги, носившие ее между Николиной Горой, Мозжинкой» * и Дунином, лежавшим на полпути. Везде жили ее друзья. Ноги у нее были больные, и сама она уже очень немолода.

Вошла она на нашу веранду в своем неизменном линялом платье, кедах, с простой палкой в руках, круглолицая, солнечная, с ярко-рыжими легкими волосами, осыпанная веснушками по бело-розовой коже. Оглянула она с веранды сад, луг, стоявший в копнах свежевысушенного сена, с улыбкой вгляделась в наши лица и сказала: «У вас все идет чередом». Нам стало необыкновенно приятно за себя и уверенно от слов этого совершенно свободного человека. Пришвин записал эти слова в дневник. А через год еще так: «Мещерина... одна из тех немногих, какие могут среди мужчин брать верх не женским лукавством, а мужским вниманием и рассудительностью. Живет она вся на ходу и всегда бывает на слуху, как бы переживая сама со всеми историю».

---

* Мозжинка — поселок академиков на противоположном берегу реки.

Мещерина любила знакомить и делать друзьями дорогих ей людей. И легко достигала цели. Впервые мы познакомились с нею, когда она в 1948 году привезла к нам в Дунино Сергея Тимофеевича Коненкова: «...1948 г. 6 августа. Вчера приезжал Коненков, который, оказывается, в 1905 году жил здесь... Встретились как родные».

«Из всех людей, когда отсеялись во мне декаденты,.. народники, богоискатели, — остались близки Шаляпин, Горький и Коненков. Они были не близки мне в жизни, ...но они были мне близки по чувству родины и разрешению этого чувства в природе, в детстве, и вытекающему отсюда таланту.

Парижская любовная история в этом отношении сыграла во мне большую роль: утрата невесты мне равнозначила утрате родины, как это пришло долго спустя Коненкову и Шаляпину... Я раньше их потерял родину, и у меня было больше времени сознательно искать ее и восстанавливать... *

Все бы дворцы свои отдал Шаляпин, чтобы перед концом своим погонять в Казани голубей, а Горький — повидать бабушку, а Коненков — какую-то елочку в Ельне. Детство, природа, родина у них как «невозвратное время»... А я — вернул себе все.

Пусть нет у меня славы Горького, мировой аудитории Шаляпина, нет статуй в Третьяковке, как у Коненкова, но в чем-то таком... Какие могучие таланты, какой я в сравнении с ними! Но я, думая о них, совсем не чувствую себя умаленным, а ими у д и в л е н н ы м.

Итак, мои современники и братья — Шаляпин, Горький, Коненков. Это объединение требует большой мысли».

---

* См. автобиографический роман Пришвина «Кащеева цепь», где рассказано о его юношеской любви, отразившейся на всем его творчестве.

В том же 1948 году Мещерина привезла к нам в Дунино слепую скульпторшу Лину По, тяжкую судьбу которой она пыталась выправить и смягчить.

Лина Михайловна По была в молодости балериной. Однажды она упала на улице, разбилась и внезапно полностью потеряла зрение. В больнице, лежа в гипсе, она начала лепить из хлебного мякиша лица и фигуры. Все удивлялись сходству, выразительности... Выйдя из больницы, она стала двигаться нормально, но зрение не вернулось.

Муж бросил ее слепую. Свекровь выгнала сына и стала жить с Линой. Лина продолжала лепить. Ее портреты Чехова, старого еврея, танцовщиц изумляют. Трудно поверить, что она лепила, корректируя себя только внутренним зрением и осязанием рук. Помогал Лине в те трудные переходные годы художник Нестеров. Так она стала скульптором. Некоторые ее работы приобретены Третьяковской галереей.

Пришвин пишет: «Соловьи замолчали, но зяблик поет, разливается. Слепая скульпторша По сидела в моем венском кресле и спрашивала меня о зяблике, какой он и какой вид у меня перед глазами. Она просила разрешения потрогать мое лицо... Рассказывала свою удивительную историю.

Она слышать не хотела, когда люди называли ее слепой. Она видела то, что ей надо было видеть, в себе и тем жила и дышала, что делала свои видения понятными для всех. Случалось, она показывала на то место, где была ее вещь, но вещи не было: она ее только видела, но забывала о том, что ее еще не делала». Так записывает Пришвин и заключает: «Небольшая иллюстрация к тому, что человек — это все».

Есть в дневнике и вариант этой записи: «Небольшая иллюстрация к тому, что человек — это вселенная, и новый мир начнется, когда люди устремятся не в пустоту, а в эту вселенную».

«Рассказ (о Лине По) возбуждает чувство благодарности за жизнь (моя жизненная тема). Шевельнулась в душе героиня моей будущей повести о Третьяковской галерее».

Если бы не новое несчастье, Лина, конечно, сделала бы портрет Пришвина. Кто знает, может быть, он отразил бы его душу ярче, чем портреты зрячих художников. Но так не случилось: Лина вскоре умерла во время операции аппендицита.

После ее кончины Пришвин сделал у себя в дневнике следующую запись: «1951 г., 21 сент. Мы говорили о Лине По, что она была борцом за достойную жизнь человека здесь, на земле. Она сделала для этого все, и что может быть больше того, чтобы слепая давала свет людям!» (Выделено мной. — *В. П.*)

М. В. Нестеров пишет*: «Дарование Лины По — особое дарование «внутреннего видения»... Рядом с ним идет страстное искание внешних форм, законов искусства; она понимает их значение, красоту. Она изучает их на себе, на случайных посетителях, на классических формах античной скульптуры, изучает путем осязания своими нежными, чувствительными пальцами. Осязание как внутреннее видение — ее новое зрение. Работает Л. М., несмотря на все трудности, страстно, порывами... Работы ее делаются все совершеннее.

Я недоумеваю — как и те выдающиеся скульпторы наши, с которыми мне приходилось говорить об искусстве Лины По, — перед тем необъяснимым фактом, как путем лишь одного осязания может слепой передавать не формы, даже не сходство, где на помощь можно призвать опыт, знание, наконец, прекрасную память и самое тонкое, неожиданное выражение, как говорили в старину — «экспрессию». Вот перед этой-то экспрессией

---

* С. Дурылин. Нестеров. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 436.

невольно поражаешься, становишься в тупик. Спрашиваешь, где предел человеческой способности?»

Нас же, в свою очередь, поражает совпадение в высказываниях двух художников: «Человек — это вселенная», — говорит Пришвин. «Где предел человеческой способности?» — спрашивает Нестеров.

Однажды нам понадобилась помощь врача, и Валентина Михайловна привезла с Мозжинки друга своего, Виктора Васильевича Ляпунова. Он был не только врачом, но еще и страстным охотником. На Мозжинке он жил и работал круглый год, вероятно, из-за своих охотничьих собак: в городе их содержать было невозможно. Вот была у охотников встреча!

Мы сошлись семьями, Виктор Васильевич до конца жизни Михаила Михайловича бывал у нас в доме как близкий друг, и как врач, и, уж конечно, как товарищ Пришвина по охоте.

Михаилу Михайловичу нравился самый стиль врачебной работы Ляпунова, его умение прислушиваться к индивидуальности больного: считаться с характером, а не только с болезнью тела.

Дневник: «1952 г. 31 мая. Так разливался соловей, что на ночь и в комнате слышно. Ляпунов сказал: — Наверно, и перепела прилетели. — Я ему: — А вы слышали?

— Нет, не слышал, а должны бы прилететь.

Мы, наверно, не последние культурные охотники, они есть, они родятся, и учатся, и будут, но сейчас связи между нами нет, и от этого кажется, будто мы последние».

Летом на Жиздре жил знакомый писатель и рассказывал Михаилу Михайловичу, что на озерах везде, как на войне, бомбежка: глушат рыбу.

«Этому уничтожению, — писал Пришвин, — нет пределов, потому что энтузиасты охоты и рыбной ловли

обессилены, «любитель» исчез, и я о себе иногда слышу: «Вот последний любитель идет!»

Наконец Мещерина подбила на знакомство с нами своих близких друзей Капиц. Мы получили от Анны Алексеевны Капицы приглашение навестить их на даче — на Николиной Горе, что в 10 километрах от нас.

Впоследствии мы поняли, что Петр Леонидович был духовно одинок в те годы, нуждался в обществе равных и честных собеседников — этим и объяснялось приглашение его жены.

...Снова Николина Гора. Та самая «дача делового человека», по слову Пришвина, где мы были и не решились поселиться в первую памятную поездку осенью 1940 года.

8 июля 1949 года мы собрались с визитом к Капицам. Пришвин потом часто делал в дневнике короткие записи о встречах и беседах с Капицей. Через 18 лет после кончины Михаила Михайловича я ознакомила Петра Леонидовича с ними и попросила написать ответно свои воспоминания о Пришвине. Капица выполнил мою просьбу. Он пишет так:

«Валерия Дмитриевна мне передала выдержки из дневника ее супруга Михаила Михайловича Пришвина, в которых он пишет о наших беседах с ним. Эти выписки интересны, они замечательны своей искренностью, и в них хорошо отражается прекрасный образ Михаила Михайловича.

В связи с этими выписками из дневника Валерия Дмитриевна просила меня написать о Михаиле Михайловиче к 100-летию со дня его рождения. Сделать это хорошо и образно трудно. Михаил Михайлович наш крупный писатель, но, кроме того, он еще чрезвычайно своеобразный и интересный мыслитель.

Чтоб писать о Пришвине, нужно быть самому Пришвиным.

Мы познакомились с Михаилом Михайловичем

8 июля 1949 года, когда он приехал на Николину Гору, где я жил тогда на даче.

В 1946 году из-за несогласия со Сталиным я был полностью отстранен от моей научной работы, и мне пришлось покинуть Институт физических проблем, где я не только руководил научной работой, но и сам работал в области физики низких температур.

На даче я постепенно организовал для себя маленькую лабораторию в обычной комнате, в сторожке...

Возможно, что положение ученого, академика в таком необычном состоянии сначала и заинтересовало Пришвина. Если даже наше знакомство началось у Михаила Михайловича с любопытства, то оно продолжалось уже как дружба. Оказалось, что нам было интересно беседовать и обсуждать окружающую нас жизнь, природу, людей, социальные процессы и основное, что интересовало Михаила Михайловича, — философско-этические проблемы человеческого общества. Главное, что было нам обоим интересно, — это то, что почти ко всем вопросам мы с Михаилом Михайловичем подходили с разных точек зрения.

Он так пишет в дневнике об одной из наших дискуссий: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем ученому освободиться от своей специальности.

— Да, я материалист, — сказал он (т. е. Капица. — *В. П.*). — А кто же вы — идеалист?

— Нет.

— А кто же?

Подумав немного, я ответил: — Я спиритуалист. — И улыбнулся».

В 50-х годах я получил возможность вернуться к нормальной научной работе, прерванной на семь лет. Мы продолжали часто встречаться с Михаилом Михайловичем до его смерти в 1954 году. Накануне его кончины мы были у него на квартире в Москве. Я знал, что Михаил Михайлович неизлечимо болен, но в тот вечер

Михаил Михайлович был, как обычно, разговорчив, говорил о музыке, которую очень любил, он приобрел патефон с только что поступившими в продажу долгоиграющими пластинками, и мы слушали классическую музыку. Смотрели только что выпущенные в Англии книги с переводами на английский рассказов и повестей Михаила Михайловича. Был ужин, распили бутылку сухого вина. Необычайным было в тот вечер только одно — когда Михаил Михайлович провожал, то в прихожей, где перед расставанием, как всегда бывает, возникают самые интересные разговоры, Михаил Михайлович сел на стул.

На следующий день Валерия Дмитриевна нам по телефону сообщила, что ночью Михаил Михайлович скончался.

...Наши встречи и беседы с Михаилом Михайловичем, приведенные в его дневнике, отражают образ Пришвина как писателя и как мыслителя и философа. Известно, чтобы быть большим писателем, надо быть наблюдательным человеком, уметь выбирать наиболее характерное и существенное, найти интересную фабулу и хорошим языком ее ярко изобразить. Даже если в произведении люди живые и фабула интересная, все это еще не делает писателя достаточно большим, чтобы его произведения могли его пережить. Для того чтобы остаться большим писателем на долгие времена, нужно быть еще и философом с самостоятельным творческим мышлением. То же, конечно, требуется и от творцов в других областях искусства. Время показывает, что этого достигает очень небольшое число писателей и художников. Всякое творчество... как в науке, так и в искусстве рождается у человека из чувства неудовлетворенности... Ученый недоволен существующей теорией и уровнем знания в его области науки; у писателя это обычно недовольство существующими условиями жизни людей, этикой во взаимоотношениях между ними... У художни-

ков это еще усугубляется неудовлетворенностью общепризнанными и существующими способами отображения окружающего его мира.

Так как большое творчество связано с философией преобразования мира и оно неизбежно зиждется на недовольстве существующим, то оно ведет к тому, что произведения писателей-мыслителей, таких, как, например, Толстой, Достоевский, Горький, рассматривались установившимся социальным укладом как факторы, мешающие спокойному течению жизни, и обычно вызывали активное неодобрение со стороны общественных и государственных аппаратов.

Это... противоречие... является диалектикой прогресса человеческой культуры. В той или иной форме эти противоречия... часто ставят ученых, писателей, художников, философов и вообще творческих деятелей во всех областях, связанных с умственным и духовным ростом человечества, в положение борцов. А борьба обычно связана с лишениями, огорчениями и другими испытаниями. Но если бы эти противоречия между творчеством и действительной жизнью отсутствовали, то остановился бы рост человеческой культуры...

Все, о чем писал Михаил Михайлович, всегда заключало в себе вопрос об этическом взаимоотношении человека как с окружающей его природой, так и с окружающим человека обществом. Здесь он основным мерилом счастья считал «радость личной свободы», обретенной, по Пришвину, в преодолении своего эгоистического «хочется».

После разговора о современном представлении о природе человека вот что пишет Михаил Михайлович в своем дневнике:

«...Говорили о братьях Хаксли, что оба они живут в области сенсации, и теперь брат Олдос выпустил роман сенсационный о сущности обезьяны в том смысле, что обезьяна в человеке остается неизменной, а на фоне

обезьяньем выделяются отдельные люди, выросшие из хромосомы милосердия.

— А я об этом думал, — сказал я, — еще во времена декадентов. И когда падала империя Российская, как теперь падает Англия, то явился у нас писатель Андрей Белый, — куда там Хаксли! Он подавлял нас своим индивидуализмом бесконечного углубления.

— Как же вы из этого вышли? — спросил физик.

— Вместе с вами, физиками, — ответил я. — У вас раньше думали, что атом есть простая конечно малая величина материи, а теперь вот нашли, что атом есть маленькая вселенная.

Так и мы теперь, инженеры душ, поняли, что атом человеческого общества является такой же маленькой вселенной, и на каждое духовное ядро приходится какое-то большое число обезьяньих сущностей, с которыми духовное ядро связано долгом.

Атомная энергия в человеческой душе называется свободой, и революция вполне отвечает освобождению внутриатомной энергии.

Но, по-видимому, соотношение свободного ядерного духа и подчиненного ему «обезьяньего», называемого у нас порядком, есть высшая идея атомного бытия и предшествует всякому творчеству, и, развиваясь в сознании, образует, с одной стороны, наше сердечное существо гармонии, и с другой стороны — идею пространства и времени.

Вот почему каждому художественно одаренному человеку в обществе надлежит не взрываться индивидуально, как Белый, и не обнажаться в сенсации, как Хаксли, а организовать свою ячейку с обезьянами в чувстве гармонии, в идее пространства и времени, как это сделал с собою Шекспир и как я, совершенно простой русский человек и страстный любитель свободы и гармонии русского слова, пытаюсь провести своих личных обезьян и это дело называю поведением человека.

В этом смысле я утверждаю, что подсознательное поведение в том глубоком смысле у каждого настоящего художника и настоящего творца предшествует его творчеству...

Вспомнил, что физик поставил лично мне вопрос о том, совместима ли наша свобода — это высшее благо — с социализмом.

— Совместима, — ответил я и развил этот цикл мысли и чувства, нажитые в революции, с заключением: — Вот картина нашего внутреннего свободного строительства, а социализм — это внешний двор».

...Михаил Михайлович глубоко переживал, что некоторые его произведения не печатали, и не мог понять причин, так как он считал, что его творчество содействует развитию достижений революции и его этические взгляды необходимы для нашего здорового социального роста.

Конечно, приспособиться к лакировочной литературе он не мог. Вот отрывок из его дневника, это короткий рассказ о самом себе. Я до сих пор помню, как он его рассказывал, когда мы были у него в Дунине:

«Вечером приезжали Капицы с Ливановым. Я удачно рассказал о поганом грибе.

...Вижу, гриб стоит поганый и чудесный, очень похожий на самый причудливый минарет, и такой самостоятельный, такой независимый.

— Кто ты такой? — спросил я в удивлении.

По-своему гриб мне что-то ответил, и я понимал его так, что он гриб единственный в лесу, незаменимый.

— Так почему же ты поганый?

— Только потому поганый, — ответил мне гриб, — что меня есть нельзя.

Тут-то вот я и вспомнил себя самого и ответил поганому грибу:

— А я сам такой, тоже поганый за то, что меня тоже съесть нельзя».

Обаятельный образ Пришвина-мыслителя прекрасно вырисовывается в его дневниках. И я надеюсь, что они когда-нибудь будут напечатаны целиком.

6 июня 1972 г. Николина Гора. П. Капица».

Приведем выборки из дневника М. М. Пришвина, о которых упоминает П. Л. Капица, но исключив из них все то, что использовано Петром Леонидовичем в его только что прочтенных нами воспоминаниях.

«1949 г. *8 июля.* Прошлый год Лина По посетила меня, и после того Анна Алексеевна Капица прислала мне письмо с приглашением.

Сегодня мы решили поехать к ним на Николину Гору, и я познакомился с Петром Леонидовичем Капицей... Она — брюнетка средних лет, он — 55 лет блондин со светящимися голубыми глазами.

Нравственное заключение или вытяжка из этого визита: друг мой! ты дерзнул прикоснуться к таким вещам, которые можно обратить одинаково в добро человеку и во зло...

...Но что нам физика? Нам важно знать, куда она направлена. Важно знать, что Советский Союз направляет эти силу к добру.

10 июля. Мне мелькнуло в Капице... тайная вера в то, что своим талантом, своим удальством можно победить...

12 июля. Мысль о праве на помощь в труде (мелькнуло это у Капицы, который сам себе лаборант). А когда я обрадовался этому «сам себе», он возразил мне тем, что сколько у него на это пропадает драгоценного времени. И мы перешли на Толстого, который, очевидно, избегая необходимого саморазделения в труде, пахал.

21 июля. Рассказ о Коненкове. На каком-то государственного характера совещании Коненков послал Капице записку о желании иметь с ним секретный разговор.

И когда они сошлись, тот тут же на виду у всех прошептал Капице, что он достоверно узнал: у американцев атомной бомбы никакой нет.

Посмеялись, и Капица сказал, что на самом деле сказка о бомбе очень преувеличивает ее значение — раз, а второе, что и в этом, как и всюду, само собой вырастают средства против нее.

15 августа. Бывший швейцар профессора Веселовского в доме его на Арбате, а теперь старый хозяин своего домика в деревне Терибрево Василий Алексеевич однажды мне сказал: «...человек не курица. Той отруби голову — она воскреснет и будет другая курица. Человеку же отрубишь голову — он не воскреснет».

И вот прошло с тех пор больше десяти лет, а я все помню слова старика: человек незаменим.

Недавно познакомился с Капицей, был у него, и он у меня. И оба раза, и у себя и у меня, он, между прочим, высказался в том смысле, что человек незаменим... Так большой незаменимый физик сказал совершенно то же самое, что бывший швейцар профессора Веселовского и о чем мучусь я сам все время *.

...Сервантес был гениальным писателем, но не это важно: столетие позже, но все равно кто-нибудь из людей, один или сто вместе, дали бы нам образ Дон-Кихота. Нас поражает не Сервантес, а что нашлась для Сервантеса среда, в которой его Дон-Кихот ожил и едет на своем Росинанте в веках из поколения в поколение.

Нас поражает, что Сервантес оказывается не случайным конечным существом, а бессмертным духом всего объединенного человечества... Так разделилось человечество на всей земле в своей «холодной войне»: одни стоят за Сервантеса, за независимость личности человека, другие за среду, порождающую личность.

---

* См. рассказ Пришвина «Василий Алексеевич», газета «Литературная Россия», 1965.

...Но что бы сказал нам, будь он сейчас жив, сам Сервантес?..

17 августа. Опять все думаю о начале греха в обобщении: между подобными явлениями человек провел прямую линию и отбросил все, что направо от законной линии и что налево. Из этой линии закона вышла математика, наука, лежащая со всеми вытекающими из нее науками — физикой, химией — по ту сторону добра и зла.

...Итак, Сервантес, гений, есть начало мужское, а среда — начало женское, материнское. У нас в СССР — материнское начало. На той стороне, где Сервантес, — мужское. Что-то родится?

...Капица показал свои книги, полочки, ружья — все у него в таком порядке разумном, ничего не имеющем общего с мещанским порядком безделия, что вдруг я подумал: «Откуда такой порядок, не от солнца ли?»

1950 г. *1 августа.* Капица сказал, что в поэтическом произведении не допускается ни малейшей доли лжи. Он прав, но надо выяснить, что же есть в поэзии правда и что есть ложь. И в связи с этим что есть поведение автора, о котором так давно я думаю и не прихожу ни к чему.

26 августа. Ученый вроде Капицы и писатель вроде Пришвина мнят о себе, что если таких честных людей, таких *советских* людей заставить отказаться от себя и делать, как приказывают глупые люди, то это будет вредом обществу, и против этого надо стоять...

20 сентября. Капица говорил, что сделал большое открытие, ездил к Вавилову. Не знаю и не интересуюсь «открытиями», они теперь везде и находятся в полном отрыве от мира нравственного. Но я завидую семье Капицы, например, что огромную лодку они делали всей семьей и сделали, как не сделать никаким настоящим мастерам. Этому чему-то я завидую, глядя на это, чувствую, что жизнь меня обошла, как и Л., и мы тем и заце-

пились друг за друга, что каждого из нас в этом жизнь обошла.

А впрочем, этот божественный (и семейный) лад, о чем я мечтал, связан с каким-то «дворянским гнездом», и Капица тут ни при чем. Я с этой тоской по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги.

...А с Капицами чувствую себя неловко, потому что... уважают меня авансом... Боишься не оправдать этих авансов, и это стеснительно.

1951 г. *19 июня.* По пути в Дунино с большим визитом заехали на Николину Гору к Капицам. Петр Леонидович человек большой, не позволяющий себе пребывать ущемленным человеком или обиженным. В этом его борьба похожа на мою, но языки у нас разные...

1952 г. *5 и 8 мая.* Все хорошее на свете... почему-то «наивно», и даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то просто додуматься. И наука истинная в противовес нашей действующей науке использования атомной энергии, та прекрасная наука, о которой возвещает Жолио в письме Остину *, тоже очень наивна. Серьезна и ненаивна в человеке только мощь: могу! — вот и все.

3 июля. Приехали Капицы и были до вечера. Говорили о том, что в детстве была у нас книга «Мученики науки» и что вышло из этого. Мы-то остались мучениками, а вокруг началась «зажиточная жизнь».

— Мученики мы — я не знаю, — сказал Капица, — творчество всегда выше мук, и со стороны, кому нравится, видит наши муки, а лично нам в этих муках рождается счастье. Что же касается зажиточной жизни, как теперь ее понимают: телевизор, машина, квартира, — то чем это плохо?

— Это неплохо, — ответил я, — но это *не все.*

* «Правда», 1952, 7 мая.

16 июля. Вчера Капица в своей манере после анекдота какого-то о Фарадее или Ньютоне спросил меня: «Когда вы были счастливы и как?» Я ответил, что счастлив каждое утро каждого дня, и что ни день, то мне лучше, и новое утро моего восьмидесятилетнего года умнее, добрее и лучше всего моего прошлого. Впрочем, я люблю все дни моей жизни, но каждый день почему-то люблю больше.

— И конечно, — помог он, — независимо ни от кого.

— Вот, вот, — подхватил я, — счастье в независимости, в преодолении времени.

Начинаю понимать, однако, что он отстаивает какой-то добродушный материализм на английский манер с русскими поправками.

Капица настолько талантлив, что ему хочется связать концы своих стремлений. И он связывает их по-английски, практично, оставаясь инженером, но не философом. Тут, однако, около его высказываний близко лежит та мудрость, о которой я сейчас думаю («правда» *).

1953 г. *2 февраля.* Вечером приехали Капицы, навезли еды, вина. И так начался мой юбилей **.

10 июля. За столом у Капиц я сказал маленькую речь о том, что пора бросить арифметику нашей жизни и радоваться какому-то грузину, прожившему 140 лет. Пора бросить детское упование на количество лет, а опираться на качество дней наших. Все за столом мои слова поняли и обрадовались.

25 июля. Почему технического человека Капицу тянет ко мне? Потому что он не просто техник, а творит свое, и это *свое* приводит его к слову. Человек начинается словом и продолжается делом. А природа начинается делом и кончается словом.

---

* Пришвин работал в эти дни над повестью «Слово правды» (или «Корабельная чаща»).

** 80-летие Пришвина — 5 февраля 1953 года.

Деловое продолжение человека (слова — личности) есть материализация, размножение, распространение, внедрение в природу, преображение природы. В деле, конечно, сохраняется и слово, как тайный смысл его, как направление, как правда. Эта «правда», вероятно, и держит нас вместе.

...Наше время началось делом и отменяет все старые слова.

4 августа. Прогулки вдвоем по нашим пригоркам с углубленной болтовней о важных вещах сразу дали мне знать о себе. И теперь я должен знать и с этого не спускать глаза — что это нельзя... что остатки жизни мне следует теперь мерить не годами, а днями, рассчитанными на творчество.

5 августа. Капица при людях спросил меня, кто у нас теперь первый писатель. Я ответил: «Конечно, Фадеев».

А самому было неловко, как всегда бывает у меня до сих пор, когда соврешь... Мне бы лучше было ответить, что артисты все первые, и плох тот, кто сам себя считает вторым. Надо было бы ответить, что чувство своего первенства, единственного и неповторимого, есть именно то, что делает человека артистом... Может быть, это чувство первенства есть счастливый момент верного выхода на светлый путь единства человеческой личности — бессмертного существа человека.

21 августа. Мы были у Капиц. Он очень хотел мне что-то сказать, увел меня, мы сели на лавочку с видом на луг у реки, где пасутся кони с завода.

...Физик удерживался что-то сказать. И можно думать, как чувствует себя собеседник в молчании такого напряжения!

Он так и не решился о чем-то сказать, а я, спасаясь от тяжкого молчания, прибег к болтовне, которую он рассеянно слушал. В моей болтовне было место о возможности сближения с Германией.

— Только не знаю, — сказал я, — немцы от младых

ногтей питаются государственным молоком и потому только и кажутся нам ограниченными. Мы же сидим каждый на своем месте, чтобы когда-нибудь, как Илья Муромец, проснуться и встать. Наше дело все в будущем, а у них все готово.

— Нет, — ответил он, — мы уже дали культуре больше, чем они.

Для чего мы встречаемся? Мне кажется, что он дорожит людьми честными и в добре хочет меня понимать.

27 августа. Вчера с Капицей и О. осматривали дворец Юсупова в Архангельском... Он (К.) после семи лет борьбы за себя занял свое положение знаменитого ученого.

Всю жизнь слышал «честь» и ни разу не задумался: что это? А сейчас борьбу Капицы и свою борьбу понимаю как борьбу именно за честь, и, значит, честь — это свое личное достоинство, без которого человек превращается в... тряпку.

1 сентября. ...У Капицы высшая физика, которую никто не понимает, у меня же искусство слова, его тоже мало кто понимает, но судить автора позволяют себе все. Мое положение много труднее, и едва ли в мои годы хватит сил выдержать борьбу».

Перед нами развернулся диалог людей, глубоко расположенных друг к другу и таких разных на первый взгляд, даже несоединимых. Он интересен и важен как проявление двух типов современного мышления.

Пришвин, оставаясь философски мыслящим человеком, одновременно открывается перед нами здесь в свободном непосредственном восприятии жизни — восприятии художника. Это качество мысли у Пришвина-художника особенно ценит такой законченный ученый, как Капица.

Однажды (это было уже после кончины Пришвина)

Петр Леонидович сказал: «Пришвин — философ по складу мышления, но это не мешает ему всегда быть и художником: он видит явления в полноте, глубине и законченности».

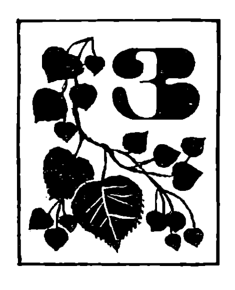
Сам ученый Капица остается аналитиком, теоретиком — «Физиком» (так называет его иногда в своем дневнике Пришвин, вкладывая, несомненно, в это слово углубляющий его смысл, разумея под ним некий обобщенный и всеобъемлющий тип мышления).

Мы наблюдаем здесь пример столкновения двух разных типов мышления — образного и логического. Он характерен для современников. Но что еще можем мы почерпнуть в нем для себя? Простое и в то же время для нас насущнейшее! Оказывается, эта разность путей-поисков в приближении к правде жизни может не разъединять, а сближать людей, если их ведет не честолюбие — не «корысть» (любая — духовная или материальная), а чистая любовь к истине. И тогда между антагонистами возникает подлинная дружба.

По существу, вся книга эта задумана как книга о дружбе, чтоб показать на непосредственном материале жизни (а не на литературной «переработке» этой жизни), как возможна дружба, как складывается она между очень разными людьми; да не только между людьми, но и между человеком и животным, между человеком и растением, даже вещью. Всякая дружба есть ценность, переходящая в общечеловеческие драгоценные связи всеобщности и высокого мира.

Признаки этого, как зерна, разбросаны по всей книге, вот почему любая из ее глав могла быть названа «О дружбе». И потому я отказалась от мысли собирать эти зерна в одно место — в одну эту главу.

НАШ САД



а нашим забором на запад и на север спускаются террасами ели и сосны, крупные, многолетние, они растут вольно, окруженные разнообразным веселым подлеском, с полянами и во мхах. Лес сбегает вниз и внезапно останавливается у реки, переходя либо в узкую полосу прибрежного кустарника-бичевника, либо в зеленый берег, поросший высокой сочной травой.

В этой траве мы встречаем, смотря по поре цветения, целые поляны одуванчиков, смолки, колокольцев, ромашки и почти во все поры лета, если подойти поближе к реке, голубых незабудок.

Ранней весной, в ледоход, река разливается, захватывает берега, становится могучей, широкой. Наш берег крутой, в разлив реке его не захватить. Но видно по прибрежным деревьям — река была когда-то многоводной, сильной. И не так давно это было: еще стоят на полгоре те деревья, которые когда-то подмывались ледоходом, но они выдержали эту страшную борьбу с весенними водами, уцепились за берег всеми своими корнями, да так и стоят с тех пор, низко наклонившись к реке, давно уж от них отступившей.

Противоположный берег пологий, это распаханные

поля вокруг деревень; они разбросаны на широком безлесном пространстве — глазом всех не охватить. Деревни прячутся друг за другом, малые за большими, прячутся за пригорками и, наконец, за излучинами реки.

Бывали весны — мы их еще застали четверть века назад, — когда вода разливалась далеко по направлению к деревне Козино, потом возвращалась к себе в законное русло, и тогда оставались на досыта напившейся земле голубые глазки-озера. Скоро и они исчезали.

Вдали за полем тянется ближайшая наша деревня Козино. Ее продолжает деревня Ивановка. Четверть века назад деревни эти жили самостоятельно. Издали казалось, будто они, вытянувшись в струнку, догоняют друг друга: одна убегает, другая догоняет и не может догнать. Так они гляделись с нашего берега, и так записал о них Пришвин. Потом они на наших глазах стали расстраиваться, ширеть и сейчас слились в одну сплошную полосу домов.

В Козине наша школа-восьмилетка, куда ходят учиться дунинские ребятишки по мосткам либо по льду. С того берега ходят к нам рабочие на наш дунинский завод «Металлист». Осенью и весной всех их перевозят на лодке. Зимой и летом эта лодка дремлет на приколе на нашем берегу.

За Ивановкой пятнами разбросаны еще другие маленькие деревушки: Грязь, Синьково, Липки, Палицы... Если посмотреть от нас направо вдоль реки по ее течению, пологий берег внезапно вздымается круто, величественно, и на нем вырастает большая деревня Аксиньино. Среди домов на самом высоком месте стоит полуразрушенный храм.

По нашему берегу прячется за лесом село Иславское.

Вечерами Михаил Михайлович обычно ходил понад берегом, это была самая близкая от дома и на редкость разнообразная впечатлениями прогулка.

«1948 г. *22 сентября.* Солнце вчера перед закатом застало меня на поле возле Иславского... Солнце вышло такое сильное, лучи ударяли в Аксиньино на высоком берегу так резко, что село как бы вспыхнуло и осталось нетленным в огне».

«1951 г. *15 октября.* Какой был вчера вечер! Налево на западе река цвела после заката октябрьским цветом с подзолотою, на востоке река лежала под месяцем в его полнолунии.

Было две реки, как две души: в одну сторону — человека под конец жизни, с его робкой надеждой на будущее, в другую — души там, на том свете, где мы все когда-нибудь будем. Туда и сюда, на запад и на восток, я поминутно повертывался, как будто в поисках точки зрения, откуда можно было бы смотреть и видеть то и другое».

«Суровые облака — и река им отвечает: лежит холодная, глядит загадочно, как кошка, когда ей ничего от человека не нужно. И ты на нее смотришь и узнаешь не по себе, а со стороны: кошка и кошка глядит!»

«Вчера день весь был очень задумчивый, как, бывает, хмурится очень добрый человек. До того было темно и тихо, что трудно оторвать глаза от реки: тянет и тянет самого в эту тишину и раздумчивость».

Аксиньино — это направо. А налево по горизонту идет гряда леса, ее перерезают глубокие овраги. В лесу проглядывают белые домики — это поселок академиков Мозжинка. Там в старину шла дорога от Москвы на Звенигород. По ней ездили знатные люди, купцы везли товары. В оврагах же скрывались грабители и, бывало, «мозжили» головы проезжающим (отсюда это название).

Центральная линия горизонта между Аксиньином и Мозжинкой окаймлена зубчиками далекого леса. Все годы собирались мы с Михаилом Михайловичем побывать в том лесу, манил он его, да все никак не могли туда добраться.

Наша деревня Дунино не сказать чтоб большая — в ней около трех десятков домов, и очень большая, если вспомнить, что в 1844 году в ней было всего три дома. С нашей высокой веранды виднеются уходящие вдаль все сужающимся рядом крыши — зеленые, красные, серые драночные, белые шиферные. Они окружены маленькими приусадебными садами и огородами.

На восток и на юг расположен наш сад. В нем дикие деревья растут с незапамятных времен, а фруктовые я видела в 1930 году уже в зрелом возрасте. Но они вымерзли в 1940 году самой холодной на моей памяти зимой.

Когда мы купили дачу, на участке сохранились только дикие деревья да две центральные пихты. Благодаря тому, что в течение нескольких лет войны усадьба стояла без хозяина и еще из-за гибели фруктового сада нам казалось, что распланировки нет никакой, если не считать двух аллей: первой на северо-восточном краю участка — еловой, посаженной еще К. В. Критской в начале века для защиты дома от прямых северных ветров, и второй — липовой, она тут стоит чуть ли не со времен знакомого нам коллежского асессора Спиридова.

Еще сохранилась от Критской гряда желтой акации под северными окнами дома, закрывающая подвал от ветров.

В первый же год я нашла остаток засохшего жасминового куста — это был мертвый пень. Макрида Егоровна Руненкова, соседка наша, рассказала мне, что когда-то это был хороший жасмин. Осенью 1946 года я разрубила мертвый пень на куски, сунула эти куски в землю, и весной 1947 года они дали ростки. Так зазеленели маленькие кустики молодого жасмина старинного усадебного сорта. Они распространились теперь не только по нашему участку, но перекочевали через наш забор по соседним домам. Михаил Михайлович пишет: «Радуюсь,

что у меня теперь есть что-то свое и что даже самый жасмин этот вырос из нашей любви».

Осенью 1947 года, по окончании основного ремонта, мы принялись за посадку фруктового и ягодного сада. Михаил Михайлович трезво сознавал, что жить ему остается недолго: ему шел 75-й год. «Буду сад сажать великодушно, в чувстве «помирать собирайся — рожь сей».

Такая боль еще жила тогда в народной душе от только что пережитой войны, что совестно было высказать другому человеку мечту о чем-то радостном, уютном, своем. Вспоминаю мой разговор в те дни с «примусником» Иваном Сергеевичем Никитиным. Его мастерскую в Москве на углу Климентовского переулка и Пятницкой хорошо знали все хозяйки нашего большего лаврушинского дома. Давно уже нет его на свете... Михаил Михайлович часто к нему заходил безо всякой хозяйственной нужды, просто поговорить. Этот человек нравился ему, и, видимо, Пришвин нравился Ивану Сергеевичу: помню, как он переживал кончину Михаила Михайловича.

Однажды первым нашим дунинским летом я зашла к Ивану Сергеевичу за каким-то делом и между прочим сказала, что еду в Дунино сирень сажать.

— Сирень сажать! — воскликнул Никитин. — Я, конечно, рад, что вы это можете, но нигде не говорите об этом, делайте потихоньку, а то до того ли людям теперь!

Я рассказала Михаилу Михайловичу об этом разговоре, он тут же записал его в дневнике и от себя добавил: «Сирень сажать! — и начинается в душе не то спад, не то разлив, известные каждому русскому. И так у нас каждая возникающая личность как сирень: совестно, и хочется поскорее закрыть себя от людей...»

Никитин был тогда «на спаде». Пришвину, его натуре был свойствен «разлив», и потому он боролся всю жизнь со спадом, как с величайшим врагом, называя его по-разному: неверием, унынием, скепсисом. Вот почему

в последний год войны Пришвин писал: «Сегодня вся Москва едет в поле с железными лопатами, едет не могилы копать — огороды. Не тунеядцы, а хорошие люди теперь стремятся осесть на землю, утвердиться в себе».

Однако, купив и отремонтировав дунинский дом, и трезво оценивая современность, Пришвин неожиданно делает бесстрашно-ироническую запись: «Частное строительство и улучшение жизни своими средствами становится невозможным. Так успел я себе сделать дом и в этой своей усадьбе останусь последним любителем. Теперь на частных путях останутся только кроты».

Осенью 1947 года мы посадили 8 яблонь и одну грушу бессемянку. Эти саженцы мы получили в питомнике Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Грушу мы выпросили с трудом и сами выкопали ее из академического сада уже в шестилетнем возрасте. Мы — это я и моя бессменная помощница по хозяйству с 1940 года Мария Васильевна Рыбина. Мы знали, что Михаил Михайлович мечтает о бессемянке в своем саду, вспоминая сад своего детства в Хрущеве, где он и родился. Знали мы и другое, что бессемянка — южный сорт и в нашем климате обречена на гибель, особенно на северном склоне. Но тем не менее груша у нас принялась, выросла, хорошо плодоносила, Михаил Михайлович успел попробовать «своих бессемянок». Она погибла тотчас после его кончины, в том же 1954 году. Осталась лишь фотография деревца, сделанная Пришвиным.

Казалось бы, дело это с посадкой было мелкое, чисто хозяйственное, но Пришвина оно навело на совсем неожиданную мысль о психологии художественного творчества, и вот в какой связи — решаюсь здесь откровенно признаться: наш с Марией Васильевной труд вызывал у Пришвина двойственный отклик — конечно, и благодарность, но минутами и раздражение. Усилие в житейском, практическом, озабоченность делом «сверх меры» казались ему подрывом каких-то существенных кор-

ней, из которых произрастает и которыми питается жизнь души. Он делает следующие записи в дневнике:

«1947 г. *7 октября.* Ночью пришла с Марьей Васильевной Л. и принесла на себе яблони и груши для посадки. Они с восьми утра доставали эти прививки и доставили их на место к часу ночи.

Мы с Л. из восьми прививок посадили четыре яблони и одну бессемянку. Вот из-за этой-то бессемянки и вышла беда. Л. знала, что все мое Хрущево стояло на бессемянке, что это для меня священное дерево. И, вдохновляясь этим чувством, она и совершила подвиг любви. А теперь больна... Лени бы ее своей научить, беззаботности, легкомыслию, глупости, от которых все начинается... Это новая мысль — о тайне всякого начала.

9 октября. Начало непременно глупо, в том смысле глупо, что оно является преодолением логического разума: нужно мысль свою логически довести до последнего конца, потому что логически мыслить — это значит стареть. И когда эта мысль дойдет до конца и умрет, то из этой старой шкуры змеи выползет молодая, живая, бессмысленная инициатива.

И в этом смысле всякое начало *глупо.* Часто в сказках даже и нарочито глупо: жил-был на свете серенький козлик.

Стоит припомнить начало любого удачного своего рассказа, чтобы из глупости его почувствовать выползание молодой змеи из старой шкуры».

По существу, Пришвин раскрывает здесь свою заветную мысль о детской неозабоченности, том самом «первом взгляде», лежащем в основе всякого творчества, всех открытий, всякого движения вперед, о которых Пришвин не устает говорить с молодости и до последних своих дней. Мы назовем эту тему у Пришвина «моцартовской». Она играет в дневниках часто самыми разнообразными оттенками.

«Господи, давно ли я видел эту высокую осину перед

моим окном и любовался светлостью ее золота. Светилось все дерево! А сейчас остались редкие темные листики. И последние почему-то обрываются... Прощайте, листики, здравствуйте, безлистые саженцы!» Под такой грустно-иронической записью скрывается совсем иное содержание: Михаил Михайлович радовался и своему саду, и этим «безлистым саженцам», потому радовался, что они давались ему без труда, не отрывая от единственного дела, которому он был безраздельно предан.

Пришвин всегда живет в своем мире большой нравственной мысли. Все впечатления от внешней жизни являются для него ключами в этот мир. Например, вот: идет последний год его жизни. Зацветает сирень. Пришвин записывает: «Сирень цветет, и есть множество людей, у которых возбуждается одно только желание — сорвать цветы и унести их к себе, сделать это прекрасное, непонятное (нечто, никем, никогда) своей собственностью, так что скорее всего и вся собственность есть выпадение из области красоты и добра».

В только что прочтенной записи о сирени Пришвин возвращается (при этом совершенно непреднамеренно) к великой теме своей жизни. Она была выражена в центральном его произведении «Корень жизни», где герой ее, охотник, отбрасывает мысль превратить в собственность любимое существо. Любовь развертывается перед нами не как присвоение, а как служение, или — иначе посмотреть — как подарок.

Делая запись о дунинской сирени, Пришвин, конечно, и не вспомнил о своей давней повести и о том, что это была его извечная тема.

Замечательный сорт малины привез в саженцах П. С. Она также распространилась теперь понемногу на соседних с нами участках. Михаил Михайлович любил «пастись» на малине и сердился, если мы ему набирали ягоды и приносили на тарелочке.

Насадили мы через два года и вишню «владимирку».

«Дожить бы до своей вишенки!» — говаривал Пришвин. Вишни были его детским воспоминанием по Хрущеву. И вот наконец в 1953 году был у нас их первый урожай. Когда поспели ягоды и он их попробовал, сказал: «Как в Хрущеве! Только отчего не хочется, как бывало в детстве, много их есть: попробовал — и довольно...»

К счастью, ни он, ни мы, окружающие, не знали тогда правды о его неизлечимой болезни. Все радовались, не понимая смысла этой радости, что деревья стоят в цвету и нет на земле еще ни одного упавшего лепестка.

Михаил Михайлович очень редко принимал участие в моей работе по саду: она была ему «не по сердцу» и в прямом и в переносном смысле этого слова. Есть у него такая запись: «Обтяпал двадцать кустов черной смородины, и когда устал, то почувствовал обман мечты, завлекающей делать сад. Будь у меня земля в то время, когда зарождалась эта мечта, и выйди я тогда на эту работу, я был бы отличным садовником. Но сада у меня не было, я стал работать над словом и вырастил сад из слов такой большой, что в нем тысячи гуляют и миллионы пройдут в нем...»

В 1949 году была расчищена от пней наша поляна под окнами дома. Два раза она разрабатывалась: сажали картофель. Таким образом, по мысли Михаила Михайловича, она была подготовлена под луг, вспахана лошадьми и засеяна травами. Сеял «щепотью» из лукошка председатель нашего дунинского колхоза Ф. И. Панфилов: «Мы с Федором Ивановичем начали подготовляться к посеву клевера на нашем участке, пережидаем ветер, а то семена будут летать не куда нам надо, а куда захочется ветру.

К вечеру ветер приулегся, и к нам пришел Федор Иванович Панфилов сеять клевер. Старик 70 лет остался на деревне единственный, кто умел сеять травы щепотью».

Через два года Пришвин решил снова вспахать поляну и засеять ее многолетними травами. Это было осенью 1953 года, последней его осенью... «Приехал трактор и в один час вспахал всю нашу землю. Я старался думать о тракторе, как думала бы мать моя, работавшая на банк, и чувствовал, будто у меня из души уходят все возражения против наступления индустрии на прежнее земледелие, таящее в себе религиозный страх перед вмешательством ума в божьи установления».

Зимой Михаила Михайловича не стало, а весной снова сеял на нашем лугу Федор Иванович. Сеял серьезный, молчаливый, от платы за труд отказался и только коротко мне сказал: «Я посеял в память друга».

Действительно, с Федором Ивановичем Панфиловым и его приятелем — лесником нашим Никифором Трофимовичем Дорониным у Михаила Михайловича возникла дружба. Нравились они ему — умные, наблюдательные, дельные и, можно даже сказать, хитрые люди, с тем особенным положительным оттенком «хитрости» как острого наблюдательного ума, какой вкладывает народ в это слово. Оба они любили выпить (не будем грех таить), но меру знали, то есть знали, когда и где нельзя ее переходить. Знали они еще и другое, что у Михаила Михайловича всегда хранится графинчик, называемый ими «уточкой», в который налито про запас для них *нечто*. Михаил Михайлович не имел к вину никакого пристрастия, больше всего дорожа своим орудием производства — «чистой головой». Но он добродушно снисходил к этой не то слабости, не то многолетней привычке русского человека вырываться из своей замкнутости навстречу друг другу при помощи такого внешнего и неверного средства, как влага «зеленого змия».

Федор Иванович очень почитал Михаила Михайловича, но, думаю, больше за его живую речь и дружество с простым человеком, а не за образованность. К науке он относился втайне скептически. На рассказ о местном

агрономе, который хвастал, что учился 16 лет своему делу, он коротко заметил: «Мы, русские мужики, учились этой агрономии тысячу лет».

Его маленьким огородом, расположенным прямо на самой нашей деревенской улице, любовались до самой его смерти. Федор Иванович, ссохшийся, все с тем же острым наблюдательным глазом, и в свои 80 лет приветливо-сдержанный, то полет, то рыхлит. Огородик этот обеспечивал его овощами, всем, кроме картошки, на целую зиму.

Это был «крепкий мужик», бессменный председатель нашего маленького колхозика вплоть до того, как он влился в укрупненное хозяйство большого колхоза села Иславского. Колхозную систему он принял бесповоротно, как народный долг, и «хомут» этот вполне пришелся ему по шее. У Пришвина в дневнике есть ряд записей о разговорах с приятелем. Приведем здесь лишь одну: «По правде говоря, председатель нашего микроскопического колхоза старый человек Федор Иванович — человек неграмотный. Подписать свое имя или разобрать бумагу с трудом он, конечно, может, но что это за грамота! И все-таки он, очень неглупый человек, живет как современный вполне грамотный гражданин.

Секрет его грамоты в том, что он никогда не выключает своего радиоприемника и соответственно никогда не выключает своего внимания к слышанному. Так он добивается понимания жизни, как грамотный. Если же в политике является ему что-нибудь своими средствами необъяснимое, он при очередном своем походе в район по делам спрашивает.

Вот и я тоже, когда в жизни чего-нибудь недопонимаю, то при случае обращаюсь к таким мудрецам.

— Скажите мне, Федор Иванович, — обратился я к нему в этот раз, — почему это я, старый писатель, часто бываю недоволен писанием молодых, остарел я сам и не могу понять их, или у них что-нибудь неладно?

— Нет, — ответил Федор Иванович, — глупеют к старости люди глупые, а умный человек в старости все твердеет.

— Значит, так, — говорю я, — если дело не во мне... Скажете?

— Скажу.

Вопрос мой всколыхнул старика до всех основ, и в этом деревенском человеке на мгновение мелькнули мне древние типы времен Шуйского и Годунова.

— Я скажу! — молвил он. И вдруг вышел и долго не возвращался. — Извините, — сказал он, возвратившись, — дела получились. А насчет этого я вам скажу. В наших новых книгах и статьях все хорошо и лучше быть, наверно, не может. Нет одного только против старых: нет завлекательности, и когда услышишь начало, то всегда знаешь, какой будет конец. Я сам давно хочу спросить вас, отчего это?

В избе председателя, кроме нас, были еще какие-то люди. В моем положении нельзя было говорить непродуманными словами. Пришлось тоже выкинуть фокус. Я тоже прищурился, подмигнул, щелкнул языком, щелкнул пальцами.

— Я вам скажу!

Федор Иванович ужасно обрадовался и, можно сказать, весь впился в меня, как впивается в радиоприемник в особенных случаях.

— Я вам скажу! — повторил я.

— Ну-те! — ответил он.

— Вот и скажу!

И он опять:

— Ну-те!

И так с разными интонациями, повторяясь, мы бы могли долго стоять, как петухи перед боем. Кончили мы просто. Я сказал:

— Концы видны в началах, Федор Иванович, потому что молодые писатели очень спешат.

Федор Иванович не замедлил со своей стороны мои слова представить как мудрость соломонову в честь и славу старых писателей и сам, расставаясь, много раз повторял:

— Спешат, спешат!»

Второй приятель, лесник Доронин, в противоположность Панфилову, любил высказываться, владел великолепно народной речью, был остроумен и тоже, конечно, «хитер».

Записи: «Рассказ Доронина с точным речевым ритмом — это и исповедь, и юмор, это и я: я так пишу. И это — народ».

«Лесник Доронин как получил свое счастье: умерла жена, и он взял себе пожилую бабу за сорок лет из родной деревни в брянских лесах, 60 верст от железной дороги. Баба неграмотная, железной дороги никогда не видела и белого хлеба не ела. Эта баба прибрала к рукам разбалованных детей, навела порядок в хозяйстве, обрадовала мужа, он даже пить перестал, и родила ему сына.

— Откуда же это взялось у нее, — спросил я, — что переделала к хорошему всех от мала до велика?

— Понятно все, — ответил он, — первое, что не ела белого хлеба, второе, что неграмотная, третье — не ездила по железной дороге.

От этих слов я стал понимать еще меньше. А лесник рассказывал о том, что ее старик отец, 90 лет ему, со старухой приезжал, понравилось, и сам хочет порешить с хозяйством, и ко мне в сторожа.

— Что же понравилось, — сказал я, — зачем решать хозяйство?

— А понравилось, что белый хлеб купить можно: два-три рубля — и батон. Сиди, ешь и радуйся.

И я понял старика: ведь это нам хорошо, что там

где-то на черном хлебе сидят хорошие люди, им же самим хочется хорошего хлеба. И все, кто хотят людям дать хлеба, должны решить задачу: как сделать, чтобы при переходе на хороший хлеб человек тоже бы делался лучше».

Если от общения с Федором Ивановичем у Пришвина родился «Завлекательный рассказ», то от общения с лесником были приобретены некоторые черты для образа Веселкина в «Корабельной чаще». В повести Веселкин — инвалид Отечественной войны, лишился руки, но не дал ее ампутировать, отвоевал ее у врачей, «чтобы цигарку можно было самому ею скрутить». Так же было и у лесника. Прочтем параллельную запись в дневнике Пришвина: «Сюжетик «самолюбие». Лесник на вопрос, почему у него рука висит на ниточке и он ее не ампутирует, отвечает: «От самолюбия». И рассказал, что пальцы на висящей руке шевелятся.

— На что тебе эти пальцы, если рука висит?

— А папироску свернуть.

— При чем же тут самолюбие?

— А как же: всю руку держу, только чтоб покурить. Какая же тут польза? Одно самолюбие».

Интересно, как всякое внешнее наблюдение непременно связывается у Пришвина с его внутренней жизнью писателя и человека и получает дополнительное углубленное толкование. Так, сделав эту надпись о сохраненной руке, он присматривается к самому себе и записывает:

«...Так и мне как-то боязно решиться ампутировать мой раненый орган самолюбия, мне кажется, что без него я лишусь самой способности крутить папиросу необходимого литературного тщеславия и буду просто добродетельным человеком».

Федор Иванович приходил к нам на помощь при лю-

бой хозяйственной неполадке: то ли кирпич вывалится в печке, то ли скамейка подгнила, — он все умел делать точно и легко, маленький, прочно осевший на коротких твердых ногах. Лесник же был агентом Пришвина в его лесных делах. Он хорошо понимал Пришвина и сочувствовал его интересам, самым, казалось бы, мелким: «Лесник Доронин доложил, что, если всмотреться, на вырубке все пни покрыты мелкими опятами. Завтра-послезавтра будет им время».

В 1949 году, когда я уехала в город по делам на несколько дней, Михаил Михайлович сделал мне подарок: с помощью лесника он насадил южную стену елок— зеленый забор. Тогда же были посажены и шесть молодых лип на место погибших в липовой аллее.

Эту аллею Пришвин иронически называл впоследствии «аллеей Пришвина имени Горького», имея в виду поддержку его деятельности Горьким. Но, с другой стороны, Михаил Михайлович иронизировал так над укоренившимся у нас одно время обычаем давать высокопарные и многоэтажные наименования предметам достойным и бесспорным с целью «подпереть» их именами авторитетов.

В 1951 году красились и чинились обе протекавшие крыши. Об этой работе есть в дневнике попутная запись, примечательная интересом Михаила Михайловича к внутреннему облику работавших у нас людей — родство с каждым человеком: «Решили красить крышу. Пришли маляр Андрей и жестянщик Иван.

У Андрея впереди слова — жест, и он все время вертит руками, будто кто-то ими дергает за нитку. А Иван спокойный, рот огромный, губы толстые... Изредка поглядывая на меня, (он) вдруг обратился ко мне с доброй улыбкой и спросил: «Ну, как ваша грыжа?» Оказалось, что он заметил, как я время от времени потраги-

ваю свой живот внизу и что у него самого тоже была грыжа и он ее вырезал. Он недавно сделал себе операцию и чувствует себя счастливым, и ему хочется мне тоже добра.

Так мы оба, столь чужие друг другу люди, говорили долго как друзья. Вот если бы всем людям пережить одну и ту же болезнь до конца... И потом бы люди встречались редкие и радовались бы друг другу одинаково, белые, черные, желтые...»

В 1949 году была спилена вершина старой липы, грозящей свалиться на нашу веранду и ее раздавить. Так образовалось сверху роскошно-просторное дупло, которое немедленно было обжито птицами. Михаил Михайлович с веранды наблюдал за их жизнью: «В нашей старой липе поселились скворцы, а пониже в маленькую дырочку юркнула птичка-зорянка».

Липа видна и из нашей столовой: «Вижу за чаем, как на обрезе старой липы на краю дупла скворец, токуя, моргает крылом, наверно в ритм своей смешной песенке».

При жизни Михаила Михайловича я много времени отдавала саду, огороду, цветам. Пожалуй, сад и огород для меня не разделялись по радостному чувству удовлетворения при уходе за растениями.

Оглядываясь назад, теперь изумляюсь, откуда я черпала тогда силы и время, если вспомнить, что одновременно я должна была участвовать во всех делах Михаила Михайловича, вести домашнее хозяйство и ухаживать за лежавшей неподвижно матерью. Правда, моей помощницей была Марья Васильевна. Она любила сад, но была одержима экспериментаторством в агрономии, и методы наши с ней резко расходились: она доверяла только советам, пришедшим по слуху, в основном в вагонах поезда, трамваях, от словоохотливых соседей, и на

мои «научные» доводы отвечала: «И профессора ошибаются».

К работе на земле я пристрастилась с войны, с Усолья, где училась у знаменитых ярославских огородников: мы всерьез кормились тогда огородом. Дело развилось вначале по нужде, а потом уже шло у меня по страсти. Так я и завязла в этой увлекательной работе. Увлекала она меня, по-видимому, тем, как молчаливо, скромно и благодарно отвечают растения малейшей заботе человека, проявленной к ним.

Михаил Михайлович хотя и протестовал против моей страсти к земле, но тем не менее и он в те годы опоэтизировал какой-нибудь простейший, мной любимый цветок картофеля или первый огурец: «Над цветущим картофелем всегда летают белые бабочки, как будто некоторые цветы довольно нацвелись, им захотелось полетать, и это теперь не бабочки, а тоже цветки летают над цветами картофеля».

«На спелой вишне светлая блестящая капля висит, сама почти как черная вишня, и первый огурчик мокрый показался на солнечный свет, объявляя милой округлой фигуркой своей: «Вот и я с вами, я — первый зеленый огурчик!»

Летом я читала, можно сказать без преувеличения, только одни садоводческие книги. Эти книги снисходительно покупал мне и сам Михаил Михайлович. Так, мы храним в Дунине подаренный им определитель растений. Это был не простой подарок, а с загадом: я уже говорила, что у нас на звенигородских лугах растет много лекарственных трав, и вот почему Михаил Михайлович советовал мне свою страсть перенести с картошки и помидоров на лекарственные растения:

«Будет полезно людям и не вредно твоему сердцу. А на картошку я уж как-нибудь заработаю...»

В последние годы жизни Михаила Михайловича, как только я выходила в сад работать, он коршуном бросал-

ся на веранду, и я слышала гневный окрик: «Бросай лопату!» Он бранил меня не только за переутомление, но и за отвлечения от его литературных работ. И опять как не вспомнить тут обратное: Михаил Михайлович *сам* радовался саду.

В начале моих работ над садом он делал добродушные замечания, что у меня «нет плана» в планировке участка. Но с годами он убедился, что у меня в этом отношении была своя идея: она состояла в том, чтобы не создавать строгих геометрических фигур, а выращивать разнообразные естественные уголки, избегая искусственных украшений — клумб. Вторая цель была подчеркнуть разнообразие перспективы с разных точек участка. И наконец, третье — создать зеленый массив, дающий впечатление запущенности старых садов и закрывающий дом и нашу в нем жизнь от любопытного взгляда. Все это — из-за расположенности дома на открытом месте и на горе.

И правда досадно: к скольким еще книгам я могла бы приложить свою помощь при жизни Михаила Михайловича. И он этого всегда ждал от меня... Но, думаю, это увлечение, эта отданность земле была не простого происхождения: этим я закрывалась — я зарывала в землю мысль о скором, всегда грозившем, неизбежном расставании. Помню, да, я так и думала: «...А сейчас это еще сама жизнь».

Жалею ли я сейчас об этих годах увлечения землею? Вероятно, жалею. После смерти Михаила Михайловича весь интерес к земле сразу погас. Нет сил и времени ухаживать за цветами, как они того требуют. Я берегу лишь немногие сорта многолетников. Сейчас для меня наш сад — зеленый *фон* моей жизни, проходящей почти безвыходно в рабочей комнате; сад — это существенная деталь мемориальной усадьбы М. М. Пришвина.

Но если вспомнить записи самого Пришвина, хотя бы: «Человек семидесяти пяти лет, жизнь его висит на

волоске, а он сам сажает сирень! И мало того, он не один, а может быть, не было времени, когда так страстно не хватались бы люди за растения: все, кто может, сажают сады. Это значит, во-первых, что люди живут как бессмертные, презирая свое знание смерти; во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно рай (сад)».

И еще: «Я пользуюсь всяким случаем сказать, что люблю свой сад за то, первое, что он дался мне самому без труда... второе радует меня, что над садом трудился самый дорогой мне человек...»

И как всегда у Пришвина, неожиданное, парадоксальное и потому бесконечно обогащающее смысл заключение: «...А уж после того я говорю -- не все возьмешь просто трудом!»

В последней мысли — возвращение к теме «Моцарта», уже известной читателю.

Еще одна запись: «Художница вчера, разбирая работу Л., насмешливо говорила: «Полчаса поисков на деревне поденщицы плюс двадцать рублей — и все! А она сама своими руками неделями ползает... Как это старомодно и устарело».

Я-то сам, как русский; подлинно русский человек, чувствую... тоже у меня не хватает просто смекалки на «поденщицу». Устарелость! Но когда я с хорошей мыслью подхожу к Советскому Союзу, то вижу в нем ту же «устарелость» и по ней строю наше лучшее, а не на практическом чувстве времени». Устарелость, традиционность в данном случае Михаил Михайлович противопоставляет бездушному практицизму.

...Если все это вспомнить, то и нечего жалеть о своем увлечении землей в трудном, дорогом, навсегда ушедшем прошлом.

...И сейчас наш сад цветет. По внутренней стороне забора идет вокруг него дорожка, проложенная некогда самим Михаилом Михайловичем. По ней он бродил

с записной книжкой в руках. Присаживался на скамейки. Опустив книжку на колени, смотрел на заречные дали.

Теперь по этой тропе ходят его читатели, навещающие дунинский дом.

Вы поднимаетесь по центральной дорожке между двумя сторожевыми пихтами и, обогнув дом с левой стороны, выходите по направлению к реке. Сразу перед вами открывается прекрасный вид на заречье. У окон кабинета расположена поляна — она под естественным травостоем, и цветы на ней в течение лета все время меняются.

Спускаясь по тропинке, вы проходите мимо места под двумя большими елями, которое выбрал себе Михаил Михайлович для уединенной работы. Он сам сделал себе кресло из пня и горбыля, которое в шутку называлось у нас «венским креслом».

Дорожка идет дальше к калитке, из которой Михаил Михайлович ежедневно спускался к реке до последнего месяца своей жизни. Там, на берегу реки, он провожал солнце. Глубокой осенью 1953 года, своей последней осенью, он записывает: «Осень в деревне тем хороша, что чувствуешь, как быстро и страшно проносится жизнь, ты же сам сидишь где-то на пне, лицом обращенный к заре, и ничего не теряешь — все остается с тобой».

Дорожка повернула направо. Два молодых дубка выращены нами из желудей, привезенных из Михайловского от А. С. Пушкина, третий, постарше, — из яснополянского желудя от Л. Н. Толстого. Минуя дубки, вы подходите к камню на небольшом холмике, здесь лежат две наши последние собаки: спаниель Нора и сеттер Джали.

В начале еловой аллеи вы видите скамейку. На ней Михаил Михайлович встречал восход солнца, пока в доме все еще спали глубоким сном. Старые ели аллеи еще помнят пережитую войну: мы видим срезанные снаря-

дами верхушки, израненные заградительной проволокой стволы... И молодые елочки, подсаженные нами в разные годы на места умерших.

На пути у нас теперь большой муравейник. Михаил Михайлович подолгу простаивал над ним, наблюдая жизнь муравьиного царства. До старости он жил открытием, которое сделал для себя в раннем детстве: удивительные события происходят не только в сказках, но и в жизни, на каждом шагу. Все ценно в природе, все живо, все имеет свое лицо. Он записывает: «Мы можем войти так в природу, что возле муравейника скажем имя знакомого муравья и тот муравей отложит на минуточку дела и выбежит поздороваться».

Под верандой дома встречает нас героиня последней повести Пришвина — его «Васина елочка». Эта повесть — «Корабельная чаща». Однажды, это было в 1952 году, Михаил Михайлович привез из леса маленькую, в палец толщиной, елочку, выкопанную им «со стулом», то есть с прикорневой землей и корнями. Выбрал место, вырыл яму, посадил, полил... Мы стояли, молча наблюдали. Михаил Михайлович начинал тогда болеть, но никто не знал, что конец уже так близок...

«Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды не себе достанутся, но радость жизни у старика начинается с раскрытием почки посаженного растения».

Минуя маленький домик, где стоит машина Михаила Михайловича, вы выходите на старинную липовую аллею. Остатки ее ведут выше, они как бы перешагнули через забор и соединяют наш дом со вторым домом, который тоже принадлежал когда-то Лебедевым-Критским.

Огибаем яблоневый сад и здесь на открытом солнечном месте видим душистую цветущую фацелию.

«...По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цве-

тов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле...»

Так тропа приводит снова к дому. Под широкой липой — столик, за которым Михаил Михайлович принимал иногда своих гостей.

Все как было при хозяине, только у входа появилась мраморная доска. На доске читаем:

РСФСР
Исполнительный комитет Московского областного
Совета депутатов трудящихся
Здесь жил и работал с 1946 по 1954 год
замечательный русский писатель
Пришвин Михаил Михайлович
Памятник культуры охраняется государством

БОЛЬШАЯ ГЕОГРАФИЯ



ихаил Михайлович неоднократно говорил, что он «не умеет выдумывать». Как это понять? В моем понимании это значит: он так глубоко, так сильно жил, что ему не надо было расширять границы наблюдаемого им простого факта. Он лишь бесконечно углублял его значение, оглядывал со всех сторон, приходя иногда к противоречивым оценкам. Потом ему открывалось целостное понимание... Шел дальше... Открывал новое...

В отношении природы он хотел оставаться ребенком, обращенным с удивлением в неведомый таинственный мир. Это осматривание ее, обнимание с разных сторон «чувством мысли», утверждение простейшего факта противоречивой разносторонности явлений и одновременно поиски их единства. Вот свойственный Пришвину способ движения познающей мысли в противовес обобщенности формулировок у доктринеров, моралистов любых систем.

В оценках своих Пришвин часто пользуется шуткой. Такое легкое орудие и против чего? Оно, оказывается, направлено у него против самого жестокого, что только ни есть на свете, — против незыблемых утверждений, против нравственных приговоров без права на поиск

вокруг них сердечной мысли. Для Пришвина все живое движется в переменах, в творческом росте бытия. Где формула, там приговор, там мертвящая остановка: рост жизни пресекается хирургическим ножом логики. А ведь мы могли бы обойти явление вокруг и попытаться его оглядеть с другой стороны: вдруг оттуда увидишь еще что-то новое, прекраснейшее. И, ничего найденного ранее не отменяя (все предыдущее необходимо было для роста), сказать о нем еще и по-новому. Какое богатство в руках человека, какие возможности!

Пришвин однажды записал об этом так: «Реальность или утверждение находятся ни там, ни тут, а в движении души, в самом потоке жизни, в его необратимости и становлении... И если всерьез говорить, то и правда, как это можно «стоять на своем», если все так быстро проходит и меняется, и как воистину безнравственна логика этих убеждений в отношении ближнего. Вспомни «великих людей», бросавших тысячи и тысячи смертных на смерть. Вспомни, напротив, свое собственное трепетно-зеленое растение, выраставшее из души твоей».

Философы, прочтя эти слова, скажут: «Так проявляется диалектика пришвинского мышления». Простой мыслящий человек скажет: «И я так думаю!» И это будет как печать самой правды.

Так думает Пришвин в конце своих дней. Но, оказывается, так думал он и всегда. И когда мы обнаруживаем эту изумительную цельность мироощущения, мы поражаемся и радуемся ей.

Перед нами папка еще не переписанных нами разрозненных записок дневника — это листы, приготовленные Пришвиным для какой-то большой работы. Выбираем один из листков. На нем помета: 1921 год. Читаем: «Вы говорите, что составили себе о нем мнение. Как это ужасно, все равно, хорошее или плохое, — ужасно! Он лишается в вас друга. Разве друзья, родные, вообще милые друг другу люди составляют мнение? Они живут,

в хорошие дни радостно открывая в близком хорошее, новое, в дурные, ругаясь, говорят: «...А, так вот ты какой, ну, не знал, не знал!»

Жить и любить — это значит все вновь и вновь делать в ближнем открытия, а составил мнение — значит, окончил, приговорил жизнь».

Долго, страстно и жадно метался он в поисках «края непуганых птиц» — так он называл для себя свою мечту о добре жизни, о прекрасном. Потом он понял очень простое: прекрасное, или, как он говорит, «небывалое», можно найти в обычной жизни, надо только научиться видеть. Весь секрет, оказывается, во внимании. Человек, вооруженный таким пристальным вниманием, не бежит за мечтой, а останавливается прочно на месте — «становится на свой корень», — и мир начинает сам ходить вокруг него. Вникая в смысл знакомых, казалось бы, предметов, человек постигает самую суть жизни, ее разнообразие, ее богатство и может об этом рассказать людям. Мечта человека находит себе очень близко свой дом, иногда рядом.

Особенно четко мы наблюдаем это у Пришвина в его высказываниях дунинского периода. Так он говорит: «...конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь. Но поэзию человеку можно сгустить в жизнь, то есть что сущность поэзии и жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха».

В 1946 году дом в Дунине был кое-как отремонтирован, и Пришвин живет там с ранней весны до поздней осени. Зимних морозов при одной печке дом наш не выдерживал, и мы переселялись на зиму в Москву. Только в последний год жизни Михаила Михайловича нам удалось устроить себе центральное отопление, дом стал зимним, и Михаил Михайлович мечтал в нем жить круглый год, лишь с необходимыми выездами в город.

В городе же он напряженно, страстно ожидает первых признаков весны, чтобы можно было переезжать в Дунино.

«1947 г. *6 апреля.* Поехал в Дунино. По дороге началась снежная метель. Возле туберкулезной больницы отпустил Ваню и пешком пошел в «Поречье». В лицо било снегом, ноги скользили по льду, проваливаясь, сапоги подтекали, и все-таки где-то из засыпанного снегом дерева слышался хрип скворца... Поля голые, в лесу еще снега довольно. Вечером берегом реки прошел на дачу свою. Сильный холодный ветер при ярком солнце. Редкие льдины. Иные стояком розовые на солнце стремительно неслись по лазурной реке.

В легком пальто было холодно, и страшно было смотреть на реку, и красива она была страшно. Пролез на дачу по снегу».

В следующем году уже в феврале, Пришвин начинает тосковать по Дунину: *«26 февраля.* Какие дни проходят без меня!»

Он тут же собирается ехать прямо в холодный дунинский дом. Только что собрался — заболел гриппом. Переезд откладывается.

«4 апреля. ...Пусть грипп, — все равно я уезжаю. Невозможно терпеть и отдавать свою жизнь ни за что!»

Дом открывают и отапливают без нас. Я сама лежу в тяжелом гриппе. Через четыре дня запись: «Выезжаю один в Дунино. Со мной Жулька и кот. Около 40 километров ехали уверенные, что в лесах даже нет снега, но когда 40 проехали, то поля стали пестрые, а леса белые. А дальше поехали — и поля белые. Но снег в лесу весь в зерне. Река еще спит и подмокает во сне, как медведь в берлоге. Мы немного не доехали и носили вещи на руках.

В доме жарко как в бане, сырость и даже пар. Голова разболелась... Это будет ужасно, если, проболев столько времени в Москве, и здесь простужусь».

Запись на следующий день: «Ночь тревожная: то кот заорет, то собака залает. Спал, как зерно огурца в парнике — и парко, и сыро, и требование нависло: или всходить, или плесневеть и умирать.

Оказалось, в мое отсутствие мыши развелись, и Васька стал ночью ждать мышь, сидя на шкафу. Ждать на полу он боялся Жульки. Когда показывалась мышь внизу, Васька забывал про Жульку и бросался вниз на мышь, а Жулька бросалась с ревом на кота. Васька от Жульки спасался обратно на шкаф, а мышь убегала в подполье и объявляла своим близким о появлении в доме кота. Но жизнь у мышей, вероятно, не организована в коллектив, и весть о приезде страшного хозяина не доходила до всех.

Время от времени показывалась новая мышь, и снова Васька бросался на мышь, а Жулька бросалась на Ваську, и я, просыпаясь, кричал: «Жулька! на место!» Или: «Васька, пошел вон!»

За день проходил в лесу пять часов. От моей болезни остался только кашель, и спится неважно».

Запись через месяц: «После обеда часок вздремнул и проснулся как будто в Хрущеве. Сколько в жизни ездил, искал, и в конце концов оказалось — искал того, что у меня было в детстве и что я потерял».

Летом 1947 года Михаил Михайлович делает обобщающую запись, она важна для понимания нами личности его, работы и роли Дунина в его жизни:

«Кроме литературных вещей, в жизни своей я никаких вещей не делал и так приучил себя к мысли, что высокое удовлетворение могут давать только вещи поэтические.

Впервые мне удалось сделать себе дом как вещь, которую все хвалят и она мне самому доставляет удовлетворение точно такое же, как в свое время доставляла поэма «Женьшень».

В этой «литературности» моего дома большую роль

играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений и нет в ней ни одного гвоздя несочиненного.

Так мое Дунино стоит теперь в утверждение единства жизни и единства удовлетворения человека от всякого рода им сотворенных вещей: все авторы своей жизни, и всякий радуется своим вещам».

Создав себе дунинский деревенский дом как «дом жизни», Пришвин открывает новую точку зрения в своих размышлениях о природе. Эту тему он называет для себя микрогеографией. Вот как он пишет об этом при покупке дома в 1946 году, еще живя в «Поречье»: «Впервые стал читать жизнь деревьев в лесу. И опять захотелось заниматься микрогеографией, и порадовался, что, может быть, скоро будет у меня свой участок в лесу».

Микрогеографию Пришвин понимает в особом своем поэтическом плане: «Не вдали, а возле тебя самого, под самыми руками вся жизнь, и только если ты слеп, не можешь на это как на солнце смотреть, то отводишь глаза свои на далекое расстояние. И ты уходишь туда только затем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни».

На понимании Пришвиным природы нам следует сейчас задержаться, дав место его собственным высказываниям. В начале нашей беседы с читателем этой книги мы спрашивали себя, что такое гармония. Теперь мы можем снова ответить на этот вопрос — яснее, богаче и словами самого Пришвина:

«Что же это нас манит в природе? Откуда гармония? Думаю, что манит нас сотворчество, в котором находятся все живые и неживые существа мироздания... Мне кажется, что всю природу можно найти в душе человека со всеми лугами, цветами, волками, голубями и крокодилами. Но всего человека вместить в природу невозможно; и не закопаешь всего, и не сожжешь огнем, и не утопишь в воде.

Гордиться тут особенно нечем, — вся природа всем составом своим сотрудничает с человеком в создании слова как высшей формы. И в этом смысле слово человеческое много значительней солнца, от которого как будто рождается вся жизнь на земле».

Пришвин рассматривает природу и человека как единое целое, представляя их себе в разных образах: «Человек как царь природы есть ствол дерева. Человек *задан* в природе как держава единая, его движение, его рост, его борьба за единство».

В другом случае он делает сравнение с рекой: «Русло природы... осталось на старице, а человек в своем движении вырыл новое русло и потек, все прибывая, а природа течет по-старому, все убывая. На свои берега человек сам переносит и устраивает по-новому все, что когда-то он взял у старой природы».

Наконец он вводит человека и его природу в единый вселенский дом, где *все всему* служит приютом и защитой, начиная с цветка и кончая человеческой душой: «Каждый цветок — это дом, каждый листик зеленый создан, чтобы укрыть цветок, когда что-то с ним случится... Душа прячется к себе в дом и тихо радуется, что есть где укрыться от непогоды, и в тишине прийти в себя, и обождать, когда захочется выйти наружу, и разбежаться во всем на полях и лесах».

Теперь нам совсем по-иному раскроется простая, бытовая запись, сделанная в санатории «Поречье» в дни устройства дунинского дома: «Отдыхающие медленно, как сонные, бродят по зеленеющему лесу, и я слышал сегодня — один сказал другому: «Наконец-то, кажется, я начинаю приходить в себя».

Мне хотелось спросить его: «А где же ты был до сих пор?» И, подумав, ответил за него: «Я был до сих пор в распоряжении чужой воли».

Так, наверно, потому мы и радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя».

Итак, Пришвин поначалу занимается в Дунине микрогеографией. Действительно, в записях Пришвина сочетается и чувство художника и одновременно трезвое наблюдение исследователя. Вместе они нас поражают своей деловой простотой.

Так, однажды между своими поэтическими записями он задает себе и такой «деловой» вопрос: «Надо узнать где-нибудь, что раньше человеку пришло — телескоп или микроскоп».

Приведем пример, как Пришвин-географ позволяет себе поправить поэта: он выписывает в дневник две строки из прочитанного им стихотворения Фета и тут же комментирует их:

О. первый ландыш! из-под снега
Ты просишь солнечных лучей...

Из-под снега выходят подснежники, вот сейчас 10 апреля, их надо ждать, а первый ландыш, дай бог, явился бы через месяц.

Вот, может быть, я и останусь в поэзии как географическая поправка к туманным мечтам романтиков. И это будет здорово в русском духе».

Мы не обнаруживаем у Пришвина и признака тщеславного стремления сделать свои писания занимательными: «А сделать занимательным чтение — это так легко!» — бросает однажды на ходу Пришвин. Как много говорит нам и о человеке и о художнике эта запись!

Часто Пришвин начинает свои наблюдения с самого простейшего, например с цветка: «Есть существа, способные так прямо, и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветом-солнцем посреди. Но бывают цветы-мечтатели, они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не видят, и форма цветов у них как результат отношения света и тени. Посмотрите на ландыш...»

Пришвин любуется цветком, но тут же ставит деловой вопрос: «Много сказано о физике света, но почему же так мало знаем мы о физике тени?..» И начинается великая симфония света и тени, как поэтически-философское размышление, которому посвящены последние годы Пришвина.

Так постепенно на наших глазах микрогеография переходит у Пришвина в ту большую географию, или макрогеографию, которая вводит в поле внимания художника самый великий космос в его беспредельности. И тут мы убеждаемся, что Пришвин как писатель занят в природе не изучением поэтических деталей, не воспеванием красот, не поисками увлекательных для читателя сюжетов — он занят большим исследованием природы — ее великим целым.

Пришвин оставил нам в дневнике образную зарисовку того, как совершается у него переход от малого наблюдения в «большую географию». Приведем эту художественную миниатюру целиком; «В жаркий парной день войдешь в хвойный лес, как под крышу великого дома, и бродишь, бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает: «Он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы сморчки уже прошли. Ландыши? Еще не готовы. Не потерял ли ты что-нибудь?»

— Да, — отвечаю, — я мысль свою в себе потерял и теперь вот чувствую — сейчас найду, вот тут, в заячьей капусте найду...

И я счастлив, я радуюсь: я что-то видел, что-то нашел, и даже знаю теперь, что я искал, что я нашел: я искал свою мысль и нашел ее в участии своем личном в деле солнца, и леса, и земли. Я — участник всего, и в этом находится и радость моя и мысль».

«Тот маленький дом, в котором мы рождаемся, разрушается со временем, как и гнездо у птиц: птицы вылетают на большой простор, предоставляя гнездо дож-

дям и бурям, а человек должен непременно достигнуть такого простора, чтобы тело свое почувствовать вместе со всей землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением как свой собственный дом».

Нам остается повторить вслед за Пришвиным: собственный дом для него — это вся земля с ее воздухом, светом и всем, на ней живущим. В этот прекрасный и сложный мир входит и дунинский дом; в последние годы писателя он — опорная точка для его поэтической мысли в ее труде, в ее движении.

Много было в художественной литературе толкователей вопроса о взаимоотношении человека с природой, и Пришвин сказал нам здесь свое слово, насущнейшее для нашей современности. Оно не о борьбе с природой, не о подчинении ей, оно о дружбе (или иначе — о нашем сотворчестве с нею). Потому о дружбе, что человек наконец осознал себя ее завершением, ее царем или венцом творения.

Пришло время, наше время, когда человек в своем движении вперед как бы оборачивается к природе, приостанавливаясь, чтоб ей помочь, чтоб ее спасти. Пришвин не только открывает нам такое понимание — он упорно борется за него. Так, однажды он вступает в спор с Мичуриным, и, что характерно для Пришвина, он вовлекается в этот спор жизненным пустяком: по привычке утром отрывает календарный листок, читает там высказывание Мичурина о том, что нельзя ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача. Это вызывает у него горячий протест. Он тут же записывает в дневник свои возражения: «В природе нет милости к человеку: нечего ждать от нее милости. Человек должен бороться с ней и быть милостивым, и охранять природу, раз он является ее царем-победителем».

Пришвинское «быть милостивым и охранять» есть существенное возражение мичуринскому «взять», в чем и заключается между ними расхождение. Вглядим-

ся: здесь и мужественное осознание жизни без всякой размягчающей сентиментальности. Но здесь и нравственное требование к себе — человеку; требование высоты. «...Когда человек находит в природе дерево, птицу, собаку — живое личное существо, — он создает о нем миф и утверждает тем самым человека в природе. Этим путем я шел в своем писательстве, и мой метод такого изучения природы мои читатели поняли как любовь, как усилие человека сделать с природой то самое, что сделало его (самого) существом милосердным».

Оказывается, весь труд его был направлен к спасению природы (а значит, и человека), жизнь которых в наши дни явно поставлена под угрозу. Записанное же Пришвиным в середине 40-х годов — это было проявлением сильнейшей интуиции или предвидением человека, внимание которого было обращено целиком от себя к жизни всеобщей.

Пришвин стремился разрешить тревожившее издавна людей надуманное разделение природы и человека в их якобы неслиянном противоборстве. Это началось у Пришвина с той самой минуты, как он взялся за перо писателя, и так пошло через всю жизнь. В сознании его постоянно пульсирует личная и в то же время не новая для всей мировой философии идея синтеза материи и духа в самом широком охвате этих понятий — мысль всех времен, пронизывающая их и до наших дней. Каждая эпоха пытается разрешить ее по-своему.

Нам, детям XX века, предшествовали и Руссо с его проповедью возврата к природе, и Шеллинг с его натурфилософией, переходящей в мистицизм, и наши народные философы, начиная с Григория Сковороды, и русские символисты начала XX века. Тут, конечно, вклинивается ярко и решительно фигура Л. Н. Толстого с его проповедью опрощения, которая была недооценена философски из-за односторонней прямолинейности его мысли. И конечно, Достоевский с его «клейкими ли-

еточками», право на жизнь которых, иными словами, на радость человеческой жизни нашей он страстно отстаивал, несмотря ни на что.

Обратившись к предшественникам, остановимся лишь на этих двух величайших, впитавших все, что было основным в нашей художественной мысли. Говоря о них, мы в какой-то мере скажем и о всех.

Толстой начинал роман «Анна Каренина» с целью осудить свою героиню, но против собственной воли силой художественного прозрения приведен был к необходимости ее оправдать. Он должен был оправдать цельного человека в лице Анны, жаждущего полноты любви, неразделенности натуры, ее единства. Толстой ставит вопрос, но не разрешает его: в романе героиня Толстого погибает, не осуществив своей любви, а в самой жизни автор романа уходит в «толстовство», прямолинейно отсекающее «материю» как скверну и тем самым уничтожающее жизнь.

Достоевский уже не только как художник, но и как мыслитель стремится оправдать смысл и добро обыденной жизни. Он сводит с пьедестала «особенности» своего любимца Алешу Карамазова и посылает его из монастыря в мир «обыкновенных» людей. Но Достоевский не успевает закончить роман...

Пришвин продолжает его мысль: никогда не терять из глаз свою вершину и в то же время идти со всеми вместе, не выделяясь. Многократно и по-разному повторяет он это для себя в дневнике. Предельно сжато пишет в маленьком рассказе «Художник», которым завершается поэма «Фацелия»: «Наконец-то я испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть как все хорошие люди».

То, что до него предчувствовали и намечали в высказываниях и образах его великие учителя, он осуществлял в самой жизни своей, притом как-то непреднамеренно, как бы полусознательно, осмысливая происходя-

щее с ним как бы задним числом. Его дневник — тому свидетельство.

Вглядываясь в эту исповедь жизни, мы убеждаемся, что Пришвин, в сущности, «пережил» все теории под влиянием самой силы жизни и веры в нее. Он просто жил. Но это не было упрощением целей, нет, это был труд внутри самой жизни, а не размышление о ней.

Конечно, все предшествующие идеи, эти исторические дрожжи, не могли не бродить в его сознании. Известна декартовская формула: «Мыслю, значит существую». Пришвин ничем не убеждался, рыл глубже и глубже, один, и наконец нашел убедительную для себя данность: «Люблю, значит существую...» Михаил Михайлович оперся на этот осколок мысли как на престол. Отсюда, куда ни кинешь взгляд, начиная с наблюдения над доверчивой привязанностью животного к человеку и кончая образом Троицы у Рублева, везде видна молчаливая согласная беседа в завершенном круге любви. Мое «ты» существует — значит, вселенная не «вещь в себе», и не иллюзия, и не «относительность», и не бездушный механизм — она реальная живая осуществленность.

Все находится в единстве, и потому в первую очередь надо снять схоластический разрыв на мысль и плоть в мировоззрении. Пришвин настолько убежден в истинности своего постижения, что позволяет себе в этом вопросе улыбку, больше того — шутку: «Даже богу нужна материя, чтобы ему было куда вдунуть свою бессмертную душу и создать из бывалого Небывалое — человека» (1950 г.). Еще смелее запись: «Поэзия и капуста. В жизни своей не ел такой вкусной капусты и такой моченой антоновки, как у Н. Это им далось от близости к земле. Так, чтобы создалась такая капуста, нужна концентрация духовных и физических сил, недоступная интеллигенту. Не может сотрудник Книжной палаты У. сосредоточиться на какой-нибудь капусте.

Так очевидно, что искусство, поэзия, наука исходят из этой силы земной: на капусте, на моченых яблоках вырастают поэты, и одно переходит в другое, как навоз переходит в цветы. Но почему-то у людей раскалываются два завета и спорят о первенстве? Спор начинается из-за претензии Капусты, как собственницы Поэзии: «Я тебя породила, ты моя». — «Нет, — отвечает Поэзия, — я существовала прежде всех век, и снизошла до тебя, и воплотилась в тебе...»

Этот недостойный спор слова и дела был у нас чуть ли не с Грозного и продолжается до наших дней...» (1945 г.).

«Я думаю о грехе наших философов (В. Соловьева): грех разделения природы и человека как бы на две разные субстанции. Нет этого — субстанция одна. Этот грех отдал живое чувство природы на потеху «поэзии» как чему-то шуточному, несуществующему (как пчеловод говорил о «Жизни пчел» Метерлинка: «Хорошо, но... это поэзия!») (1939 г.).

На острейшем стыке идей, противоборствующих и в борьбе своей рождающих плодоносный выход, именно здесь и рождалась у Пришвина его героическая вера в простое единство одухотворенной материи, наполняющей вселенную.

Эта вера есть видение и отстаивание красоты, значит, смысла в трагическом процессе жизни, красоты, «лучи которой проходят через облака добра и зла». Красота существует безо всякой «относительности», реально и победительно.

Ранний дневник 1905 года. Запись летней ночью: «Звезды зажглись... Тайна легла над землей... Господи! Дай мне силу не оторваться и встретить со всеми солнце!»

Повторяю, подчеркиваю: «не оторваться... со всеми», — в этих словах — весь Пришвин.

С ранних произведений началась борьба с какой-то

черной силой, рассекающей надвое Жизнь. Эта сила повсюду, где буква властвует над мыслью и царствует непререкаемое обобщение и формула, где нет внимания «к каждому из всех» в его неповторимости.

Но главное, самое главное для Пришвина: эта черная сила там, где осуждается как «скверна» плоть природы и человека, где осуждается самое послушание законам природы — этому «божьему чуду». Здесь идет у Пришвина речь об антиномии: о правде аскетизма и о не меньшей правде его преодоления; не отрицание или борьба против жизни природной, а возвышение ее через человека.

...Есть образ у Пришвина, пронизывающий как стержень все его долголетнее творчество. Это образ соловья — «незаметной маленькой птички». И это образ самого художника.

«Неужели напрасно пел соловей в весеннем саду?» — спрашивает он в повести «У стен града невидимого» в 1909 году, размышляя над фактом смерти и над жестокостью человеческой истории. Вопрос этот для него мучителен.

«Неужели же напрасно тысячелетиями просвистел соловей в саду?» — повторяет Пришвин в дневнике, который он ведет параллельно с повестью.

Это вопрос о том, *как* возможна радость при наличии зла и страдания. Это еще и вопрос о пушкинском Евгении из «Медного всадника» — вечном своем спутнике с молодости и до конца дней: как возможно *примириться* с судьбой «частностей», ценой гибели которых строится будущее человечества? «Стихия примирится. Но мысль?..» — бросает он через полвека вопрос Пушкину (и самому себе), работая над «Осударевой дорогой» — завершительным романом на эту центральную свою тему.

И становится понятным гневный окрик Пришвина на «дурацкую религию Пана»: сияющий свет зеленого сол-

нечного бога меркнет перед лицом нравственного подвига, оставшегося не оправданным радостью победы.

«Соловей поет, что люди невинны. Неужели напрасно пел соловей в весеннем саду?» Одна фраза, скорее не фраза даже, а музыкальная тема, а может быть, это просто стон, — так коротко сказано в той же ранней повести. И тем не менее фраза эта центральна для всего Пришвина — человека и художника.

И вот что удивительно: она настолько не замечена и не понята, что до сих пор во всех изданиях, кроме первого и единственно полного в 1909 году, вся вступительная глава о соловье в весеннем саду выпускается.

Не услышана была эта тема и строгими судьями в литературном салоне Мережковских, которым начинающий писатель принес впервые на суд свою повесть.

«Хорошо это место, — сказала Зинаида Гиппиус, — соловей поет в голом саду».

«Мыслей вам хватит на всю жизнь», — сказал Философов. Вот и все, что заметили в салоне. А на самом деле в каком-то смысле слова «метров» были пророческими: «соловей» не покидал писателя до последних его дней, а мыслей осталось так много, что и сейчас мы их еще разгадываем.

В разгар войны — в 1943 году — Пришвин пишет свои «Рассказы о ленинградских детях» и снова заканчивает их знакомым нам соловьем: «...Соловей поет свою вечную песню радости. Маленький человечек хватается за песенку, и по песенке как по лесенке поднимается выше и создает себе новый прекрасный мир».

В дунинские годы, через полвека после впервые произнесенных им слов о всепримиряющей песне соловья, Пришвин строит на ней, на этой теме, свой последний роман и записывает в дневнике: «...Сколько страданий, сколько горя, сколько отупения... и усталости мертвой без утешения, и расставанья безвозвратного... Но ты, соловей, пой!»

Идет работа над романом... По утрам, когда все еще спят, Михаил Михайлович встречает восход солнца на своей скамейке возле муравейника и там делает обычные записи в дневник. Иногда взгляд отрывается от страницы, бродит вокруг, падает он и на знакомый муравейник, живущий рядом с его скамейкой. И даже эта мелочь возбуждает мысль; все связано для него — природное в человеке и человеческое в природе — в ее «последнем муравье». «1947 г. *25 июня.* Встречал на лавочке зарю наступающего дня, и «равнодушная природа» охватила наш человеческий мир... Это не равнодушие, а большая жизнь, великий путь, предоставленный и муравью. Иди этим путем, и ты, муравей, станешь тем же самым царем природы, каким показал себя человек.

Долго смотрел я туда, и душа моя, расширяясь, восходила как на гору, и внизу открывался человеческий муравейник... Это не равнодушие, а большой широкий путь человека».

Так скромный наш современник решается прибавить нечто свое к словам великого Пушкина. Это он позволяет себе по праву не собственного, а общечеловеческого гения в его движении все вперед и вперед.

«Ночная птица соловей поет — слышат все, а певца не видно. И если и увидишь при свете, то что прибавит к песне вид серенькой птички?»

РОМАН-СКАЗКА «ОСУДАРЕВА ДОРОГА»



Пришвин наблюдает дерево: «В каждом листике есть нечто общее с другими, и эта общность перебегает по сучкам, сосудам и образует мощь ствола и единство всего дерева... Человек... есть ствол дерева. Человек задан в природе как держава единая, его рост, его движение, его борьба за единство...»

Эти и подобные во множестве разбросанные высказывания дают нам основание рассмотреть еще одно отношение Пришвина к природе — *как к образу человеческого общества.* У Пришвина это не только философское обобщение — это наблюдение самой что ни на есть реальной жизни — ее *дела* в создании единства: сама современность наша обнаруживает, что между людьми, хотят они того или не хотят, разрушаются все границы — пространственные, национальные, и медленно, в муках, подобных родовым, мы приближаемся к единству на нашей Земле, ставшей такой маленькой и тесной, ожидающей нашей объединенной защиты. Пусть даже это единство осуществляется не всегда по желанию, но оно должно осуществляться по крайней и неотвратимой нужде.

Напомню читателю, что в первый год нашего поселения в Дунине Михаил Михайлович был на подъеме своих духовных и телесных сил и направлял их не на одно только устройство своего нового жилища. Так, когда зимой 1947 года была предпринята при Моссовете организация Общества охраны природы и Пришвину предложили стать председателем его оргкомитета, Михаил Михайлович с радостью принял это почетное приглашение. Он видел в нем «зарю близкой его душе общественной деятельности». Началась работа. На каком-то ее этапе Пришвину поручили написать программную статью — доклад о целях, которые ставит себе будущее общество. Статья эта и по содержанию и по форме вышла оригинальной, пришвинской. Однако она была забракована администрировавшими это новое начинание лицами.

Пришвин был огорчен. Он чувствовал себя как оркестрант, взявший неверную ноту. Нота была у него верная. Мы судим по тому, как современно звучит и сейчас, через четверть века, этот текст *. Но она, эта нота, была *высокой* и потому музыкально доступной не всякому слуху. Михаил Михайлович с горечью записывает, что в Обществе охраны природы доклад его не понравился (общества еще не было — было лишь несколько должностных лиц — организаторов), и сделанная запись открывает нам неизбывно живущую в Пришвине потребность участвовать в прямой общественной деятельности — в деле; это была потребность непосредственного соприкосновения с живыми людьми, а не только с невидимым читателем через книжное слово.

Влечение к прямой деловой связи с людьми в общественных целях сохранялось у Пришвина с юности, с тех пор, как он участвовал в революционной работе

* Текст статьи впервые опубликован в сборнике «Дорога к другу». М., «Молодая гвардия», 1957.

«как рядовой», по его выражению. Есть запись в дневнике 1905—1912 годов: «...Самое счастливое, самое высокое было, что я стал со своими друзьями одно существо, идти в тюрьму, на какую угодно пытку и жертву стало вдруг не страшно, потому что уже было не «я», а «мы» — друзья мои близкие, и от них как лучи «пролетарии всех стран».

Все это жило в нем до старости, несмотря на то, что в искусстве своем, целиком переключив на него свои силы, он служил опосредствованно тем же людям, тому же их обществу. Но это была работа как бы несколько отстраненная: он существовал где-то, этот человек, в образе его читателя, но невидимый, редко ощутимый. А в Пришвине жило чувство прямой, очень плотной связи с людьми, с их нуждами, с их делами. Оно давало знать постоянно в душе тревогой, неудовлетворенностью своим положением «гражданина второго разряда», как он пишет неоднократно.

Он говорит об этом часто и по-разному, но есть у него одна фраза, кажется мне, предельно выражающая это настроение; написана она уже в дунинские годы: «Материализм есть дело твоего отношения ко всему телу человечества как к своему собственному». И хотя он занимается несомненно «духом», то есть искусством слова, забота о «теле» народном никогда не покидает его.

За все дунинские годы — последние годы жизни — Михаил Михайлович ни разу не отказался ни от одного предложения принять участие в каком-либо общественном деле. Мы помним его выступления в школах, пионерлагерях. Даже в санатории «Барвиха», где он поправлялся после тяжелой болезни в 1952 году, он не принял соблазн отказаться от выступления в местной школе и был вознагражден как писатель за это сверхусилие: на впечатлении от выступления, от общения с детьми у него вырос рассказ «Друг человека».

Он признает, что его «влечет какой-то голос общественного сознания». В этом потоке он «бьется как рыба об льдины» и что-то делает вместе со всеми — плывет.

«Пусть кто-то стоит на берегу и независимо от нас, плывущих, сознает, что обладает истиной. Я согласен с тем, что вы обладаете истиной, — обращается он к стоящим на берегу потока созерцателям, — но я утверждаю, что все-таки правда у нас».

У кого «нас»? — спросим мы. И ответим за Пришвина: правда у делателей жизни, потому что слово требует своего воплощения в деле, иначе оно мертво.

Поселившись в Дунине, Пришвин все свои усилия устремляет на создание романа, посвященного теме человеческого единства, или, по его выражению, Всечеловека. Роман был назван вначале «Царь природы», позже «Осударева дорога», еще позже «Новый свет». Как ни трудна была поставленная тема, отказаться от нее он был не в силах. Дальше мы расскажем почему.

Пришвин задается целью написать вещь о возможности сочетания свободы личности («хочется») с необходимостью общественного служения («надо») в любое время и на любом месте. Речь идет о том, чтоб идти вместе со всеми «не выделяясь», причем идти по земле, а не по далеким прекрасным вершинам мечтаемого человеческого совершенства. И, что предельно важно, никогда эти вершины из виду не терять.

«Голос борьбы за первенство, за *лицо* свое говорит: «Хочу быть самим собой»; голос борьбы за организм всего человека говорит: «Слушаться надо». Вот и вся тема моего «Царя».

Прост и понятен становится нам излюбленный пришвинский образ «удобного хомута». По наблюдению Пришвина, человек, нашедший себе удобный «хомут» и несущий его на себе самоотверженно и великодушно, этот человек идет к подлинной духовной свободе, в какие бы условия внешней или внутренней зависимости ни

поставила его судьба. Для этого он должен найти в себе своего внутреннего «начальника» и ему подчиниться. «Тема начальника, — пишет Пришвин, — есть центральная тема романа, это тема человеческого мужества».

Если человек обретет в себе такую силу, ничто не может отнять его достоинство, его свободу — ни люди, ни любые несчастья. Это и есть радость жизни, «несмотря ни на что».

Пришвин ставит себя мысленно в наитягчайшие условия, в которых только может очутиться его современник, он берет на себя любые страдания, которые терпят люди по всей земле, и раскрывает нам в дневнике свой дерзкий замысел: «...Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку».

Такие слова являются поистине вызовом, обращенным к пессимистам всего мира.

Эта внутренняя победа противопоставляется Пришвиным своеволию, которое человек должен в себе преодолеть как антитезу свободы. Мы могли бы назвать своеволие эгоистическим самоудовлетворением, в каком бы направлении этот эгоизм ни проявлялся. Сам же Пришвин думает так: «Имеющий власть над природой должен отказаться от личной заинтересованности в ней. И тогда вся природа покорно ложится у его ног». В этих словах сливаются воедино природа и человек на общем пути к лучшему — к совершенству, и становится невозможным провести грань между образом природы («Большая география») и образом Всечеловека — ее царя.

Все эти размышления Пришвин пытается вложить в свой роман, в его центральный образ наивного мальчика, в историю его внутренней борьбы с самоволием за истинную свободу — за поиски своего внутреннего «начальника» и подчинения ему. На показе этой борьбы и

строится весь роман. (Очень существенно: одно время Пришвин хотел назвать свой роман «Педагогической поэмой».)

Если пробиться сквозь все напластования, продиктованные современностью, в которые писатель должен был и хотел облечь свои размышления, роман «Осударева дорога» был новым толкованием биографии автора, изложенной в незаконченном романе «Кащеева цепь». Речь идет все о том же мальчике Курымушке, но здесь у него новое имя — Зуек (так называется у поморов маленькая чайка).

Выше, в главах 2-й и 3-й, мы лишь упоминали о романе «Осударева дорога», а теперь вплотную подошли к рассказу о судьбе Курымушки-Зуйка, потому что он и есть основной герой этой нашей книги о Пришвине.

Роман «Осударева дорога» начался, конечно, с самого детства Курымушки-Зуйка. С детства в нем стремление стать собой, то есть найти свое творческое призвание в обществе. В этих поисках он испытывает разные и крайние формы «своеволия». Мы уже знаем, как он маленьким гимназистом в 1883 году убегает из Елецкой гимназии в поисках какой-то мечтаемой волшебной страны, где царит справедливость; юношей «убегает» в революционную подпольную работу. Дальше следует тюрьма, ссылка, высылка за границу... Там в Лейпциге он кончает университет (философский факультет по агрономическому отделению).

В эти годы на него обрушивается сильное чувство к встреченной им девушке, но он расстается с ней, смутно ощущая, что в его любви есть какая-то эгоистическая неправда: женщина «была лишь поводом для его поэтического полета». Он должен был духовно созреть: научиться давать, а не брать; научиться любить, а не просто любоваться женщиной. Под влиянием разрыва, страдая от него, он находится на грани душевной болезни. К этому времени он отходит и от практического ре-

волюционного дела: он понимает, что «до последней крайности не способен к подпольной работе» по самим качествам своей натуры *.

Начинающий ученый, он пишет и уже издает книги по агрономии. Однако тяготится почему-то своим делом, чувствует, что наука не его призвание, не его «хомут». Тогда он решается и круто изменяет свою жизнь.

Оказалось, если не складывать оружия и не прекращать борьбы, то эта самая борьба, ее неотступность превращают «своеволие» из отрицательной силы в положительную: она создает подлинную свободу внутреннего человека. Так было и с Пришвиным: борьба с самим собой продолжалась до тех пор, пока он не нашел свое единственное и истинное призвание — служение поэзии в форме словесного искусства, которому он и отдался безраздельно «навеки». Это был его последний в жизни «побег» — теперь уже от науки в искусство.

Сразу же в нем начинается работа, притом это работа над будущим романом, о котором сам он еще долго не будет даже подозревать. Так, в 1905 году зимой он приходит к редактору петербургского журнала «Родник» и предлагает ему *будущую* повесть о мальчике, заблудившемся в лесу, по материалам своего *будущего* путешествия на Север. В 1906 году молодой ученый по неясному зову еще не выявленного призвания бросил научную работу и с охотничьим ружьем да с заплечным мешком-кошелем пошел пешком по дикому и малоисследованному тогда Северу с целью собирать народные сказки. Он выполнял поручение ученых-этнографов и не мнил даже себя писателем. Однако задача была лишь внешним поводом, средством проклюнуться сквозь скорлупу науки и выйти из нее на свет своего подлинного призвания.

Он привез в Петербург собранные им народные ска-

* См. роман «Кащеева цепь» и рассказ «Большая звезда».

зы, тут же вошедшие в ученые труды фольклористов, и одновременно привез свои путевые заметки, оказавшиеся неожиданно для самого автора художественным произведением. Они живут и печатаются вот уже более полувека. Мы разумеем две первые книги М. М. Пришвина: «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком».

Вот где, оказывается, был зарыт подлинный мотив первой поездки Пришвина на Север. И действительно, что-то очень существенное должно было жить в Пришвине, кроме желания помочь ученым-фольклористам. Не эта подсобная работа, а что-то иное должно было дать силы, чтоб бросить место агронома, научную работу, с такими препятствиями добытый диплом заграничного университета, наконец, поставить в трудные условия необеспеченную семью, сжечь, как говорится, за собой все корабли и ринуться в неизвестное.

Это был, как мы уже сказали, непреодолимый порыв художника осознать себя, свое призвание, свое дело. Это была борьба за некую ценность и цельность творческой личности, и, что примечательно, эта борьба не прекращалась у Пришвина до конца его дней: «Чем же ты, Михаил, можешь быть полезен нашему обществу и кто ты сам?» — спрашивает себя Пришвин, признанный мастер, в дневнике на 72-м году своей жизни.

Итак, оказывается, мальчик, ради которого Пришвин поехал на Север в 1906 году, это был сам автор. Вся описанная нами борьба и поиски — это смертельная схватка с собой и за себя. Не раз стоял он у края гибели моральной и даже физической. Дважды он думал о самоубийстве. Впервые — когда Курымушку исключили из гимназии за дерзость учителю. Последний раз — в начале 30-х годов, когда в критике поднялись было гонения против его работы над темой природы: в те годы эта тема еще не была понята. Тогда шла борьба молодого пролетарского государства с

внешними и внутренними врагами; все силы были брошены на городское и заводское строительство... И борьба за охрану природы казалась несущественной. Сейчас же нам ясно: Пришвин просто опережал свое время.

Однако в поисках требуемой индустриальной темы Пришвин отправляется в 1931 году по командировке журнала «Наши достижения» на Урал, где идет сооружение огромного машиностроительного завода. Тема и материал не знакомы Пришвину. Живет он в гуще самой стройки. С новой для него природой Урала нет живой связи. Пришвин во время поездки усердно ведет записи, но художественной вещи из них не рождается.

Тогда, не отказываясь от задачи найти современную тему, он отправляется в 1933 году на Север по знакомым местам: он возвращается на свою писательскую родину.

Со времени первой туда поездки прошло уже 28 лет. Край непуганых птиц неузнаваемо изменился. Михаил Михайлович находит здесь пришлых людей — идет строительство канала по следам некогда прорубленного царем Петром кратчайшего пути «волоком» для кораблей из Белого моря в Балтийское. Пришвин застал в 1906 году ее незарастающий след. В народе сохранялось и ее название — «осударева дорога».

По новым впечатлениям, с которыми соединились те давние, Пришвин все последующие годы до конца жизни работает над романом «Осударева дорога». Уже в Дунине он подводит однажды итоги: «Итак, идея зрела 65 лет. А воплощалась она в произведение тоже немало времени... 42 года писал одну вещь, с 1905 года по 1947 год».

В работе над романом в первые дунинские годы решается его центральная тема: как выйти человеку из жизненной *обиды,* непременно настигающей каждого человека. Он записывает об этом однажды так: *«Надо* и *хочется»* начинают опять пульсировать в моей душе как общественность (долг) и как личность. С этим рож-

дается каждый ребенок, даже первым криком своим заявляя свое «хочется» против необходимости ухода за ним матери. Не всякая мать верно выполняет то, что ей надо, и не всякое «хочется» есть только вредное своеволие. Тут идет борьба равных, и хороший ребенок старается терпеть, а мать старается так пеленать, чтобы ребенок не кричал...»

Садясь в Дунине вплотную за роман, Пришвин пишет: «Первый естественный выход — это всегда протест, борьба, революция... Революция с далеких времен Пугачева и Разина шла как наводнение, срывая плотины государственных сооружений. Она шла от обиды народной и выгоняла людей, как выгоняет вода животных с их личных норок и гнезд...» Заметим: так сформировался основной художественный (символический) образ романа — образ большой воды — «великого потопа», навеянный реальной картиной затопления старых мест, обжитых людьми и животными на местах трассы канала.

В этом художественном образе — основной пафос вещи. Если же говорить о ее сюжете, он таков: мальчик Зуек служит на строительстве вольнонаемным курьером. Обиженный начальником строительства, он убегает в леса, в дикую природу, на поиски свободной жизни, где живут в гордом одиночестве, «где не работают, а царствуют». Там он сталкивается с жестокими законами, по которым живет эта девственная — якобы свободная — природа, чуть не погибает, в результате смиряется и, умудренный опытом, возвращается к людям.

«Зуек, уйдя в природу, видит, что нет ничего в природе и все (добро) от человека, и потянуло к человеку».

«Зуек — это я... Перебирая свою жизнь, вижу, что обиды в ней сколько угодно и что творчество мое вышло путем своего особого умирения* в процессе борьбы с

* Тема, идущая через все творчество и жизнь Пришвина, соединенная с образом Евгения из «Медного всадника»: «Да умирится же с тобой и побежденная стихия».

личной обидой. Мое творчество не есть обычное счастье, а усилие радостного выхода из личной обиды: это есть путь к радости, но не к счастью... Из двух разных источников вытекает довольство счастливых и творческая радость... Счастье у людей выходит, а радость достигается».

Иными словами, та «судьба-несудьба», которая дается нам без личного творческого участия, хотя она и может стать нашим счастьем, но это еще не настоящая радость. Потому она не радость, что не связана с нравственной волей человека, его устремленностью к идеалу, к тому, что он любит, во что верит. Счастье — это к себе, а радость — это от себя в мир ко всему живому и любимому. И даже сама любовь у Пришвина — это радость о бытии другого. Настоящая радость в нравственной воле человека и не может быть отнята у него, в каких бы трудных обстоятельствах он ни очутился. Создать и сохранить такую независимую радость — это и есть творческое поведение в понимании Пришвина.

Путь этот трудный, рискованный, и, видимо, к этому можно отнести и такую пришвинскую запись того же года: «Жизнь основана на доверии, которое не всегда оправдывается, значит, на доверии героическом и жертвенном». Вооруженный *таким* доверием к жизни и человеку, Пришвин и вел свою житейскую и писательскую борьбу за «лучшее» для всего живого на земле.

Особая убедительность написанного Пришвиным в том, что он постоянно черпает свои наблюдения из обыденного переживания собственного текущего дня. Так, живя в Дунине, он остается однажды в одиночестве на праздник 1 Мая, совпавший в тот год с праздником пасхи, отмечавшимся с детства. «Первый раз в жизни встречал пасху в одиночестве. Больше не буду так. Я — не демон... Одиночество противоестественно (старая дева, старый холостяк), антисоциально («лишние люди»). Природа смотрит на них как на больных и уби-

вает их. Вот почему природа и обрушивается на Зуйка как на больного.

Но в человеке большом есть власть над природой, власть, облаченная в разум. «Начальник», имеющий власть над природой, берет власть над «свободой» Зуйка. Свободу дать (в романе) как мечтательный эгоизм. «Начальник» — это закон необходимости».

В написании романа была непреодолимая трудность: автор должен был найти выход из обиды не для одного Зуйка, а для всех участников действия. Но действие шло в романе на фоне строительства канала, совершаемого людьми, привезенными «для перековки» (так говорилось в 30-х годах). В этой обстановке было много неразрешимых нравственных противоречий, и разрешить их по совести в литературном произведении было трудно. Можно было бы перенести место действия в иную обстановку, иную природу, но этого сделать Пришвин оказался не в силах (хотя, как мы увидим далее, и пытался).

Все началось в тот момент, когда ему неожиданно и мгновенно открылось в *образе* значение стихии воды как общего материнского начала жизни на земле. И тут же этой стихии противопоставилась значимость каждой составляющей ее капли: капля — и вся стихия воды; личность — и общество; личность — и вселенная. Вот и все центральное событие в жизни этого человека, то мгновение, когда он превратился в художника. Случилось это со скромным агрономом Пришвиным при первой его поездке на Север в 1906 году на берегу Надвоицкого водопада, ставшего впоследствии центральной точкой в строительстве водного пути.

Отныне Пришвин навечно связан отданностью этим образам и местам, вошедшим в его сознание художника за две поездки в Беломорье и Карелию. Об этом он сам свидетельствует.

В романе Пришвин показывает рождение высокой человеческой личности из безликой «человечины», он как бы прорывается сквозь историческую необходимость к высшей для него эстетической ценности — к прекрасной личности человека, к тому, что, по его словам, «выжало» из себя человечество на своем бедственном пути.

Это дано в двух лицах. Первое — старик Волков, бывший миллионер. Он был стяжателем ради самого идеала стяжания, своеобразным поэтом «вечного рубля», владеющего миром. Пройдя все злоключения, он достигает нравственного перерождения, освобождается от своей страсти, больше того, он становится авторитетом для всех окружающих, и сам начальник строительства проникается к нему уважением и доверием.

Образ старика не выдуман. Автобиографические записки талдомского купца Волкова попали в руки Пришвина в 1922 году и поныне хранятся в архиве писателя.

Второе лицо — основной образ романа — ребенок, поморский крестьянский мальчик Зуек, чистый, только вступающий в жизнь.

Отбросив у Пришвина все его разнообразные размышления на пути писания романа («леса», как он их называет), мы извлекаем из них основной корень или смысл. Это образ ребенка в его постижении мира. Пришвин называет детское постижение поэтическим. Ребенок наблюдает мир бескорыстно, то есть не подставляя, не навязывая свои вкусы и оценки. Ему чужд вторичный процесс формулировок, обобщений, теоретизации, руководящий взрослым человеком, творцом всяческих систем. Ребенок принимает мир, не требуя сведения в единообразие всех несводимых противоречий жизни. Для него нет мучительных вопросов, поставлен-

ных Пушкиным в «Медном всаднике», преследующих и нашего автора всю его жизнь *.

Для ребенка мир — волшебная сказка с любыми, самыми фантастическими выходами из неразрешимых для взрослого противоречий; да он и не требует разрешения: мир для него гармоничен и прекрасен в его простой данности.

Вот почему только ребенок может смыть с лица жестокой человеческой истории следы крови и слез. И вот почему Пришвин пишет: «Сила варвара есть сила ребенка. Дети заметают следы прошлого».

«Разве зеленые листики помнят о прошлогодних, ставших теперь удобрением? И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня в надежде на что-то новое, небывалое?»

«Тут, вероятно, — пишет Пришвин в другом месте, — не обойдешься без приема уничтожения времени...» Иными словами, скажем мы, без приема сказки.

В Дунине Пришвин вплотную садится за роман, который он так и называет: «Роман-сказка». Он записывает себе напутствие: «Итак, выхожу один я на дорогу. И какой это кремнистый путь, и как больно ступать босой ногой. Но я слышу, как говорят звезды, и иду».

Через два дня запись как концентрация предыдущей:

---

* Очень важна и интересна смена эпиграфов, по которым, как по вехам, шел роман у Пришвина в течение двух десятилетий его обдумывания. Первый: «Ужо тебе, Строитель!» Второй: «Да умирится же с тобой и побежденная стихия». Вся дальнейшая история романа есть, по существу, борьба этих двух противоположных по значению мыслей, пока в длительной борьбе неподкупной писательской совести не родится третий эпиграф, взятый из древней книги псалмов Давида: «Аще сниду во ад, и Ты тамо еси».

«Вся моя жизнь с колыбели была борьбой за личность — это моя тема и как писателя: выхожу я — и со мной выходит весь мир».

Некоторые друзья робко отговаривали Пришвина от работы над романом. Не буду скрывать, что это делала и я, хотя бессильно и даже вредно вмешательство в работу художника: он обречен на это правом своего призвания. Художник в подобном случае должен *изжить* себя в самом процессе писания, каковы бы ни были результаты его работы. Случается, иногда он их сжигает...

Понимала в какой-то мере тогда это и я, но все же выражала Михаилу Михайловичу свои сомнения в возможности раскрыть тему на материалах строительства канала. Так, в те же дни, к которым относится только что прочитанная запись, мы находим в дневнике следующий наш с ним разговор: «Л. вчера высказала мысль, что роман мой затянулся на столько лет и поглотил меня потому, что был порочен в своем замысле. Из-за этого будто бы мне явилось препятствие, которое потом пришлось годами преодолевать, потому что в сделанных моей фирмой вещах я не могу быть нечистым».

Ровно через год — новая запись о том же (теперь Пришвин занят переработкой романа и называет его «Новый свет»):

«Л. сказала про «Новый свет», что я легкомысленно взялся за тему...»

Вот как отвечает Михаил Михайлович размышлениями в дневнике на все эти мои сомнения: «Не порочность, — ответил я, — какая порочность в том, что я строительство канала пожелал отразить в детской душе, воспринимающей жизнь поэтически. Никакой порочности в этом нет, но, может быть, легкомыслие. Есть положения в жизни, когда легкомыслие обязательно и даже играет свою полезную производственную роль. Взять выбор супруга, а между тем от этого выбора зависит

судьба нового человека на земле. А у кого нет легкомыслия, тот засмысливается и остается холостым и бесплодным.

Кто бы, правда, стал бы детей рождать, если бы понимал, какой несет он ответ, кто бы взялся за перо писателя, если бы вперед знал, чего стоит по-настоящему рожденное слово».

Еще несколько записей Пришвина, говорящих о неистребимой вере в добро жизни, в конечное его торжество:

«Любить жизнь, значит забывать все плохое («переживать») и удерживать все хорошее. Огромное большинство молодых людей этим и живут. Но есть вера и решимость другая: молодой человек просит, чтобы ему все понять, не забыть и не простить.

Наша революция вышла из этой последней решимости, а когда она победит врагов и будет людям жить все легче и легче, эта злая вера растает в естественной жизненной вере в торжество добра забывать плохое и сохранять хорошее».

«Знаю, что подстилало доброе дело постройки канала, но я хотел не о подстилке писать, а о том, как по-доброму отразилось в душе мальчика строительство канала. Гадость подстилает все на свете. Гораздо труднее найти хорошее. Не порочность в основе моей работы, а здоровье и добро, а долго писалось потому, что трудно было справиться с мерзостью и вытащить из нее душу младенца.

Посмотрите на докторов: один ищет болезнь и находит, другие ищут здоровья и тоже находят, что каждый человек, кроме безнадежных, чем-то здоров. Тот доктор, находя, чем жив человек, поощряя здоровье, преодолевает болезнь. Я хотел найти добро... Вот отчего начиналась борьба: добро мое боролось с наличием зла».

«...В общем как художественное произведение это не кристалл, подобный «Женьшеню» или «Кладовой солн-

ца», и в этом не я виноват, а... жизнь не вызрела для ее изображения».

«Итак, мне как автору необходимо подчинить себя, свое мнение, свое «Хочется» творимому единству мнений, называемому у меня в романе именем «Надо». Словом, я сделаю с собой то самое, что сделают с собой все мои герои — строители канала... Все мы освещены светом этого «Надо». И это «Надо» несет нам ветер истории...»

Когда Пришвин обращается к наблюдениям окружающей его обычной жизни, он убеждается в правоте своего замысла. Он никогда не пренебрегал возможностью поделиться своими размышлениями с разными так называемыми «простыми людьми». Вспоминаю: рядом с нами в Дунине стоял бедный, приходящий в упадок дом одинокого соседа Егора Александровича Сечкова. Это был молчаливый, углубленный в себя человек, возбуждавший всеобщее уважение и симпатию. Бывший крестьянин, теперь инвалид, отравленный газами в первую войну с Германией в 1914 году. От больных легких он и скончался. Беседы с ним у Михаила Михайловича были одним из многочисленных родников его романа.

Однажды Пришвин застревает на машине неподалеку от дома Сечкова. Егорушка приходит на помощь своему приятелю. Запись: «Егор Александрович (сосед), помогая вытаскивать машину, сказал: «На молодых людей сейчас нельзя положиться, и знаете отчего? Оттого, что их соблазнила свобода, и они за свободой идут, не понимая, что свобода стоит большого труда, и даже так, что чем свободней человек, тем ему и трудней».

Когда же Пришвин обращается вновь к роману, он переходит на язык символов, иносказаний, иногда не сразу читателю открывающийся.

Но художественный образ говорит нам подчас боль-

ше многих научных и логических доказательств. Вот, например, в «Осударевой дороге» рассказ кончается картиной великого и страшного разлива на зоне затопления. Мы видим водяную крысу, спасающуюся от воды, и мы узнаем свое родство с маленьким умным животным, когда в глазах его мелькает отблеск разума *. Мы видим подобную же борьбу за жизнь в Зуйке, но он, человек, борется уже не за одного себя — он борется за всех животных, собравшихся на его плавине, и он спасает их.

Перед нами проходит сложная жизнь, исполненная силы, величия и тайны. Но у человека — царя природы — нет еще и, возможно, никогда не будет последнего слова ее понимания: «Так ответ на вопрос и откладывается до новой встречи с большой водой... и опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана».

Так поэтически недосказанно кончается роман. Недосказанность — свойство самой поэзии, — выход, условие для дальнейшего движения. Недосказанности не избежать не только поэту, но и каждому внутренне движущемуся человеку, который ощущает себя частью великого Целого: всего сразу никто сказать не может. Жизнь неисчерпаема.

* Много раз приходилось мне наблюдать, что образ водяной крысы вызывает брезгливое отношение у читателя. Но откуда же у Пришвина такое к нему внимание, такое родственное тепло? Появившись впервые в «Лесной капели», он неизменно с тех пор живет и в «Осударевой дороге», и в «Корабельной чаще»... Что видит в нем Пришвин и что не видно нам? Оказывается, уже издавна ведет Пришвин эту борьбу за достоинство невинных животных, которым так часто приписывает человек свои собственные пороки: так, мудрый в своем терпении осел стал «ослом»; пауки — эти, по Пришвину, «артисты труда» — стали «кровопийцами». Водяной крысе будто бы и нечем «оправдаться»... Но Пришвину открылось однажды ее лучшее — это был огонек мысли, вспыхнувший в ее глазах в момент страшного испытания: он видел это и нам свидетельствует.

Чтение романа требует от читателя особого внимания, которое мы можем назвать только одним словом: сотворчество.

Иного выхода Пришвин не видел — можно было только сжечь рукопись и так отделаться от романа навеки. Об этом он думал не раз.

«Кончаю «Царя». Остается немного — и 14 лет труда оправдаются, нет — так пропадает, никто не разберет, о чем я писал и чего я хотел. Так вот и сходится жизнь к концу, будто я рыба и вхожу в узкую мотню. А раньше, бывало, не только людям дивился, но и собакам, кончающим жизнь на гону. Это славная смерть на гону. Только лучше, конечно, чтоб успеть зайца загнать...»

Роман был закончен, и с осени 1947 года начались его блуждания по рецензентам. Почти все требовали — кто существенных поправок, кто полной переработки. В 1948 году Пришвин вносит поправки и отдает рукопись в журнал «Октябрь». Журнал печатать отказывается. «Это был такой удар по голове, что я заболел».

Пришвин решает теперь перенести действие романа в другой край и изобразить строительство гражданское, связанное с электрификацией края. Называется этот вариант «Новый свет». Вариант вновь встречает препятствия: «...хотят заставить переделывать. Это меня срезало до чувства смертельной тоски (знакомое, редкое и страшное чувство). Спасаясь от боли, уеду и поручу все Л.». Пришвин делает эту запись 26 марта 1949 года и тут же спешно уезжает в Дунино, а я остаюсь в Москве работать.

Запись уже в Дунине: «Переживаю крушение моих многолетних трудов».

Михаил Михайлович бросился за утешением, за спасением к природе, и она не обманула его: «...боже мой, как встретили липы на месте тяги! По-своему они мне что-то сказали, и я знал что, но слов не находил. В них

был уже сок, как и в березах, но листьев не было: стояли черные неодетые стволы, и они-то и говорили, что им надо все выше и выше... Вот там дальше в лесу — все гуще, а им все выше. *Это* они и хотели сказать».

Летом 1949 года Михаил Михайлович начинает еще один новый вариант. Всего вариантов романа было пять.

Запись 16 июля 1949 года: «Опять сижу над переработкой романа... Было в романе столько заплат, что совсем уже не могу судить сам. Пусть люди судят. Роман не то, что я хотел».

Вот почему после кончины Пришвина мы недолго колебались между двумя решениями: похоронить его для потомков либо публиковать в начальной редакции. Это последнее решение перевесило хотя бы потому, что осталась четкая запись автора: «Свидетельством моего художества останется непереработанный экземпляр».

Роман был вместилищем многолетних размышлений, более того — своеобразной копилкой совести. Он не мог отпустить от себя автора: тема всей жизни и работы ждала своего разрешения. Но не одна только тема — сам образ северного края, образ великого разлива не отпускал от себя художника. Нельзя забывать, что Пришвин называет себя «по природе своей живописцем».

Борьба с собой у Пришвина была трудная, безысходная. Он был в те дни как распятый.

Наступает поздняя осень 1949 года. «...Подумываю, не удрать ли вовсе из литературы. Можно бы дачу продать... устроиться в маленькой избушке: корова, поросенок, куры... Да так бы и жить потихоньку? Так мы с Л. верно и сделаем».

Проходит еще два года. Пришвин как будто освободился от романа и даже объясняет почему: «Мне... не по силам было разрешение борьбы «хочется и надо» в

«Осударевой дороге»... «Хочется и надо» (свобода воли и долг, личность и общество) — это предмет размышлений всей философии, и эта тема забивала каменным обломком мой поэтический путь».

Казалось бы, надо отказаться от романа, как от «каменного обломка», мешающего на пути. Но уже через несколько дней, 18 апреля, автор возвращается к роману: «Я почти снова решил взяться за «Осудареву дорогу» и до тех пор не тратиться по мелочам, пока не одолею эту дорогу, как дорогу к другу.

Моделью и маяком у меня будет Л. с ее верой, направленной к другу и таким образом включающей и коммунизм как материальное устройство человека здесь, на земле...»

Ряд дальнейших дневниковых записей автора, приведенных нами в хронологическом порядке, лучше всяких наших разъяснений расскажут читателю о последней работе Пришвина над романом, прерванной кончиной:

«*12 мая.* Современность определяется на дороге к другу.

15 июля. Хорошо бы переделать «Осудареву дорогу», то есть осуществить замысел первоначальный: изобразить рождение коммуниста в мальчике Зуйке на фоне крушения старого мира и борьбы и восхождения нового. Мудрость автора должна сказаться в том, чтобы дать картину возможного коммунизма, в который все мы верим, который должен победить, и отделить его от картины провалов на пути к цели... Но дело в том, что в моей душе содержится евангелие коммунизма, и оттого все, что ниже его, все, что есть «заменитель» (как «подходящее»), не выйдет из-за моей совести.

21 июля. «Осударева дорога», к счастью ненапечатанная, есть картина совершенного посрамления автора в его попытке сомкнуть прошлое с настоящим.

20 сентября. «Осударева дорога» в новой переработке есть поэтическое объединение истории, географии и

биографии. Задача стала большая, сделано так много, что стоит постоять за работу.

До сих пор «Дорога» не выходила у меня потому, что я не мог себе представить чекиста, как мне надо, хорошим человеком. Когда же я встретил О. и понял этого коммуниста как человека в процессе современности с устремлением к лучшему — этот герой был найден.

8 октября... Падение мое в том, что я начинаю видеть в нашей жизни все больше и больше дурного... Между тем раньше-то, когда я писал «Женьшень», «Кащееву цепь» и подобное, не меньше было всяких гадостей, но я не глядел на них и давал людям добро.

6 декабря. Вчера пробовал читать «Осудареву дорогу», и эта книга мне показалась картиной моей борьбы и моего поражения. Решаю прочитать всю книгу с карандашом и отметить там, где я уцелел как художник, и попробовать на основе этого материала сделать новую вещь.

1952 год. *18 января.* Начал новую переработку «Осударевой дороги» и благодарю всех, кто не дал ее до сих пор напечатать».

Эти записи Пришвина со всей ясностью говорят, что в переработке романа были «виноваты» не только рецензенты. Дело было в противоречиях, живших в душе самого писателя, между которыми он и метался.

Написать новую вещь на основе романа Михаил Михайлович не успел — все оборвала кончина. Мы опубликовали, как уже было нами выше сказано, первую основную редакцию с присоединением того материала, который был отобран автором при этой последней начатой им переработке, где он «уцелел как художник».

В Творце всегда скрыт и молчаливый Судья. Как хорошо, что Пришвин, усомнившись в своем романе, успел об этом сказать! Но в то же время он и не отказался от своего творения, он продолжал над ним работу. Вот почему мы должны с еще большим доверием отнестись

сейчас к художественным и нравственным находкам Пришвина в его «Осударевой дороге».

Мы думаем, «ошибка» романа-сказки у Пришвина заключалась в том, что он был именно *сказкой,* иными словами, в основе произведения лежала не документальность, которую рассчитывал увидеть читатель, привлекаемый внешне историческим сюжетом (строительство канала), а символ. Толкуемый внешними фактами, символ одновременно углубляет смысл этих фактов и объединяет духовный опыт человечества. Речь здесь идет у нас о простом — о богатстве ассоциаций, в чем и есть, по существу, смысл культуры.

Сам Пришвин так точно и говорит, что «Осударева дорога» есть выражение именно *этого* направления его в искусстве: «...не документальная точность, а мифичность — вот что, весьма вероятно, даст нам литература ближайшего будущего. А между тем я этим занимаюсь уже полстолетия, и никто не хочет этого понимать. «Осударева дорога» — высшее выражение этого моего направления» (4 августа 1948 г., дневник).

Тут происходит как бы невольный «обман» читателя: сообщая отражаемым в романе-сказке фактам и образам символичность, Пришвин выходит тем самым из времени, в котором живет его читатель, которому тот либо просто радуется, либо так же просто им болеет. Вот почему замысел Пришвина подчас не сразу бывает понят.

Пришвин пытается объясниться с читателем так: «К сказкам, поэзии все относятся как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю?»

«Ошибка» сказочника была неизбежна для такого искреннего художника, каким был Пришвин, и мы понимаем: жизненное дело Пришвина было в каком-то смысле *глубже* искусства, оно было неким нравствен-

ным усилием человека, а не просто радостью художника («певец природы»!). Нет, Пришвин не воспевает, а старается ее спасти, если только под словом «природа» понимать не одни стихии и бессловесную тварь, но и человека с его духовным опытом, и всю его историю на земле..

Спасать — значит, в частности, сохранять смысл прожитого, сотворенного и роковым образом уходящего в небытие. Это и делает, в понимании Пришвина, легенда: «...эта-то мысль и приводит меня теперь к реализму легенды, что именно легенда есть связь распадающихся времен... Сказка — это связь приходящих с уходящими».

Так говорит Пришвин и тут же доверительно открывается нам: «Только одно к этому запомните, деточки, что жизнь для игры и сказки трудней и больней. Сказки мои — это могильные холмы, в которые я зарывал сокровища своей личности».

Вглядевшись в жизненный путь Пришвина и вдумавшись в его слово, мы должны понять, чем была для Пришвина его сказка и чего она стоила ему.

Вспомните, читатель, как в начале нашего повествования мы вглядывались в старинный портрет Курымушки: лицо мальчика серьезно, почти сурово. Мы прочли там и свидетельство самого Пришвина: он рожден был без улыбки и только постепенно эту улыбку — эту радость — *наживал*. Так шло сквозь долгие годы единое переживание как труд его души. В свои 50 лет он пишет: «...Оглядываясь на творчество природы, мы успокаиваемся тем, что видим свое в ней как частность, и, значит, круг нашего человеческого размыкается, трагедия частного, разрешаясь в очертаниях всего мира, обещает гармонию: спасение мира. Этот выход из трагедии частного освобождает такое же огромное чувство жизнерадостности, как таяние льда скрытой теплоты весенней порой».

Это было у Пришвина не холодным умозаключением, а художественным прозрением, захватывающим своей достоверностью. Недаром запись эта заканчивается убежденными и радостными словами: «Раз испытавшему это чувство хватит на всю жизнь... оптимизм становится возможным при условии личной трагедии. Вот источник моего оптимизма...»

По существу, у Пришвина речь здесь идет об античном классическом понимании трагедии как «катарсисе» (очищении) *, хотя, несомненно, он во время писания о такой параллели не думал и шел путем самостоятельного опыта.

Теперь, в дунинские годы, перед нами старый человек, осмысливающий пережитое. Но и на восьмом десятке лет все тот же неизменный образ мысли: он пишет о радости, которая «является последствием трагедии». Иными словами — о той победительной радости созидания, которую человек осуществляет в природе своими усилиями, вмешиваясь в жестокую трагедию жизни в ее становлении. «Сказка» художника (радость!) и заключается, по Пришвину, в том, что она *достижима* и ее, как лично сотворенную, невозможно у человека отнять.

И тогда образ ребенка у пульта управления водосбросом становится выходом из всех жизненных исканий человека и художника. Это его победа **.

Так мы и закончим утверждением самого автора:

«То, что я хочу вложить в душу героя моего мальчика Зуйка сказку, — это есть праведная радость жизни, законное разрешение трудового процесса и душевной борьбы удовлетворением. Только злой, дурной человек

* См.: А. Ф. Лосев. История античной эстетики. М., «Искусство», 1975, с. 202—206.

** См.: там же, с. 296: «У Гераклита: ...«царство (над миром) принадлежит ребенку».

не имеет в жизни минуты для расширения души, обнимающей Целое (сказки).

В сказке благополучный конец есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшей ценности жизни. Сказка — это выход из трагедии».

Речь у Пришвина идет о сказке отнюдь не как о литературном жанре, а как об особом даре или способности видеть жизнь и понимать ее. Все свои крупные произведения последних лет М. М. Пришвин называл сказками.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПРИШВИНА



сть любители цветов, и есть любители букетов. Для этих последних отдельный цветок — только материал для букета. Подобно этому для некоторых читателей так называемая малая форма в прозе всегда является второстепенной, хотя для поэта, пишущего рифмованными строками, эта форма признается канонической.

Интересна характеристика у Л. Н. Толстого произведений так называемой афористической формы: они «всегда привлекают своей искренностью, изяществом и краткостью выражения; главное же, не только не подавляют самостоятельную деятельность ума, но, напротив, вызывают ее, заставляя читателя или делать дальнейшие выводы из прочитанного, или, иногда даже не соглашаясь с автором, спорить с ним и приходить к неожиданным заключениям» *.

Мыслитель-теоретик, создатель любой системы, мыслит отлитыми раз навсегда из какого-то твердого металла формами. Он мыслит как бы для всех народов и на все времена. Такая мысль требует прямолинейности

* Предисловие к сборнику «Избранные мысли Лабрюйера и других французских мыслителей».

(и в этом смысле простоты или упрощенности — это я отношу в основном к теориям моральным); здесь секрет ее доступности, но в то же время угроза превращения современниками в нравственный диктат, а самого мыслящего в фигуру проповедника.

Поэт страшится плена этой раз навсегда отлитой формы. Мысль свою — этого живого голубя, бьющегося в сердце, — он страшится увидеть застывшей в принципе, как, например, Л. Толстой обречен был ее увидеть в «толстовстве».

Пришвин предпочитает оставаться другом, обращенным к своему неведомому читателю, шепчущему ему на ухо свои догадки. Это тоже «метод», но это метод силы совместного исследования: «Ты существуешь, мой друг, ты видишь в мире то же, что и я, — значит, и я, и мир, и мысль моя о мире — реальность». Этот метод не может владеть общим умом и быть проповедан с трибуны. Он может быть выражен и передан другому человеку только в образе искусства.

Когда удается высказаться и друг твой тебя поймет, тогда цель жизни достигнута, и это — счастье. Но когда мысль остается спрятанной за словом и друг тебя не услыхал, остается уползать, скрываться, претерпевать боль. Прячутся по-разному — в рассеянность, в разгул, даже в длительное путешествие. Пришвин не прятался во внешнюю жизнь, а возвращался к себе самому — к своим ежедневным утренним размышлениям, в которых черпал новую силу. Для чего? Чтоб вновь устремиться к другу, к человеку — единственной цели, к которой был направлен его жизненный труд.

Всю жизнь происходит эта беседа в форме дневника. Большей частью это короткие записи. Иногда они недоработаны, оборваны. Иногда — в совершенной законченной форме. В конце жизни Пришвин четко определяет их место в своем творчестве: «Я написал несколько томов дневников, драгоценных книг на время после

моей смерти... Мне, однако, остается большая работа для отделки этих книг».

Дневники — это и вольная жизнь своей души, и отражение окружающей жизни, и записи в связи с произведением, над которым сейчас идет работа. Так, в 1948 году, полный сомнений о романе «Осударева дорога», ведя бесконечные его переделки, Пришвин готовится к окончательному поражению многолетней своей работы и, что характерно, тут же собирается с духом, чтоб неудачу обратить в силу на помощь новой работе: «Если мою вещь забьют, начну энергичнее складываться... Складываться — значит перед отходом своим засыпать в закрома зерно свое, сложить в омет солому, отнести мякину (халуй) в половень (елецкое слово), вымести все начисто на гумне воробьям и голубям, а что не успел обмолотить, сложить в скирды — это обмолотят после меня».

Так велико было для Пришвина значение его работы над романом, так много было вложено в него борющихся между собой положений и идей, так трудна была общественная обстановка тех лет для писания, что Пришвин не обольщал себя результатами этой работы и даже преуменьшал подчас ее достоинства: «Осударева дорога» сама по себе не вознаградит мое усилие. Но что-то, чувствую, есть в этом труде ценное бесспорно. Это совокупность усилий, это труд всей жизни; совокупность, пожалуй, вознаградит, и значит, я был прав в своей мечте: неведомая страна существует, и это есть моя родина».

Теме родины — любимой им России — Пришвин посвятит свое следующее и последнее в жизни крупное произведение — «Корабельная чаща». Повесть уже зреет, стоит у порога, но сам автор этого еще и не подозревает: от тоски, от неудачи с романом он спасается сейчас в своих дневниках. Впрочем, эта мысль о «спасении» высказывается уже в первый дунинский год, еще

до краха с романом. Это как бы программа на будущее. 27 мая 1946 года Пришвин пишет: «Приканчиваю «балансирование», то есть писание, подгоняемое нуждой, каким была мне литература всю жизнь. Я займусь тогда своими дневниками, выводами и детской литературой. Ссылаясь на свой возраст, я прекращу все выходы в «свет».

1948 г. *4 июля:* «Мелькает мысль, чтобы бросить все лишнее — машину, ружья, собак, фотографию и заниматься только тем, чтобы свести концы с концами, то есть написать книгу о себе со своими всеми дневниками».

21 сентября: «Работа над дневниками, конечно, приведет меня к чему-то большому, будет ли это своеобразная биография М. Пришвина, или новый роман, или трактат вроде «искусство как образ поведения».

1949 г. *8 июня:* «Переписка и очистка дневников стала у меня каким-то душевно тонирующим средством».

Интересна характеристика самого Пришвина этой своей литературной формы: он записывает так в 1940 году, во время работы над «Лесной капелью» — первой книгой, составленной целиком из дневниковых записей почти без изменения первоначальных текстов:

«Миниатюра как искреннее, пока писатель не успел еще излукавиться в записи преходящего мгновения жизни. Эта капля, это проходящее мгновение действительности, всегда оно правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма: сердце не ошибается, но мысль должна успеть оформиться, пока еще сердце не успеет остыть... Я долго учился записывать за собой прямо на ходу и потом записанное дома переносить в дневник... Но только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить... Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их».

Все годы дунинской жизни я продолжала переписку дневников, начатую нами совместно во время войны в эвакуации, где было тогда у обоих много досуга — мы жили в лесу, отрезанные войной, в полном одиночестве. Михаил Михайлович и в Дунине постоянно работал над дневниками, следуя по моей переписке, но только временами: он был занят всегда какой-либо вещью для печати.

Какое значение для Пришвина представлял его дневник, можно судить хотя бы по следующему его высказыванию: «Наверное, это вышло по моей литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников». Иными словами — на усилие понять жизнь и в этой жизни себя самого, а не на осуществление профессиональной задачи — облечь размышления в форму, в которой они немедленно дошли бы до читателя.

Это не мешало Пришвину относиться к себе и своей работе с требовательностью и, значит, нетщеславностью подлинного художника: «И теперь, как сорок лет назад, каждый рассказ свой отправляя в редакцию, в глубине себя одеваюсь в рубашку смирения. Но они прекрасны, эти рубища! Они состоят из крови и нервов настоящего артиста... И когда я нахожу в себе эти сомнения — я артист». И как понятна требовательность к себе, граничащая с самоуничтожением, с которой сделана запись в 1952 году: «Приехала еще одна женщина и переписывает с Л. мои дневники. Думаю, не слишком ли, что переписывается такая дребедень».

Не будет преувеличением сказать, что Михаил Михайлович в какой-то степени жил своим дневником — это было его второе отраженное существование. Это дневник меняющегося, ищущего человека, не останавливающегося и не тускнеющего до последнего своего дня. Поэтому как не выдуманное, а подлинное отражение жизни дневник исполнен и света и тени, и ошибок

и прозрений. Прочитанный от начала и до конца, он представит собой искреннюю повесть о своем времени и о себе самом — повесть о созревании в жизненной борьбе души художника и человека.

Дневник в течение многих лет был единственным подлинным другом и собеседником писателя. Таким образом, ведение дневника превратилось у Пришвина в насущную потребность, в условие существования.

Однажды, это было еще до революции, Пришвин спас свои дневники во время деревенского пожара. Он вбежал в горящий дом и выхватил одни только тетрадки дневников. «Так все дочиста у меня сгорело, но слова мои не сгорели. Нес я эти тетрадки — эту кладовую несгораемых слов — за собой всюду... Мои тетради есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни».

Так мы и повторим сейчас вслед за Пришвиным, что дневники были для него делом его совести и в этом смысле он вел их без всякой мысли о печати. Но, конечно, они были и «кладовой», откуда он черпал и мысли и образы для своих профессиональных производственных целей. Все это на фоне личных переживаний и общественных событий записывалось изо дня в день с точностью летописца и волнением непосредственного участника — творца и художника собственной жизни. Вот почему трудно преувеличить значение пришвинского дневника и для нас, читателей-друзей, и исследователей, и для будущих историков.

«Что важнее для меня — искусство или жизнь?» — спрашивает однажды Пришвин. И где — продолжим мы его вопрос — реальная грань между ними?

Заметим: современный читатель разыскивает в огромном потоке всего печатаемого мемуары, письма, даже какие-нибудь сухие ведомственные распоряжения или деловые записи, сухие, но подчас многоговорящие... И конечно, дневники — эти драгоценные документы

жизни, большинство которых тонет в безвестности и лишь немногие после кончины писавшего получают право на существование.

Все это — документальная литература. Она не сочиняется, а рождается самой жизненной нуждой, переживаниями ли души или внешними обстоятельствами. Чем объясняется обостренный к ней интерес? По-видимому, стремительностью и остротой переживаемого. Нам нужно не только художественное переосмысление жизни, но голая правда о ней.

Вот что пишет об этом сам М. М. Пришвин в дневнике 1930 года:

«Назовите хотя бы один роман нашего времени, начиная читать который не приходилось бы преодолевать некоторой неловкости, а часто и стыда за автора: зачем он заводит, думаешь, свою игрушку в то время, когда нам всем не до игры и вообще не дети мы, чтобы обманывать нас какой-то фабулой... Романов таких, если только в них с самого начала не вплетено что-нибудь философское, *для чего,* собственно, движется, скрипит и визжит избитая телега, — таких романов уже не может быть. Расчитаешься — ничего. И есть читатели, и долго-долго они будут рождаться и жить, такие невзыскательные и наивные, они берут в руки роман не для того, чтобы творить возможные пути жизни или образцы вслед за автором, а только отдохнуть, забыться и потом бросить «книжонку». Читателю просто, но как писателю делать роман, если необходимая наивность для этого дела кончилась. Возьмешь Мериме, Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, их читаешь без неловкости, но берешь современного романиста, который строит роман во всех отношениях лучше классиков, и как-то с трудом и неохотой расчитываешься.

Поверьте — это я не в дудку тем старикам читателям, которые признают только памятники своей эпохи. Нет, я больше думаю о самом писании, чем чтении: читать-

то можно, а вот как писать роман, если форма его для нас теперь как гнездо, из которого птицы улетели и не вернулись...»

Вот почему такая тяга была у Пришвина к дневнику, который стал кладовой его раздумий, философских размышлений, поэтических наблюдений.

Интересно высказывание К. А. Федина о дневниках М. М. Пришвина из неопубликованного письма:

«Прочитал дневники Михаила Михайловича за 1951—1954 годы. Несмотря на сокращение, они дают очень много для образа писателя. Прочитывая эти страницы, перестаешь быть в обычном смысле читателем, словно находишься где-то рядом с М. М. и вместе с ним обсуждаешь его темы, иногда споря с ним, и потом вдруг соглашаешься с его возражениями. Этот разговор бесконечно увлекателен. Похоже, что ты участвуешь в сочинении с Пришвиным его произведений, и произведения становятся твоими».

А вот что писал Б. Л. Пастернак в неопубликованном письме по поводу первого чтения им книги дневниковых записей М. М. Пришвина «Глаза земли»: «Я стал их читать и поражался, насколько афоризм или выдержка, превращенные в изречение, могут много выразить, почти заменяя целые книги».

Вызывала удивление и величайшее уважение эта неуклонная работа над впечатлениями прошедшего дня утром последующего. Пришвин не позволял себе никаких скидок в этом деле на настроение, обстановку, здоровье. День, не попавший в дневник, в каком-то смысле был для него только черновым наброском для еще не написанной картины. Часто он ложился спать раньше для того, чтобы скорей наступило утро, когда он запишет минувший день: вечером он, по его признанию, был «не работник», не верил своему вечернему

восприятию и, по-видимому, до вечера не сохранял необходимых сил.

До глубокой старости он был в течение дня неизменно деятелен. Время проходило в Дунине не только за письменным столом — оно было заполнено и уходом за машиной, которую он сам водил и обслуживал. И фотографией, служившей ему «записной книжкой». И чтением. И прогулками пешком. И поездками на машине главным образом все с той же писательской целью. И беседами с каждым, кто искал его общества. Но раннее утро — «заутренний час» — Пришвин не уставал прославлять как время гармонического настроя человека в унисон со всей природой и потому как лучшие его рабочие часы.

Его «знобит» от восторга в этот час пробуждения к деятельной жизни отдохнувшей природы, природы, омытой ночным молчанием и сном.

Иногда даже ночь прерывалась осторожно зажигаемым огоньком маленькой настольной лампы у его постели, и в дневнике появлялась запись, сделанная на ощупь, почти в темноте.

Днем мы заставали Михаила Михайловича с записной книжкой в самой разнообразной обстановке. Один и в обществе людей, и за рулем машины, во время прогулки на ходу Пришвин неожиданно вынимал свою записную книжку и с характерным выражением сосредоточенного внимания к внезапно посетившей его мысли, то вглядываясь поверх очков в пространство, то на бумагу, решительно покидая своего собеседника, он делал короткую отметку карандашом. На следующее утро заметки дня с присоединением всего незаписанного, лишь хранимого в памяти, переносились из карманной записной книжки в дневник уже за письменным столом, а очень часто и за ранним одиноким утренним чаем в обществе неразлучной собаки. Вот как, например, отмечаются в дневнике эти рабочие утра: «Работаю с утра

на веранде. Петух начинает мой день... Земля приморожена и слегка припорошена по северным склонам. Пью спокойный чай на темнозорьке... Солнце выходит золотой птицей с красными крыльями, над ним — малиновые барашки».

Дневник Пришвина — это, вероятно, высшее в его искусстве. Или скажем иначе: это нечто более глубокое, чем просто искусство... Может быть, в нем мы вступаем в ту область, которую Прившин назвал «искусство как поведение».

Как понимать это определение? Я понимаю его так: Пришвин требует от себя как от художника полной отдачи своему делу, такой отдачи, чтобы исчезло разделение между делом и так называемой личной жизнью.

Что значит такая цельность в человеке и как она достижима? Пришвин отвечает: «Это есть радостная способность избавляться от себя», иными словами — от эгоистической «самости» своей. Это самоотдача. И это счастье.

Притом Пришвин не устает твердить, что такое «поведение» достижимо каждым человеком и в нем не должно быть избранников: каждый может в каком-то смысле, в какой-то мере стать художником своей жизни. Трудно найти свое призвание. Но для этого нужно одно: не заглушать в себе зов, сохранить его чистоту, не пойти, по слову Пришвина, «на подмену золота фальшивой кредиткой». Не разделять свою жизнь на «для души» и «для хлеба».

Сам Пришвин был так естествен и прост в личной жизни, что отвращался от учительства, стараясь никому не навязывать свою «тайну»: он либо сам в себе ее не замечал, либо внезапно останавливался перед ней в удивлении. Однажды я спросила К. Г. Паустовского, что ему нравится у писателя Пришвина, и он мне отве-

тил так: «Нравится многое, но больше всего нравится, как он живет».

В «Книге скитаний» он написал о дневнике Пришвина так: «Это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений — таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу».

«Пишу как живу», — повторит Михаил Михайлович незадолго перед смертью, в последней редакции «Кащеевой цепи» — в ее конце.

Читая дунинский дневник Пришвина, всегда задерживаешься на его словах: «Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы».

Вглядываясь в страницы этого дневника, мы открываем для себя самый секрет пришвинского стиля: писатель вначале как бы выходит из себя и совершает мысленный круг по вселенной. Иногда этот круг охватывает весь мир от неба до земли. Иногда это одно лишь освещенное солнцем пятно на мху. Или капля росы на кусту акации под окнами дунинского кабинета. Описав такой круг, Михаил Михайлович вновь возвращается к себе, как к своему первоисточнику, и открывает в себе самом нечто для него новое и ценное. И тут нам становится понятным: этот человек сам для себя загадка, но, что самое существенное, таков и *каждый* из нас.

Понять себя и после отдать себя жизни — это, оказывается, стоит перед каждым человеком: понять — и отдаться жизни, ожидающей от нас такого радостного взрыва Личного, переходящего в большое Общее.

Сохранилось такое признание Пришвина: «Мучился всю жизнь над тем, чтоб вместить поэзию в прозу». Вот почему в прозе Пришвина действуют, видимо, те же силы, что и в стихе: ритм, звукопись, живописная образность и, наконец, лаконизм — это, по Пришвину, «стрем-

ление упростить слова, чтобы они стали сухими, но взрывались как порох». И главное, без чего нет поэзии, — это когда подо все богатство образов, красок, звуков поэт подстилает единый фон, основу, землю; это единое его настроение, это образ его души, ради которой он и пишет стихи. Если «души» нет — остаются одни только голые строки. «Писательство, — говорит Пришвин, — без участия себя самого бездушно и никому не нужно».

Многие дневниковые записи Пришвина являются образцами поэтической прозы. В них трудно сделать перестановку слов — меняется звучание, теряется сила, «душа» написанного. Приведем несколько примеров:

«*Слово — звезда.* В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ.

Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку, на его путях в пространстве и времени.

Бывает, погасшая для себя звезда, для нас, людей на земле, горит еще тысячи лет.

Человека того нет, а слово остается и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды во вселенной».

«*Осень.* Просека длинная, как дума моя, и поздней осенью жизнь не мешает моей думе. Грибов уже нет, и муравейник уснул. Кончается чудесный сухой сентябрь, дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают. Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот».

«Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий».

«*Лес.* Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, а в елках нависла синяя тишина».

«*Реки.* В лесах я люблю речки с черной водой и жел-

тыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные».

«Дым. Дым из трубы поднимается вверх высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается.

Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым».

«Капля росы. На лесной дорожке на зеленой травинке, острым кончиком как штыком пробивающей себе среди прошлогодней суши и всякого желтого хлама путь к небу и солнцу, заметил на самом штыке каплю росы».

«Елка и дуб. Гнались они друг за другом, елка и дуб, вверх к свету, кто кого перегонит.

Не по радости, или жадности, или вольности, или гордости затеяли они этот гон, а по смертной нужде: кто раньше высунется в светлое окошко, тот собой и закроет его, и сойдется вершиной кроны с другими деревьями как победитель. И все, кто останется под пологом в полусвете, те и останутся чахнуть на всю жизнь свою.

Вот почему они и гнались и тянулись вверх, елка и дуб, изо всех сил».

«Вода. Никто не таится так, как вода, и только сердце человека иногда затаивается в глубине и оттуда вдруг осветится, как заря на большой тихой воде. Затаивается сердце человека — и оттого свет».

«На заре. Заря сгорает на небе, и ты сам, конечно, сгораешь в заре, и тысячи голосов на заре соединяются вместе, чтобы прославить жизнь и сгореть. Но один голосок, или скорее шепоток, не очень согласен гореть вместе со всеми.

Ты, мой друг, не слушай этого злого шепота, радуйся жизни, благодари за нее и сгорай, как и я, вместе со всею зарей!»

Примеров можно было бы приводить без конца, и мы в заключение вспомним лишь последнюю строку известного рассказа Пришвина «Смертный пробег»: «Итак, мы осмерклись в лесу».

Михаил Михайлович просил печатать ее с абзаца. Я была свидетелем того, как при чтении вслух он произносил эту фразу, слегка скандируя, — она ему явно доставляла некое *музыкальное* удовлетворение... И в то же время он и не подозревал, что эта ритмическая строка есть чистейший амфибрахий.

Многие редакторы не замечают этого и до сих пор, так как в ряде изданий допущено грубое искажение: вместо «осмерклись» печатают — «осмеркались» и так искажается ритм фразы.

Задержимся здесь, чтобы вспомнить наблюдения самого Пришвина над поэтическим словом в прозе и в стихах: что значит его дневниковая запись: «Мучился всю жизнь над тем, чтоб вместить поэзию в прозу»?

В существе своем поэтическое слово для Пришвина есть явление ритма, притом распространенного на жизнь вселенной. В «большой» природе — в космосе — ритм для Пришвина выступает как начало жизни — первое ее движение, выход («толчок») из небытия. Ритм воспринимается им как явление *музыкальное*.

Если исходить из опыта нашей повседневности — реальных наших дней и их дел, то ритмическое движение — это всегда труд. Значит, речь, как и всякое движение в природе, есть тоже труд. И, как труд, она подчинена музыкальному ритму. «Для каждого человека, желающего сделать лучшее, возможен труд, подчиненный музыкальному ритму...»

С молодости (судим по самым ранним сохранившимся дневниковым записям) Пришвин пристально наблюдает явления ритма, они связываются у него в единый мировой творческий акт. Предметы его наблюдения — это и движение звездного неба, и движение нашей Зем-

ли, жизнь на ней до последнего атома материи. И наконец, внутренняя жизнь человека — движение его души.

«Весна света, весна воды, весна травы, весна человека» — этот ритмический ряд Пришвина вошел теперь в письменность и живой язык.

В своих наблюдениях ритма Пришвин улавливает и моменты нашего ему подчинения, и попытки нашего господства над ним.

Человек многое познал уже из «тайн» природы, и ему знаком соблазн переделать по-своему мировой космический порядок.

Он может создать свой искусственный ритм таких скоростей, что разрушит им основы своего же собственного существования: он потеряет себя и внутренне, — он перестанет «понимать жизнь». Вот простейшая и такая убедительная запись в дневнике: «Машину освоить — это не баранку вертеть, а научиться, сходя с машины, быстро приходить в себя... Даже после велосипеда не сразу придешь в себя и начнешь понимать жизнь».

Вот почему Пришвин настойчиво напоминает нам о необходимости такого согласования человеческой деятельности с мировым ритмом, когда мы входим в него сами как часть природы, как ее дети, пусть как сотрудники, пусть даже как создатели в ней нового, но не как диктаторы и потребители ее.

Он считает, что для человека очень важен его утренний и вечерний час сосредоточенной тишины, вхождение с нею в единый музыкальный настрой.

Пришвин пишет: «А может быть, вся природа вокруг меня — это сон?.. Везде и всюду: в лесу, на реке, и в полях, на дороге, и в звездах, и на заре вечерней, и на утренней — все это — кто-то спит. И я всегда — как «выхожу один я на дорогу». Но спит это существо «не тем холодным сном могилы», а как спит моя мать. Спит и слышит меня.

Так и вся наша мать-природа, и я ее младенец...

Матушка, дорогая, спи-спи, еще больше, еще лучше. Тебе так хорошо, ты улыбаешься! Начался теплый июнь, трава поднимается, рожь колосится, довольно, довольно ты мне всего дала, спи, отдыхай, а мы позаботимся».

Позаботимся — о чем? куда устремлены наши усилия? Мы хотим, чтоб из всей этой жестокой борьбы и страданий, наблюдаемых нами и в природе и у человека, создалась гармония, как великое музыкальное свершение; цель, которую человек улавливает в природе как бы ретроспективно, обернувшись назад и всматриваясь в пройденный путь. Эта цель сказочно далекая, кажется, даже неосуществимая, но в то же время это наша нравственно необходимая задача, она поставлена самим себе человеком — совестью и разумом вселенной.

Для этого и надо жить, а не строить отвлеченные теории жизни.

Пришвин: «Мы живем в природе и между людьми для согласия. Возможно, мне скажут: «А для какого согласия?» Я отвечу: «Для музыкального преображения мира».

«По-моему, гений человека не огонь похитил с неба, а музыку и направил ее вначале к облегчению труда, а потом и самый труд, на который распространяется ритм, сделал через это наслаждением».

«На искусство в своем происхождении — поэзию, а также на чистую науку я смотрю так, что творчество их происходит от облегченного в человеческих условиях ритма, которым сопровождается работа в природе. Там этот ритм — условие вращения тяжелых миров, у нас — ритмический ход образов и мыслей. Если сделать соответственные записи движения в природе, то можно добиться слышания этих видов природного ритма».

«Мост от поэзии в жизнь — это благоговейный ритм, и отсюда возникает удивление. Но бойся, поэт, делать себе из этого правило и ему подчиняться: ты слушайся

только данного тебе музыкального ритма и старайся в согласии с ним расположить свою жизнь...»

Искусство как поведение — такими словами выражается у Пришвина его сокровенная тема.

«...Источник поэзии — чувство ритма жизни, который воспринимается как смысл ее, как то, из-за чего стоит жить, трудиться и достигать.

Ранним утром сверкающие капельки росы на всходах овса, на таком молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется под тяжестью тяжелой капли росы, — это удивление вдруг может дать радость труда и понимание его смысла».

В начале века об этом так же думал исследователь вопросов эстетики известный поэт Вячеслав Иванов. Мы ограничимся здесь немногими из его высказываний «О лирике»: «Стих как таковой скоро будет согласно своей природе определяться только ритмом... Ритм же в структуре стиха будет опираться прежде всего на созвучие гласных... С этими непочатыми средствами лирике нечего бояться оскудения в области формальной изобразительности и вычурности, которые всегда свидетельствуют о дряхлости пережившего себя канона художественной формы... Метрический схематизм умертвил в ней (лирике) естественное движение ритма, восстановление которого составляет ближайшую задачу лирики будущего» *.

Если прислушаться к тону высказываний В. Иванова и М. Пришвина, мы, несомненно, обнаружим общность эстетического переживания. Но Пришвин борется еще за сущностное единство человеческой души, какое он видит в самой ее природе, в ее исконной целостности — простоте.

И отсюда у Пришвина преимущественная связь с

* В. Иванов. По звездам. Спб., 1909.

материнскими народными истоками своего художественного слова.

Мы убеждаемся в этом, идя по следам его жизни.

В далекие годы перед молодым студентом философского факультета развернулось идущее от древних культур учение о времени как ритме вселенной. И тут же одновременно он встречает книгу современного ему ученого-социолога Бюхера «Работа и ритм», с увлечением слушает его лекции. У Бюхера теория, построенная в плане практическом и рациональном. Впоследствии Пришвин запишет так: «Может быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией... Бюхера мы спрашивали, как и при каких условиях ему удалось обратить внимание на связь песни с работой.

На этот вопрос Бюхер охотно отвечал, что он шел, как обычно, по улице в университет, обдумывая свою лекцию, и наблюдал...»

Но что необходимо нам здесь отметить: одновременно с занятиями у Бюхера Пришвин страстно увлекается симфонической музыкой и, без преувеличения скажем, пропадает на концертах; достаточно вспомнить, что за два студенческих года он прослушал одного «Тангейзера» тридцать семь раз. Мы видим, как Пришвин спускается с поэтических высот философского и музыкального созерцания к практической современной ему теме организации труда у рабочего человека и в то же время не теряет «музыкальной» высоты.

Через полвека он запишет так: «...Надо смириться до того, чтобы взять на себя и силу знания, и силу искусства, и только переключить их движение от разрушительного на созидательное».

Этот объединенный путь, где идут рядом и логика науки, и интуиция художественного впечатления, создает у Пришвина, как мы только что наблюдали, диапазон от музыкальных планетарных сфер до ритма, подслу-

шанного Бюхером в работе каменщиков на улице современного города.

В конце 1928 года Пришвин находит поддержку своим идеям в книге нашего выдающегося современного геохимика В. И. Вернадского. В связи с чтением он записывает в дневнике свое определение сущности человеческого творчества как способности соприкасаться «с чувством не своего человеческого, а планетарного времени». Кто скажет, сколько в этой записи от рабочего ритма, подмеченного ученым-социологом, и сколько — от музыкального ритма Вагнера?

М. М. Пришвин так и не узнал, что у него еще с 20-х годов существовал единомышленник Алексей Алексеевич Ухтомский, советский физиолог — академик (1875—1942).

В письмах, впервые опубликованных у нас в 1973 году*, он пишет так: «В самое последнее время я познакомился с неожиданным единомышленником из «писателей», именно профессиональных писателей, то есть таких, которые хотят заглушить тоску по живому собеседнику процессом писания для дальнего. Это М. Пришвин. В некоторых местах он поражет меня совпадением с моими самыми затаенными мыслями...» Дальше Ухтомский цитирует самого Пришвина: «...чужая жизнь представляется почти как своя. И вот как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, можно с уверенностью приступить к писанию, — написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмачники...» — и продолжает: «...Надо очень рекомендовать опыты Пришвина на этом пути. По форме писательства он, несомненно, классик из плеяды Тургенева и Аксакова, но что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель нового в *растворении всего своего и в со-*

---

* «Новый мир», 1973, № 1.

средоточении всего своего на другом (на встречной реальности, встречном человеке). Для Зосимы, для Гааза это метод исходный и основной с самого начала!

И если уже для писателя этот метод оказывается так труден, как видно из работы Пришвина, то для человека, ушедшего в этот метод целиком, он является, конечно, делом постоянного напряжения, труда целой жизни изо дня в день!»

Как обрадовался бы Пришвин и такому подтверждению Ухтомского своим мыслям: «...Знаете, я с громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен. Ведь тут все самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя — это *или спасает,* если внутренний человек горит, *или убивает,* если человек слушает уже только из «своего удовольствия», то есть *не сдвигаясь более со своего спокойного самоутверждения»*.

Ведь это, по существу, тот же, как и у Пришвина, образ музыкального ритма, как движения — выхода из небытия!

Наблюдения в науке, искусстве и рабочем труде, все вместе, выводят Пришвина к такому определению ритма: «Для каждого человека, желающего сделать лучшее, возможен труд, подчиненный музыкальному ритму, если только научиться его замечать, выделять и строго хозяйствовать. К сожалению, есть соблазн легкости труда в слышании его музыкального ритма, и кто обратил на него внимание, обыкновенно бросает трудное дело и сочиняет стихи ради стихов».

Слова эти звучат тревожно, как некое предупреждение. О чем? Оказывается, музыкальный ритм облегчает наш труд, но здесь человека подстерегает ловушка: человек соблазняется и начинает искать эту «легкость»: он увлекается слышанием самого ритма, наслаждается им, он забывает о внутренней цели своего дела, соблазнившись его формой. И если, в частности, он поэт, то

начинает «сочинять стихи ради стихов». При небрежном внутреннем «хозяйствовании», если думать о форме, можно потерять живую поэзию слов. Вот почему и надо «строго хозяйствовать» в ритме, чтоб внешняя красивость не подменила собой, не сбила внутренний ритм, внутренний голос души.

Так мы вернулись в нашем размышлении к отправной их точке — о поэтическом слове в прозе и в стихах.

Пришвин настораживается, наблюдая у поэта увлечение формой как самодовлеющей целью. Надо сказать, что Пришвин был далек от споров о формализме, в них не было еще того накала, какой появился в наши дни. Пришвин исходил только из своего личного опыта. В связи с этим важна, но требует разъяснения отрывочная запись его в дневнике от 6 мая 1936 года разговора с балкарским поэтом Авраамовым во время поездки на Кавказ: «Разговор о ритме и о мещанстве ямбов, Блок: «Отойди от меня, Сатана», в смысле, что у меня мысль, и если думать о хлебе, то мысль потеряешь».

Пришвин вспоминает здесь о своей беседе с Блоком — о борьбе и взаимодействии формы и содержания в словесном искусстве. Поэт привел тогда примером известную евангельскую сцену, где Сатана соблазняет голодного Человека хлебом, чтобы тот ценой собственного насыщения отказался от своей Мысли.

Далее Пришвин в этой записи обращается к самому себе: «Почему я не люблю стихов? Не за то ли? Я словесную речь перекладываю, и от этого у меня в прозе подлинный ритм: он и не выдуманный, и не затрепанный, как ямбы».

Подлинный ритм значит у Пришвина внутренний, духовный, неделанный — не «стихи ради стихов».

«Что же, — спросит читатель, — значит, Пришвин действительно не признавал, не любил стихов?» Отвечу: не было случая за всю нашу совместную жизнь, чтобы

Пришвин не отозвался на стихотворение. Но горячо и сочувственно отзывался он только на избранное и был беспощаден в оценках. Так же избирательно и строго относился он и к музыке. (Под конец жизни слушание музыки было одним из его серьезнейших дел.)

Удивительно и неожиданно для нас, что Михаил Михайлович, писавший только прозой и «не любивший» стихов, родился как писатель именно от стихов. Так он об этом и свидетельствует в своем дневнике: «Когда у меня открылись глаза первого сознания, меня встретили Некрасов и Лермонтов. Однажды я прочитал «Ветку Палестины» и написал свои стихи: «Скажи мне, веточка малины, где ты цвела...» Когда домашние мне сказали, что стихотворение мое взято у Лермонтова, я был возмущен и понять этого не мог.

Очень возможно, что из этого первого потрясения души родилось во мне такое мнение, что я не Пришвин, а Лермонтов... Мне кажется, это было началом какого-то порочного пути, по которому же, однако, я потом не пошел: я сделался, какой я ни есть, но сам, а Лермонтов остался тоже сам.

Но благодаря этим первым эксцессам я теперь все же ясно вижу два рода возможностей поведения человека: одно поведение ведет к самому себе и раскрытию своего таланта, и через это к раскрытию широкого понимания природы и людей; другое поведение ведет к отщепенству и демонизму, и не к творчеству, а к *позе* творчества». (Выделено мной. — *В. П.*).

Можно, конечно, сказать предположительно и так, что это было у Пришвина лишь мимолетное детское переживание: кто из нас не сочинял в детстве стихов! Но в том-то и дело, что у этого человека душа росла и развивалась, как и у всех нас, подъемами, спадами и отвлечениями, но, куда бы ни заносили его поиски, он всегда возвращался на свой путь; кажется, что на пути этом стояли невидимые, но неколебимые вехи, и ника-

кое «заблуждение» по дороге его не могло увести безвозвратно на чужие пути.

Много могла бы я привести тому доказательств, но сейчас ограничим себя и скажем, что Лермонтов, раз войдя в детское сознание Курымушки, так и прошел с ним до конца дней, и раз услышанного ритма лермонтовской поэзии не могли воистину заменить никакие «скучные песни земли».

В старости Михаил Михайлович вспоминает: «Видел когда-то и Рублева, и Рафаэля, и ничего не понимал, а теперь сижу в глуши, ничего не вижу и все понимаю.

И я такой, рассчитанный на долгую жизнь, а другой (Лермонтов) рожден, чтобы вспыхнуть сразу весь. Как бы вам хотелось родиться — на долгую или на короткую жизнь? Хотите сразу сгореть, как Лермонтов, или жить, как я, долго-долго под хмурыми тучами и с каждым годом чувствовать, что тучи мало-помалу расходятся и вот-вот покажется солнце...»

В чем же был секрет этого поэтического долголетия и этой верности первой своей поэтической любви? По-видимому, в том, что у него непосредственные впечатления (минуя рассудочность) поселяются, как он говорит, «за душой», то есть в той ее глубине, где они остаются навсегда. Этот мир «за душой» и есть самый близкий мир поэзии; там живут и все дорогие ему люди. Пришвин их даже иногда называет по именам, например, в такой записи дунинских поздних лет: «Река питается скрытыми родниками: все ею пользуются, а за рекой родники. Так и у писателя пишется. А пишется тем, что у него за душой. И все мы потихоньку спрашиваем: «А что у него за душой?» ...Все знают, что за душой у Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока...»

Из этого мира, скрываемого «за душой» и часто забываемого самим человеком, и родилась однажды та-

кая, может быть, и не замеченная никем подробность при писании последней повести «Корабельная чаща».

Во время войны в Усолье зимними вечерами Михаил Михайлович любил слушать стихи. Среди них было и «Окно» Цветаевой:

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может, пьют вино,
Может, так сидят —
Или просто рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое...

Окончилась война, мы снова в Москве; новые события, впечатления и, конечно, новые стихи... Пройдет еще десять лет, и вот в 1953 году, последнем году жизни, Пришвин кончает свою «Корабельную чащу». В повести лесоруб Мануйло из дремучих пинежских лесов отправляется в Москву к Калинину «искать правду». Идет он по Каменному мосту и видит огромный дом со множеством окон:

«Много огней в доме загоралось, и от низу до верху в окнах все видко.
Там укладывает мать, вся белая, маленьких детей в кроватки.
Там умываются.
А там — пьют вино.
А еще повыше двое так сидят...
И все внизу видко...»

Я не обратила тогда внимания Михаила Михайловича на этот перефраз цветаевских строк, вернее, на отголосок в них цветаевского ритма, — ведь писал эти строки уже уходящий из жизни человек, писал из последних сил. И мне самой в те дни было не до литературы. Но, возвращаясь к этим строкам сейчас, поражаешься, как музыка стиха, услышанная десять лет тому назад, жила в подсознании «за душой» и вдруг по неведомым нам законам творчества выплыла на поверхность в такие дни! И зазвучала.

Мы помним ту особую интонацию, с которой Михаил Михайлович иногда произносил цветаевские строки: «Красною кистью рябина зажглась...», причем выделялись им не центральные по смыслу слова, а самый ритм — «раскачка» стиха: при чтении он усиливал первый ударный слог, и потому стихи звучали как приглушенный колокольный звон.

Помню, как он обрадовался, когда услыхал впервые стихи Гумилева «Пьяный дервиш» — их рефрен: «Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его».

Стихи вызвали у него никогда не умиравшее воспоминание о своей юношеской любви, мимолетной, но поселившейся в том же самом поэтическом мире «за душой» и потому никогда его не покидавшей. В этой любви был один особенный день весны в Люксембургском саду Парижа; о нем он и записал через полвека в дневнике: «Сегодня такое солнце, что я вспомнил всю радость свою, как вышла она мне на один только день в Люксембургском парке. Не было тогда еще в поэзии строк, отвечающих моей радости, но за годы моего отчаяния стих родился:

Мир лишь луч от лика друга,
Все иное тень его».

В конце жизни (он был безнадежно болен) я читала ему по его просьбе каждый вечер любимые стихи. В последний наш вечер он попросил прочесть Фета «Уноси мое сердце в звенящую даль». Стихотворение кончается такими словами:

И все выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом.

Стихи не менее, чем проза, были Пришвину дороги и близки. Но он отстаивал целомудрие ритмического слова в его высшем значении и противопоставлял ему «формализацию» или деланность, за которой не стоит

глубина и правдивость переживания. В стихах легче очаровывать с помощью внешнего ритма. Проза же лишена многих внешних средств очарования. Поэтому она трудней и честней. И отсюда запись: «Внутренняя поэзия и формализация. А получается: душевная проза честнее поэзии «деланной». В прозе невозможно *поэтический ритм* подменить *ритмическим*... А в общем, я писал, как чувствовал, как жил... Я исходил от русской речи устной».

Приведем для примера пришвинской прозы последних лет всего две фразы. Это начало повести военных лет — «Повести нашего времени»:

«Как в самую глухую зиму по какой-нибудь узенькой алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь особенно дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там... И так вот, когда из всего еще зеленого леса начинают на опушке расставляться деревца отдельного вида, это значит — скоро всему тенистому летнему лесу наступит конец».

Можно ли что-нибудь в этих фразах переставить или заменить без ущерба для их внутреннего словесного ритма, для их настроя?

В сущности, все размышление наше сводится к тому, что Пришвин четко разделяет в поэзии ритм «душевный» (это и есть для него поэзия), и ритм «ритмический» (являющийся для него «подменой», если он оторван от внутреннего). Но в соединении они могут дать поэтическое совершенство.

Пришвин ставит здесь перед нами один из основных нравственных вопросов в художественном творчестве — об опасности самому попасть в плен к своей мечте: художник так «очаровывается» ею (и собой!), что разрастается в самодовлеющую величину и закрывает, заме-

няет собой тот реальный мир, из которого он вышел и которым питается, в сущности, как младенец от матери. Он выдает свою лично созданную сказку за единственно подлинную действительность; тогда он со своей нескромной фантазией неминуемо проваливается в пустоту.

В дневнике 1947 года Пришвин записывает: *«О формализме.* Художественное произведение... безгранично в отношении читателя: сколько читателей, столько в нем оказывается и «планов». Расположение этих планов делается автором в строжайшем порядке под воздействием неизвестной нам силы, которую в просторечии называют талантом, порожденным природой. (Художник в природе своей — художник «божьей милостью».)... Малейшее прикосновение к размещению расстраивает произведение и лишает его влияния.

Формализм и есть вмешательство разума в расположение планов».

«...Формализм — это попытка рационализировать самые истоки творчества, это мефистофельская потеха».

«Формализм — это зло признанное, но форма — это добро. Между тем у нас часто сознательно и бессознательно писатели, прикрываясь борьбой с формализмом, сметают форму. Поэтому, защищая форму, я требую от писателя прежде всего языка».

И еще запись 1951 года: «В «Литературной газете» на редкость хорошая статья Исаковского «Секрет поэзии». Я бы к ней прибавил, что секрет прозы есть поэзия. И для примера показал бы «Тамань» как поэзию».

Так мы снова убеждаемся: Лермонтов живет неизменно в душе Пришвина до последних лет его жизни.

Поэзию слова Пришвин нашел в народной речи, у самых ее истоков. Услышанный им на Севере сказ,

стих и песня не *сочинялись* народом, а *вырастали* из самих жизненных событий и переживаний сказывающего и поющего человека. Они рождались из насущной потребности души — ее радости, или горя, или неосознанного стремления к возвышенному и прекрасному. Так в народном языке возвышалась, опоэтизировалась проза.

«Благодарил свою судьбу, что вошел со своей поэзией в прозу, потому что поэзия может двигать не только прозу, но самую серую жизнь делать солнечной. Этот великий подвиг и несут наши поэты-прозаики, подобные Чехову».

Вспомним еще раз, как слушал Пришвин речь нашего дунинского лесника: «Рассказ Доронина с точным речевым ритмом — это исповедь и юмор, это и я: я так пишу. И это — народ».

Однажды (это было в 1928 году) к Пришвину приехал В. К. Арсеньев, автор «Дерсу Узала». После состоявшегося знакомства Пришвин записал в дневнике: «Арсеньев, между прочим, рассказал мне, как он написал свою книгу. Она вышла из дневников, которые вел он в экспедициях. Это книга, можно сказать, первобытного литератора — своего рода тоже реликт. Ее движение есть движение самой природы, и она снова наводит меня на мысль, что поэзия рождается в ритмическом движении природы, вращении солнц и земель, и является на свет тем же самым чутьем, которым животные и люди в тайге определяют без компаса, в какой стороне находится дом».

Пришвин множество раз писал о существовании некоего общего ритма в природе (всеобщего очага творчества), в который нужно войти поэту. Это был его личный опыт. Лучше всего в этом ему помогало путешествие, когда он острее улавливал жизнь в ее разнообразии. Вот, например, запись 1922 года 23 августа: «Я ловлю эти признаки слухом (ритм), и глазом (пейзаж), и

мускульным чувством. Когда много ходишь... пространство становится эфирным, и время без газет, без правил дня идет только по солнышку. Тогда без времени и пространства мне видно, земля пахнет своим запахом, и все вокруг становится, как будто слушаешь сказку мира: в некотором царстве, в некотором государстве... Одним словом, человек заблудился, а ведь это и нужно художнику для восприятия реальности мира.

Нужно посмотреть на вещь своим глазом и как будто встретился с нею в первый раз; пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир. Это узнает художник, и первые слова его — сказка».

Пришвин, как любой народный сказитель, находит свой внутренний ритм поэтической прозы и создает свою «сказку-быль». Она рождается из фактов реальной действительности, она не требует выдумки — сказочного волшебства. Она не выходит за пределы нашей жизни в так называемую «фантастику». Потому не выходит, что Пришвин в обычном видит всю полноту сказочного — возвышенного и прекрасного.

Так открывается в прозе Пришвина внутреннее богатство мира во всей его поэтической глубине.

Запись в Дунине: *«На мосту»*. Не очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к жизни, как будто долго, долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была поэзия, а на том жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался на ту сторону, и там оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия, или, вернее, что, конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь, но поэзию человеку можно сгустить в жизнь, то есть что сущность поэзии и жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха...»

Проза Пришвина, многие ее чисто поэтические особенности есть явление оригинальное в русской литературе, которое ждет изучения и достойной оценки.

Раннее утро начиналось для Пришвина писанием дневника. Все в доме еще спят. Записав в дневник, Михаил Михайлович делает обход вокруг участка или гуляет по веранде, если дождь.

Собираемся к общему завтраку, встречаемся ненадолго, и Михаил Михайлович уходит в свою комнату, либо на веранду, либо в сад, к столику под елями у «венского кресла». Эта работа над очередным рассказом для печати. В зависимости от того, где устроился Михаил Михайлович, я переношу свою машинку из комнаты в комнату либо перебираюсь в сад за столик под липами, так как Михаил Михайлович не любит там работать: «Место слишком на ходу».

Вспоминаю мелкую, но характерную подробность, один из случаев, когда я решилась ему помешать. Это был 1952 год. Пришвин работал над «Корабельной чащей», я, как всегда, шла следом за ним в расшифровке, прочтении и переписке дневников. Я переписывала в те дни осень 1951 года. Мне понравилась одна запись о первых желтеющих деревьях. Так захотелось поделиться находкой с ее автором, что я вошла к нему в комнату и прочла: «Из лесов на опушки вышли первые воины в медных доспехах». Он недовольно поднял голову от своей рукописи, но, когда выслушал, улыбнулся и сказал: «Хорошо! Это кто написал — я?» Мне нечего было ответить. «Я написал? — повторил Михаил Михайлович. — Сразу и не вспомнил, а хорошо!»

Я уже сказала, что дневники были для Пришвина еще и кладовой, из которой он черпал материалы для произведений, предназначенных к печати. Во время нашей жизни в Дунине «кладовая» эта пополнялась от общения с народом, будь то сосед на нашей улице или любой встречный на прогулке, знакомый и незнакомый человек.

Пришвин постоянно открывает себе сокровища в душе «простолюдина», как он говорит, или «обывателя». Он ловит и отмечает самостоятельную мысль, ритмичность и образность речи. Недаром он начал свое писательство со сбора народных сказов: «Нужно нам учиться у мужика глазу, как он смотрит на мир. Вот почему я толкусь всю жизнь среди наших крестьян».

Пришвин удивляется и как бы умаляется даже перед достоинством человека, близкого к природе, прислушивается, присматривается к нему, тревожась, что такой человек, вытесняемый городской культурой, все реже попадается ему на пути.

Рассказы и повести дунинских лет вырастали у него от встреч с окружающими людьми. Так, ставший хрестоматийным рассказ «Москва-река» родился у Пришвина, можно сказать, прямо у нас на берегу во время половодья.

Изба наших соседей Руненковых стоит над рекой на холмистом взлобке, а под холмом находится перевоз. Ваня Руненков перевозит рабочих, школьников и прочих жителей наших деревень с одного берега на другой весной, пока не наведут мост, и осенью, пока не замерзнет река, пока не протропят через нее пешеходную дорожку. В те первые наши дунинские годы Ваня был еще совсем молодым пареньком, хотя успел побывать на войне в победном ее конце и даже пройти с нашей армией до самого Берлина.

Ваня вернулся хотя и с ранениями, но все же благополучным. Пришвин в рассказе «Москва-река» изменил некоторые черты Вани. Он ввел в рассказ и описание природы, и рыбную ловлю, и разговоры перевозчика с народом. Но зерно, из которого вырос рассказ, — это маленькая дневниковая запись беседы Пришвина с нашим перевозчиком.

Помню тот вечер. Ваня сидел задумчиво на берегу на скамеечке. Мы подошли, Ваня подвинулся, и мы сели

рядом. На следующий день Пришвин записал так в дневнике: «Родина. Дунинский ландшафт в мае. Ваня сидит на лавочке.

— Ваня, — сказал я, — понимаешь ли ты, что у нас красиво, или тебе все равно?

— Красота? — сказал Ваня. — Я всю войну шел по красивым местам до самого Берлина.

Мы подумали, что ему наша родная красота после всего не мила.

— Какие же особенно красивые места ты видел?

Он рассказал нам о Югославии, о Чехословакии и много всего.

— Да, — сказали мы, — много, много ты видел прекрасного.

— Много, — ответил он. И вдруг совсем неожиданно: — Много красивого, но такой красоты, как Дунино, я нигде не видал».

Запись была сделана весной 1948 года и лежала забытой, как вдруг весной 1950 года она ожила и превратилась в рассказ. Значит, зрела она у писателя ровно два года.

Следующий рассказ «Вася Веселкин», посвященный дунинским ребятам, развился тоже из подлинного происшествия. Однажды Михаил Михайлович гулял по берегу со своей спаниелькой Норой. Как известно, спаниель — это охотничья собака, работает по водоплавающей дичи.

В это время по реке плыло стадо домашних гусей, принадлежавших одному нашему колхознику. Водить водоплавающую птицу в наших местах запрещено — это водоохранная зона, снабжающая столицу чистой водой. Все закон этот знали, но, бывало, кто-нибудь его и обойдет. Так случилось и с теми нашими гусями.

Норка по бездумной собачьей простоте, завидя гусей, бросилась за ними вплавь по реке. В кустах на берегу находился сын хозяина гусей, уже взрослый школь-

ник. В руках у него случайно оказался дробовик. Увидя нашу Норку, преследующую гусей, он прицелился в собаку. Еще момент — и дробь попала бы в Норкину голову. Но при выстреле кто-то вдруг ударил по руке стрелявшего, и ружье дало промах. Собака была спасена. Михаил Михайлович слыхал даже слова, какие крикнул спаситель собаки: «Гуси в запретной зоне!» Голос был детский.

Весь этот случай записан у Пришвина кратко в дневнике, как сюжет будущего рассказа, и заканчивается словами: «Ударение рассказа: кто был этот неизвестный человек?»

На самом деле человек, отведший руку с ружьем, так и остался неузнанным. Но Пришвин делает своим героем мальчика, «стыдливого, застенчивого в своем добром деле и бесстрашного в отстаивании правды» школьника Васю Веселкина, скрывавшего до последнего момента свою роль в этом добром деле — роль заступника за полезный закон и спасителя невинной собаки.

С этих пор такой вымышленный человек становится героем почти всех его последующих произведений. Это был образ нашего современника, в которого Пришвин верил, мысленно растил, вкладывал в него лучшие черты человека. Он во всех произведениях отныне сохраняет у Пришвина одно и то же имя — Вася Веселкин.

Веселый рассказ «Москворецкий мост» написан с таким юмором и так свободно, как будто сам Гоголь улыбался Пришвину и заглядывал через плечо во время писания. Но в то же время он написан, прямо скажем, с деловым общественным загадом, с полезной целью. Михаил Михайлович откровенно высмеивает в рассказе наш местный многолетний обычай, возможно, длящийся еще чуть ли не со времен нашего с вами знакомого асессора Спиридова, каждую весну строить новый мост и для этого собирать баграми обломки прошлогоднего, со-

рванного ледоходом. И так — столько лет и каждую весну!

Сам Пришвин сразу же оговаривается: он пишет свой рассказ для того, чтобы козинские и дунинские граждане собрались бы с духом и выстроили своими средствами с поддержкой районных властей постоянный мост через реку. «В наше время да еще под Москвой стыдно жить с такими гоголевских времен мостками, граждане!»

Так кончается веселый рассказ. В нем, конечно, участвует и школьник Вася Веселкин.

Началом же рассказа является следующая дневниковая запись: «1948 г. 8 июля. Сделали лавы через реку Москву. Сфотографировать и описать. Встречные разойтись могут, только обнявшись или один свергнув другого».

Да, в те годы нашего поселения в Дунине мост строился ежегодно и такой, что на нем трудно было разминуться двум встречным пешеходам, если они были, по словам Пришвина, «чуть потолще»...

С тех пор прошло четверть века. Мост наш по-прежнему каждый год сносит река, и люди его вновь строят.

Рассказ «Золотой портсигар» родился так: однажды понадобилось нам вставить оконное стекло, и мы пригласили на помощь соседа столяра Лаптева. Запись в дневнике: «Столяр Александр Лаптев (родился в 1917 году, весь советский) приходил стекло вставлять.

— Деньги возьмешь, Саша, — сказал я, — или водочки выпьешь?

Он замялся неопределенно.

— Ну, какая тут работа, какие деньги... — И вдруг просиял: — Это не секрет, водочки выпить хочется.

— Конечно, — сказал я, — какой тут секрет, всем водочки хочется, и я сам не прочь... — И, нарезав помидор ломтиками, посыпав солью, налил.

Выпив, Лаптев начал говорить кругами-руладами, начиная каждый круг и кончая:

— Это не секрет, конечно!

Началось с того, что он у тестя живет и что у тестя нет хлеба, а он достает и дает ему немного, и что это не секрет...

Вторая рулада о том, как он воевал, где был, где ранили и как он соединился с американским фронтом.

— Это не секрет, они нас хорошо встретили и кормили как! Это не секрет!

И тут он подружился с одним американцем, и тот восхищался русским народом: какой большой, какой сильный!

— Мы, говорит, не такой народ, но зато у нас вот что! — и показал на себя, как он одет, какое оружие, какая палатка, и все. И вдруг он меня спрашивает, это не секрет, конечно, спрашивает меня: «Скажи, за что ты воевал?» Я отвечаю: «За Родину». — «А что есть Родина?» — «Папаша, — говорю я, — и мамаша. Правда, это не секрет, — говорю, — у меня нет ни папаши, ни мамаши, а все равно каждый пожилой человек есть папаша и каждая старушка мамаша. Вот я за них воевал...»

«Рассказ «Не секрет!» глубоко запал в душу», — записывает Пришвин. По дальнейшим еще не опубликованным записям дневника мы видим, сколько размышлений, связанных с темой о Родине, возбудил этот небольшой житейский эпизод.

Дети всегда привлекали внимание Пришвина. Записи об этом разбросаны по страницам дневника за многие годы. Мы возьмем сейчас одну, она без даты. Относим ее к середине 30-х годов. По тону своему и содержанию мы могли бы ее отнести к любому времени и к дунинскому тоже:

«...я ничего лучше не знаю, как если придется в

зимние месяцы в предрассветный час незаметно следовать за детьми, идущими в школу.

Очень часто какая-нибудь девочка, самая маленькая и при дневном свете, может быть, совсем незаметная, одна-единственная на всю большую снежную тишину, рассказывает чудесным языком какой-нибудь необыкновенный сон... Девочка самая маленькая в предрассветный час рассказом своим так захватывает лыжников-озорников, что они, теснясь возле нее молчаливой кучкой, идут как привязанные.

Мало-помалу впереди на востоке белеет, и звезды остаются только позади... И я тоже всем этим пропитываюсь и потом этим языком милой девочки, этим чувством восхищенных ею озорников стараюсь передать действительность, вечно страдая, что слаб, что не в силах вполне так отобразить действительно существующие в жизни чудеса».

В рассказе «Лесной хозяин» описан у Пришвина подлинный случай: встреча в нашем лесу с детьми — братом и сестрой — во время дождя. Нам неизвестно, кто были эти ребята. Мальчика Пришвин, конечно, называет Васей, хотя в рассказе он проявляет черты жестокого бессмысленного озорства, не свойственного уже создавшемуся собирательному из всех дунинских наших ребят милому образу. Тем не менее и такой он чем-то привлекает в конце концов нашу симпатию.

И так хорошо, что любой маленький герой Пришвина расцвечен не одним, а разными оттенками, существующими и в жизни, и на палитре художника.

Рядом с нами жил мальчик Юра, очень тихий. Мы его и не замечали. Но у самого мальчика и у писателя возникли, оказывается, свои тайные отношения. О них никто не подозревал, кроме самих двух участников, и выражались они не в словах... Вот запись Пришвина: «Не знал я, какая цель у Юрки преследовать меня в лесу, когда я иду туда на работу. Сегодня я сел на свой

пень и заметил сквозь листья кустарника, что Юрка тоже там сел на свой пень, тоже вынул книжечку и начал писать. Тут я понял, зачем Юрка преследует меня: он хочет взять с меня пример и тоже хочет сделаться писателем. Я тихонько подкрался к нему и захватил его за работой. Подарил ему маленький карандашик...»

Как отразилась встреча с Михаилом Михайловичем на Юрке? Как повлияла на его дальнейшую жизнь? Никто не знает...

Зато яркий отсвет от встреч с Пришвиным дошел до нас через жизнь другого мальчика, уроженца нашей деревни. Это Виктор Михайлович Панфилов, ныне член Союза художников. В те годы он, ученик художественной школы, пропадал самозабвенно на этюдах, влюбленный в природу. В лесу, на реке, в поле они постоянно встречались с Михаилом Михайловичем. Он был еще юношей, но беседы с Пришвиным открывали для него многое.

Запись Пришвина: «Вечерняя заря разгоралась, солнце освещало уже только верхушки деревьев, внизу быстро темнело, и готовая полная, еще бледная луна приготовилась сменить солнечный свет.

Вот и погас на самом высоком пальчике самого высокого дерева солнечный луч. Художник положил кисть.

— Чуть-чуть не кончил, — сказал он.

— Что же вы теперь будете делать? — спросили мы.

— Ничего, — ответил он, — придется ждать солнечного вечера: нужно одно только мгновение.

— Но такое мгновение в природе не повторяется: пришло и ушло.

— Конечно, не повторяется, но приходит подобное, я вспомню неповторимое и его удержу.

— Разве так можно?

— А как же! На что же бы тогда человеку и быть человеком, если бы у него не было памяти о неповторимом мгновении».

После кончины Пришвина В. М. Панфилов сделал несколько вещей, ему посвященных. Некоторые из них он подарил мемориальному дунинскому дому.

Дунинские дети наблюдали Михаила Михайловича не за его писательским столом, а в обыденной, понятной им жизни: то идет с корзиной по грибы; то за рулем машины; вот он вылез, лежит под машиной, чинит, что-то не ладится; или идет издалека усталый с ружьем и собакой, такой знакомый, понятный и свой. Вот почему часто завязывается у них с Михаилом Михайловичем разговор деловой и как с равным.

Запись: «Деревенские мальчики стреляли из луков. Я им сказал, что им бы научиться делать самострелы.

— Как это? — спрашивают.

— Так и так, — говорю.

Через несколько времени приходит множество мальчишек:

— Чего вам?

— Просим дать нам схему самострела.

Подумать, какая умственность, ну до чего мы дошли: маленькие мальчишки не могут взяться теперь делать что-нибудь без плана: давай схему!

И тем вся новая жизнь отличается от старой...»

Пришвин воспринимает жизнь деревенских людей в целом, для него дети и взрослые неотделимы, его интересует связь поколений, влияние, чувство общности.

Тема: старики и дети. Вот он едет дождливым летом по нашему единственному деревенскому полю, раскисшему от дождей. За рулем у него на этот раз городской шофер, неопытный и беспомощный на деревенской плохой дороге. Он застрял. С собой ни ножовки, ни пилы... Помочь некому.

Запись в дневнике: «Старуха вела детей за грибами с корзиночками.

Ее презрение к городскому шоферу:

— Где топор, где ножовка? — Приказывает ему: — Домкрат! — Посылает за камушками девочек.

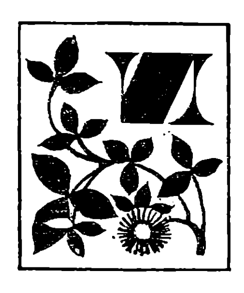
Пока народ пришел... старуха с девочками справилась».

Тема: учитель и народ. Запись: «Ездил в Дунино. Учитель похож на моего героя Волкова (см. «Осудареву дорогу». — *В. П.*), энергичное старое лицо, все исписанное жизненными боевыми рубцами, устремленными к глазам, чтобы высказать мысль человека, все, мол, проходит, и щечки-подушечки, и ямочки, и вся красота, но мысль в глазах остается.

Все было хорошо, но, когда этот учитель стал жаловаться на народ, тут открылся заурядный деревенский учитель. Хороший учитель никогда не скажет плохо о своем народе, и если даже думает так, никогда не откроется с первого разу».

Вася Веселкин прочно поселился теперь в дунинских рассказах и повестях Пришвина. Он то ребенок, то взрослый человек. Всегда он разный и отнюдь не выписывается по трафарету безупречной добродетели, постоянно он меняется и наконец находит свое воплощение в центральном герое последней повести Пришвина «Корабельная чаща». О ней мы расскажем в следующей главе.

ПОВЕСТЬ-СКАЗКА «КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА»



дет жизнь в Дунине, накапливаются новые и новые впечатления. Они присоединяются к еще не выраженным, но неотступным, оставшимся от пережитого во время войны, от не законченной в чем-то (так чувствует автор) «Кладовой солнца».

Все это беспокойно бродит в сознании, требует воплощения, вызывает множество попутных размышлений, начиная с размышлений об отношениях мужчины и женщины, данных в образах брата и сестры в «Кладовой солнца», и кончая большими социально-психологическими обобщениями дневника.

В конце 40-х годов проступают в отрывочных записях уже неясные контуры то ли деревенской повести, то ли романа... Но это будет не развернутое, не всестороннее изображение колхозной жизни, а всего лишь рассказ о новых семейных отношениях, которые Пришвин давно уже улавливает вокруг себя.

Сила и глубина Пришвина как художника не во внешней масштабности, а в духовно-нравственной емкости образа. Основной же образ у него наряду с немногими другими, может быть, даже образ центральный, — это любовь в высшем и чистейшем значении этого слова.

Пришвин живет им с первых моментов своего писательства; на нем строит он свой автобиографический роман «Кащеева цепь»; он трансформируется во всех последующих произведениях, начиная с повести «Женьшень» и кончая последними записями дневника.

Зачастую образ этот запрятан где-то, невидимый, в глубине фундамента, на котором возводится сложнейшее здание — философское, психологическое, социальное.

Так произойдет на наших глазах с повестью «Корабельная чаща». Впечатления же дунинские — это лишь попутные материалы на пути создания новой вещи. Но и они ценны нам, и мы пользуемся возможностью донести их до читателя.

К тому времени наш маленький дунинский колхоз влился в объединенный колхоз «Иславское», известный великолепно поставленным хозяйством. Во главе «Иславского» стоял председатель его Дюков, человек недюжинного ума, огромного роста и удивительной физической силы. Колхоз своим процветанием был, несомненно, обязан во многом его хозяйственному таланту.

— Хорош ли Дюков? — спросил однажды Михаил Михайлович нашего бывшего председателя Федора Ивановича Панфилова.

— Наш мужик, хорошо работает, — ответил тот.

«Это *наш,* — пишет Пришвин, — у Панфилова означает и что мужик, и что водку пьет, и что «простой» — не гордый. Это стихия общая, народная, подобная луговой траве, забивающей сорные травы, в то же время оставляющей им где-то в своих местах право расти».

Прослышав про колхоз, Пришвин отправляется туда, «чтоб своими глазами посмотреть».

Иславское с Дюковым — это на нашем берегу, а на противоположном — село Козино. Там был сельсовет. Михаил Михайлович познакомился с председателем Козинского сельсовета, поразившей его молодой женщиной

Тамарой Башмаковой. Он записывает: «Председатель Козинского сельсовета Тамара вышла замуж за простого рабочего и попала в руки собственницы дома свекрови своей. Дом этот свекровь представляла как незыблемое достояние своих отцов, и в этот дом надо было нести свое жалованье и отдавать в руки свекрови. Но Тамара взбунтовалась, попросила в райсовете ссуду, а пока обежала всех нас, набрала в день десять тысяч, в какие-то три дня купила свой собственный дом.

Для свекрови эта демонстрация нового человека была таким же чудом, как если бы кто-нибудь разрушил храм и в три дня снова выстроил... Тамара — героическая женщина, она здесь, в этой деревне, родилась и выросла...»

Сцена на берегу реки — Тамара с мужем и ребенком, Пришвин наблюдает отношения в деревенской семье и по живому впечатлению коротко записывает: «Новое — муж по колено в воде полощет белье и бросает на берег жене, а та отжимает. Мужчина с ребенком на руках. Вопрос о новой семье: 1) Новые права и обязанности женщины и новое внимание к женщине у мужчины; 2) Разрушение старой души мужчины; 3) Мать Тамары сказала, что пример хорошего (в отношениях) мужчины и женщины идет от интеллигенции.

Если бы из нашего общества выкинуть скептически-насмешливую оглядку на людей, какой бы превосходный материал «Дунино» для рассказа, подобного «Степи»! Мысль «Дунина» в том, что «интеллигент» побеждает «мужика». Живое свидетельство этой мысли — председатель сельсовета села Козина».

Эти две встречи с Дюковым и с Тамарой легли в закрома памяти и, чтоб вместе прорасти, дожидались еще одной встречи с деревенским человеком — с нашей Иришей. Ириша — пожилая рязанская крестьянка, пронесла на себе и вынесла, не сломившись, весь труд прежней деревни с ломкой и переходом в еще не установившееся

новое время. Вырастила детей, внуков. Волевая и властная, она не выдержала отношений с зятем и пошла в город «жизни попытать». Ириша жила у нас весь тот год.

Тяжелая, трезвая опытность Ириши — матери, бабушки и тещи, приправленная мрачноватой иронией, была прямой противоположностью беззаботной легкости нашей Марьи Васильевны, которая сейчас жила с моей матерью в Пушкине. Та была старая девушка и вышла из городской среды пушкинских московских просвирен. Отец ее был краснодеревщиком, дед — дьячком, и жили они несколько поколений в одном и том же районе, и хоронили своих стариков на одном и том же кладбище...

Тонкая, белокурая, с фиалковыми глазами на удлиненном худом лице, она всегда улыбалась, если некому было, то самой себе, и не допускала ни в чем никогда сомнений в худую сторону.

«Все в порядке!», «На 105 процентов!» — это были ее любимые и неизменные присказки по любому поводу.

Ириша, по собственным ее словам, битая и гнутая, с темными мрачно блестящими глазами на кругловатом несколько отекшем лице, была сильна и вынослива.

Запись: «Марья Васильевна, девушка в 57 лет, определилась как счастливая птица: она не знает времени, не считается с людьми, со своими силами, возможностями, долгом. Напротив, Ириша, женщина, пережившая двух мужей и шесть человек детей, является у нас на даче фоном, на котором показывается во всей красе Марья Васильевна.

— Она, — говорит Ириша, — живет как птица в раю, а я в лесу на земле: в раю тем хорошо, что нет никаких забот, а на земле нет дерева, где бы птица не посидела, и нет человека, которого не посетила бы забота.Что Марья Васильевна! — поднялась и полетела куда хочется, а у меня только в 17 лет так было... Полюбила я тогда на свое горе ученого...

— Ученого?

— Три класса кончил, — да! А меня насильно за мужика. Этого убили на войне, вышла за другого, а этот сам умер. Так и осталась с шестью от нелюбимых мужей, и не думаю о них, а того...

— Ученого?

— Того все помню. А Марье Васильевне что! ей жизнь рай».

Ранней весной 1949 года Михаил Михайлович с Иришей жили некоторое время в Дунине вдвоем. В результате рассказов Ириши вечерами возле самовара Михаил Михайлович, вначале из прямого сочувствия Ирише, задумал деревенский роман о семье Веселкиных с целью показать формирование новых семейных отношений, основанных на свободной сознательной любви в противовес «родовому року» старого быта. Запись: «О смене родовой принудительной безликой любви старого времени и свободной любви (из «гулянья» наших дней)».

Автор намеревается сделать главными деятелями в преобразовании семьи детей, противопоставив их бабушке, хранительнице старого понимания жизни. Невыгодную же роль бабушки он поручает в романе своей вдохновительнице Ирише — такова беспощадная закономерность творчества в искусстве.

Сюжет деревенского романа складывался так: мать (Ириша) выдает замуж «по сговору» свою дочь за лесника Василия Веселкина: «любить в крестьянской жизни некогда!»

«Женился Василий за год до кончины отца: корова объелась сырой травы, раздулась и, пока фельдшер пришел, прямо на поле издохла. За Леночкой давали корову — вот из-за коровы этой, больше из почтения к отцу и женился Василий. Теща оставалась в своем доме с двумя козами, а Леночка пришла с коровой.

Жили молча, лесник горел в лесных делах, Леночка робко входила в положение хозяйки. И сам мало думал

о своей семье Веселкин, и разговора с людьми о ней не допускал...

Василий — силач и великан. Из-за (больной) ноги на фронт не попал и определился кладовщиком на военном заводе... Сошелся с засольщицей — красивая вдова с тремя детьми. Нужда мужчины и сила женщины... У засольщицы свой дом с участком. Василий про то, что женат, сказал, а что у него четверо — промолчал.

Тут немного от Самсона, которому волосы обрезала Далила. Изобразить муку мужскую бешеную и, может быть, все последующее как освобождение от нее».

Появляются знакомые нам по повести «Кладовая солнца» маленькие герои — брат и сестра, носящие пока другие имена. Автор задается целью показать на их жизни те отношения подлинно высокой человеческой любви, к пониманию которой он намерен привести в конце повести своего Василия Веселкина и его жену.

Через анализ отношений брата и сестры автор хочет попытаться проникнуть в глубинную сущность двух противоборствующих и в то же время дополняющих друг друга начал — мужчины и женщины. Данные в образах детей — брата и сестры, — они тем самым освобождаются в повести от всякого налета эротизма (если понимать это слово в его вульгарном значении, а не в том, какое ему сообщает родившая это понятие греческая классика), и перед нами предстает в чистой детскости как бы извлеченный из проблемы корень ее или смысл.

Так это было задумано в романе и так осуществится много позже в повести «Корабельная чаща». Запись: «Внутренняя моральная тема моей повести это — будьте как дети».

«Близнецы Зина и Вася были всегда неразлучны. Вася был щебетун, а у Зины на устах всегда замочек висел. Но щебетал Вася с одной Зиной и ей одной слова свои доверял... Зина была такая, будто знала и понимала цену слов: она улыбалась глазами, радуясь словам

Васи, но сама не говорила и ждала, когда придет такое настоящее слово... Отношения Васи с Зиной описать с моих с Л.».

«Тем временем теща смекнула, что Василий заполонен другой бабой, и пошла к прокурору, написала бумагу директору завода, что три года дом без хозяина, и если он сошелся с другой, то ему за три года платить алименты на четырех.

Василий является сердитый, с женой не спит. Теща догадывается, дети думают. Вечером стелет постель отдельно. Намечается связь двух детей с отцом, а других двух с матерью. Детская мысль является одним из главных планов романа.

Василий пишет письма и обещает привезти двух детей, а ответа нет. Пишет и сохнет. Он же насчет своих детей обманул засольщицу, и какой ей расчет брать двух чужих, когда своих трое. Он пишет и сохнет...

Теща, когда все заснули, выкрадывает письмо. Открыта вторая жена. Сама теща неграмотная, зарыла письмо в пшено. Заставила читать Зину, та, поняв измену, заплакала. При разгорающейся войне Вася говорит теще: «Тебе папаня чужой, а нам он отец».

Теща противопоставляет зятю — его «котованию» — слова: «Мы на народе живем!» В деревенском быту «народ» — это хор, следящий за действием. Собрать материал для характеристики хора; например, глядят в окна, какая у новобрачных постель, и т. д. И еще теща говорит: «Кто где рожден, тот тому и принужден». Новый «хор» этому возражает».

Мы наблюдаем, как рассказ Ириши о своей молодости вызывает сочувствие у Пришвина и наводит на мысль изобразить новые, лучшие семейные отношения, пусть лишь мечтаемые им.

Но чуткий художник не может самообмануться: Ириша рассказывает далее о своей последующей жизни — и у Пришвина возникает в романе та мать и теща с отталкивающими нас чертами, которая роковым образом повторяет опыт предыдущих поколений, сама в прошлом будучи их жертвой.

Угнетенный Василий вспоминает давний рассказ старого лесника Антипыча о какой-то удивительной корабельной чаще на севере. Древесина нужна для послевоенного строительства — и Василий уходит из домашней тесноты искать заповедную чащу. Теща уверяет, что он ушел к новой жене. Жена верит — не верит.

«Теща, виновница брака не по любви, после ухода отца принялась за хозяйство: всех накормить, обстирать, все вычинить, прибрать, за скотиной уход, огород... А мать ходила в колхоз, набирала трудодни.

...Изобразить жизнь женскую. Ждет отца, мужа. Тайный дух колхоза — материнство.

У Леночки никаких слов не было, она только глядела и делала, слова у нее были только для детей, когда они маленькие были: на одном плече Зина сидит, на другом — коромысло.

Разговор матери с дочерью, как борьба нового с ветхим. Тещу за первого мужа насильно выдали, а за кого хотела — тот не достался. Леночку удалось против воли устроить за своего жениха. «Все равно, — думала теща, — любить в крестьянской жизни некогда! Наша крестьянская жизнь была в послушании и труде, а любить нам некогда».

— Но теперь же по любви выходят, — отвечает Леночка, — с кем гуляют, за того и выходят, и работают в колхозе не меньше, чем раньше у себя работали. Не тадышнее время, а все по-новому: без колхоза жить нельзя.

Мать слушала и не знала, что сказать, и, чтоб замять

разговор, перешла на плетень, что вот с тех пор, как Василий ушел, плетень начал разваливаться.

— Нет, — перебила дочь, — вы не плетите плетня мне, а отвечайте, почему вы так говорите, что любить в крестьянстве нельзя, а сейчас видите — и работать можно, и любить можно... Матушка, вам стыдно: вам не удалось, и меня выдали замуж тоже не за того, с кем я гуляла.

— Доченька, твой ухажер был дурак. И я так понимаю: лучше я выдам тебя за сильного, за статного, умного, чем за дурака.

— Лучше с дураком быть счастливой, чем с умным несчастной. И я вам скажу: нет у меня желания к нему, и я не жду!

— Не ждешь оттого, что я дома сижу с ребятишками, а ты работаешь в колхозе за мужика. Я уйду от тебя, сяду на землю, коз заведу, овцу. Коза прокормит меня, овца оденет. Как уйду от тебя, вот и будешь ждать, вот как будешь ждать мужа».

Воспользуемся некоторой остановкой событий в семье Веселкиных и спросим себя: где же кроется сила, способная преобразить быт и создать новые отношения? Отвечаем: эта сила в личности современного положительного героя, носителя новой морали. Пришвин трудится над созданием этого образа, притом на основе многих и очень разных лиц, которые он черпает и в литературе, и в истории, и, главное, в живой жизни возле себя.

В основном он кристаллизуется у Пришвина из самых близких людей его окружения: «Веселкин выйдет из П. С. (капитана)». И далее: «К прототипу капитана академик К. (Капица). Всякое творчество требует честности. Особенное свойство Капитана и Академика — они честные, даже и взахват честные».

«Живой человек» — это герой моей будущей повести, соединенный из фигуры моего друга О. (капитана), Суворова, Руссо, Ивана-дурака, Дон-Кихота, с тем ощущением детства нашего внутреннего, и природы, и себя самого в своей вере в жизнь и любовь».

«В детстве нам называли лучших людей *умными.* И когда, бывало, скажут о ком-нибудь «умный», то мы такого человека уважаем. Но если бы среди великих имен Канта, Спинозы, Дарвина или еще кого-нибудь стали искать «умного» человека в нашем детском понимании, то и среди великих ученых «умного» мы, может быть, и не нашли.

Понимаем теперь, что в наше время умным человеком называется человек, обращенный сердечным вниманием к другому человеку, и это не просто добрый, а как бы умеющий делать добро, и не просто добродушный, а знающий, в какие именно руки направить добро.

Мой живой человек это именно и есть «умный» человек в нашем смысле — находчивый в правде...»

Перед нами длинный ряд прототипов. По крайним границам этого ряда ложатся все определяющие у Пришвина два мировых образа-антагониста: это Дон-Кихот и Иван-дурак. Анализом и сопоставлением их постоянно занят писатель.

Первая формула, которую он будет раскрывать: Иван-дурак — от природы, Дон-Кихот — от человека.

«Иван родился в навозе прежде всех времен: он есть сама природа, не обращенная еще человеком в собственность и чудесно сохраненная в человеке. Особенности Ивана: умел ждать — караулил кобылицу. Умел время проводить — беззаботно пел. Себе не брал, а получал. Иван — враг умысла».

Иван в понимании Пришвина олицетворяет начало сказочное, не подчиненное нашим привычным законам факта и логики, и потому, с точки зрения Дон-Кихота, Иван служит сказке-лжи.

«Путь Ивана-дурака, то есть путь искусства (сказки), — путь восприятия жизни цельной личностью. Так я и сделал, сбросив все «умное» на Севере».

Дон-Кихот в противовес Ивану происходит не от природы, в природе нет милости, то есть участия к человеку. Эта милость — уже от самого человека, от Дон-Кихота.

Осуществить «милость», или справедливость, или правду в отношении страдающего человека — это задача нового времени. (Впрочем, таким, вероятно, было и всегда — в любые времена — отношение нового к уходящему...) Герой повести большевик Василий Веселкин борется за это дело. Его чуткость к идее современности столь велика, что он готов принести ей в жертву все ему дорогое. Так он уходит от семьи, так рубит драгоценную чащу... Для творимого Пришвиным героя в каком-то смысле «не люди дороги, а правда».

Вторая формула у Пришвина: в Иване — искусство, в Дон-Кихоте — наука.

Признак нового сознания у нашего героя — это упор в науку, но такую всеобъемлющую науку, которая является единством всех наук, искусств и техники. «Так Веселкин, читая Ленина, и представлял по себе «науку наук», — это наука о том, как соединить всего человека прошлого времени и настоящего, чтобы будущему человеку было бы хорошо. Каждый человек умирает, но каждому дано делом своим опередить смерть. В этом вся новая мысль: немедленно браться каждому за дело, чтобы все науки работали в пользу единства всего человека на всей земле и во все времена».

Итак, герой будущей повести — это правдотворец или рыцарь правды. Поначалу он находится в борьбе со сказкой, как с источником лжи. Ради правды наш герой (именуемый иногда П. С.) не допускает воображения: «Сказками меня не обманешь — давай святую материю...»

Но если кинуть взгляд на знакомые образы и идеи с другой их стороны, тогда нам покажется в них совсем иное и новое: тогда станет понятным, что сказка (или искусство) нам нужна, как нужна атмосфера вокруг Солнца; для продолжения жизни необходима и тень, иначе все сгорит в нестерпимом свете. Так и для сохранения правды необходима сказка. В то же время сказка все-таки личное дело, и, как личное, оно вытесняется правдой. И снова, если иначе посмотреть, с одной правдой «ни сказки сказать, ни свадьбы сыграть, ни похоронить близкого человека».

«Дон-Кихот вбил себе правду в голову как гвоздь, а правда как зеленый росток среди весеннего хлама: страшно смотреть, какая борьба!»

Если все это увидать и понять, то неминуемо два противоположных начала выступают на поиски своего единства — без этого не может быть движения жизни на земле. Происходит борьба, или, точнее, взаимодействие правды и сказки, формулы и образа, науки и искусства, незыблемого закона и абсолютного случая, диктатуры и свободы, света и тени — Дон-Кихота и Ивана-дурака.

Присматриваясь к современности, Пришвин полагает, что «колесо истории повернулось (сейчас) к Дон-Кихоту». Но он тут же ставит себе сверхзадачу, «пусть утопическую», спасти и соединить необходимые для жизни и правду и сказку. Погрузившись во весь хаос мировой мысли и выбирая из прошлого «все годное для создания нового времени», Пришвин пытается привлечь к делу одновременно и Дон-Кихота и Ивана-дурака.

У писателя происходит стремительный переброс мысли с одного края своей шкалы образов на другую, и, бывает, он сам иногда останавливается, робея: «...Страшно становится, когда представишь себе задачу обратить испанского рыцаря Дон-Кихота в русского Дурака!»

Переведя этот образ на язык прозы, мы скажем:

Пришвин задается «утопической целью» соединить в идеале свободу и необходимость. Эта же «цель», в сущности, была и в основе «Осударевой дороги».

Вернемся, однако, к покинутому нами в его развитии действию деревенского романа.

Уход Василия к новой жене возник, оказывается, лишь в воображении тещи. На самом деле Веселкин в поисках корабельной чащи попадает в госпиталь. Там он встречает медсестру Юлию, страстную читательницу, одинокую старую деву. Это был прямой портрет уже знакомой читателю нашей Марьи Васильевны. Бескорыстная привязанность медсестры к Веселкину и влюбленность в литературу способствуют пробуждению нового сознания у Веселкина. В состав этого «нового» входит и потребность более глубокого отношения к женщине — иного понимания ее существа.

Новое — это образ «Дульсинеи» в обычной женщине, образ, который раньше был неведом Василию. Пришвин успел набросать вчерне разговор медсестры и Василия о Дон-Кихоте:

«— Вы читали Дон-Кихота?

— Нет, я не читал, — ответил Веселкин, — но так по слову знаю. Вот лошадь была у нас Володя, и было понятно нам ребятам: Во-ло-дя, значит долгая, сонная... А Дон-Кихот — это человек худой, длинный, и весь ни к чему — ни себе, ни людям.

— Ну, это чисто внешняя сторона и смешная. А я так люблю Дон-Кихота, что ношу его с собой в числе своих «вечных спутников». Вам это надо прочесть. Хотите? Я вам принесу.

— Сестра Юлия, — вдруг сердито окликнула ее старшая сестра Махова, — идите скорей сюда и бросьте свои разговоры с больными.

Но сестра Юлия, девушка пятидесяти лет, слыхала

и не слыхала окрик старшей сестры. Белокурая, худая, высокая, с большими восторженными глазами какого-то как бы лилового цвета, улыбаясь приветливо всей душой Веселкину, она успела сказать:

— Я вам принесу Дон-Кихота.

— Сестра Юлия! — резко повторила Махова. И, язвительно улыбнувшись, тихо сказала доктору о Юлии:— Девушка!

У нее у самой было шесть человек детей, и, познав жизнь, она дивилась всему лишнему в жизни Юлии, и, когда это ее раздражало, с язвительным упреком она шептала: «Девушка!»

Не раз, случалось, Махова раздраженно и в глаза говорила ей неприятности, но «девушка» не обращала на эти слова ни малейшего внимания. Всегда с веселой улыбкой отвечала: «Слушаю, все будет в порядке!» И делала все по-своему, и удачно и неудачно. Сейчас у нее в голове засела мысль о Дон-Кихоте, и, радостная, она держала Дон-Кихота в уме и заранее сладостно переживала будущее, когда Веселкин выскажется о Дон-Кихоте.

Теперь каждый день, подходя к койке Веселкина, она спрашивала:

— Читаете?

— Понемногу...

И через неделю был у них такой разговор:

— Сестрица Юлия, скажите мне, за что у вас Дон-Кихот попал в вечные спутники?

— За Дульсинею.

— Вот как! А сам Дон-Кихот?

— Мне его жалко. А вам?

— Нисколько! Напротив, мне жалко мельницы.

— Мельницы!

— А как же. Хорошо еще ведь, что Дон-Кихот бросился ломать их в ветреный день и они его отбросили. Только я тут понял, что вся эта сказка в насмешку на-

писана, и автор писал ее в борьбе за правду: боролся, как мы теперь, — не на живот, а на смерть.

— Какой вы умница! А как вы поняли его борьбу за прекрасную Дульсинею?

— Не понимаю, — ответил Веселкин.

В это время сестра Махова позвала Юлию, и Веселкин услышал, как она вполголоса опять сказала доктору: «Девушка!» И тут Веселкин вспомнил, что Дон-Кихот тоже был неженатым, и сказал сам себе: «Вот пара бы вышла! — И, вернувшись, взял свой фонарик новой мысли и, осветив все, сказал: — Конечно, и Дульсинея тоже в насмешку».

— А Дульсинея — это тоже правда! — сказала Юлия, вернувшись в палату, и так покраснела, что слезы заблестели на лиловых глазах.

Можно после «Дульсинеи» продолжить разговор о личной семейной жизни Веселкина, и Юлия заключит: «Ну, смотрите...» Веселкину тут самому станет чего-то стыдно, и он покраснеет.

Так подготовляется почва для встречи с покинутой женой и рождению любви», — заключает Пришвин.

После увлекательных и опасных происшествий дети наконец находят отца, и он возвращается к семье. Начинаются новые отношения. Пришвин записывает: «Любовь традиционно-крестьянская превращается в любовь новую (родовой строй и колхозный)... В теме «колхоз» сила материнства, освобождаясь, наращивает что-то сверх терпения и милосердия и называется не жалостью (не только жалостью), а любовью, определяющей новую жизнь».

Перед нами открывается оборотная сторона творчества: на наших глазах происходит волшебный и таинственный процесс перевоплощения прототипов, найденных писателем в жизни, в действующих лиц его пове-

ствования. Мы видим, как в будущем романе намечаются следующие герои: Василий Веселкин складывается из множества лиц — их список нам известен. Подчеркнем только еще раз, что в нем живут и два новых друга Михаила Михайловича — «Капитан» и «Академик».

Жена Веселкина складывается из образов председельсовета Тамары и еще Леночки, нашей близкой знакомой, молоденькой женщины-географа, вышедшей как раз в том 1949 году замуж и действительно на наших глазах «робко входившей в положение хозяйки». Кто ее наблюдал тогда, женственную и робкую, знает: лучше о нашей Леночке и не сказать!

Теща и старшая сестра Махова — обе происходят от Ириши. Медсестра Юлия — от Марии Васильевны. Дети — брат и сестра Веселкины — появились уже раньше на свет, в «Кладовой солнца», и сейчас перекочевали из повести в повесть с новыми оттенками.

Так начался новый роман. Но вскоре течение мыслей было перебито нашей большой охотничьей и рыболовной экспедицией с семьей «Капитана» из Дунина в знакомые ярославские места: деревни Усолье, Хмельники и Новоселки. Там Михаил Михайлович погрузился, можно сказать, ушел с головой в лесные трущобы, обрадовался им после нашего истоптанного Подмосковья. Он был захвачен могучей и дикой природой. Бродил один по лесам, по своим любимым болотам. Однажды из-за потери очков по-настоящему заблудился в лесу.

В Новоселках Пришвин встречает Ивана Ивановича Фокина, одного из правдоискателей, во множестве «притаенных в народе». Это был строитель и бессменный директор деревенской школы, у него и остановилась наша экспедиция. Деревенскому народу он отдал без остатка свою жизнь. Ученики его, несомненно, и сейчас еще работают на ярославской земле. Там он жил, там и его

могила, в нескольких десятках метров от школы. Умер он неожиданно при срочной операции язвы желудка. Запись: «1948 г. 1 декабря. Умер Фокин — погас один из очагов Берендеева царства...»

В память друга, достойного и скромнейшего народного деятеля, Пришвин пишет рассказ ко Дню учителя «Хороший человек».

Пришвин вводит Фокина в круг людей, характеризующих основное направление его повести: Иван Иванович сохраняет в повести полностью свое лицо и имя.

Со времени этой поездки природа вновь стала основным героем у Пришвина, постепенно отодвигая намеченные человеческие персонажи на второй план и упрощая задуманный сюжет о новой семье. От прежнего в конце концов остаются только дети и природа! Запись: «1949 г. 4 июля. В лесу я нашел себе источник бесконечных открытий... я стал на путь нового изучения природы, и человек в этой новой природе начнется детьми... Так, изучая природу, мы можем подойти к границам, за которыми находится такое человеческое, чего нет в природе».

Проходит время. Пришвин то делает записи о лесе к будущей повести, то занимается обработкой переписываемых мною дневников. Пишет ряд рассказов, повесть «Заполярный мед». Наконец в 1952 году он делает решительную запись: «Просачивается охота взяться и сразу единым духом написать вторую книгу «Кладовой солнца» (лесной повести) с целью собрать в единство все насмотренное и написанное в лесу. Начнется с того, что к детям в Усолье дошел слух, что отец их жив, и они отправились искать его».

Так роман превращается в повесть «Корабельная чаща». По материалам неосуществленного романа был

написан и посмертно напечатан только один рассказ «Молодой колхозник», имевший, кстати, у автора вначале более выразительное название «Арина, мать солдатская».

«Корабельная чаща» — скорее басня, чем повесть — так обильно насыщена она символами, то есть вторичным, толкуемым образами смыслом. Этот смысл или эта мысль так напряжена — будто огнем горит она, перебегая по строкам, и волнует нас страстной своей недосказанностью, не умеющей или не смеющей открыться до конца.

Задачу повести автор определяет так: «Повесть о лесе должна быть согласована с движением души современного человека».

Центральный образ, в который прячется басенный смысл, — это борьба и согласие света и тени (или правды и сказки), двух жизненных начал, определяющих все и в природе, и в человеческой душе, и в человеческом обществе. «Чувствую в своей повести главным планом философию света и тени... Я беру лес и создаю сказку о борьбе света и тени».

О каком движении души современного человека сказал только что Пришвин, определяя свою сквозную, все объединяющую задачу? Он отвечает так: «Мысль моя определенно ходит по истории. Слово свое имею от русского народа... России суждено сказать новое слово... В Лесной повести приближаюсь к финалу, который заостряется то ли в чувство правды русского человека, то ли в мире... К чему выведет — не знаю».

Иногда нам кажется, Михаил Михайлович настолько проникнут чувством современности, что пишет как бы загипнотизированный некой мировой идеей, лежащей в более широком кругу, чем отдельное человеческое сознание, в частности его сознание художника. Этим и объясняется ощущение, что не он пишет, а его ведет, «а к чему выведет — не знаю».

Идея, которая сейчас *ведет* Пришвина, есть жгучая мысль о современности. Пришвин так записывает в дневнике, заканчивая повесть незадолго перед своей кончиной: «...На берегу Атлантического океана умирает богиня свободы и кончаются века, посвященные этому слову...»

Наступают новые века... Как их назвать?

Об этом у Пришвина разбросано множество домыслов, и записанных, и сохраненных в памяти нашей — его собеседников. Свобода, проповеданная в истории, себя не оправдала: она не освободила человека. Пришвин предвидит наступление новых веков, он называет их веками правды. Он противопоставляет свободе, внешне и формально определяемой, подлинную свободу. Эта свобода не дается извне, а создается творческими усилиями каждого человека — его нравственным подвигом, его делом. Это и есть правда истинная, по излюбленной и принятой в повести терминологии автора.

Заканчивая повесть, он записывает: «Показалась близость ощущения какой-то Большой Кузницы, где куют и куют на будущие века, заступающие века Свободы — на все века наступающей Правды — свои особые новые слова». Так пишет Пришвин и тут же разъясняет смысл басни: «Простыми же совсем словами сказать, мы хотим, чтобы века правды, сменив века свободы, действительно освободили пребывающего в рабстве человека».

«Наш старый русский интеллигент приходит к новым убеждениям не потому, что у себя хорошо, а потому, что там, куда он с детства с верой смотрел, стало плохо, и не потому плохо, что там есть нечего, а что нечем стало там дышать...»

«Слушаю «Голос Америки», до того там грубо и глупо, и сказать нечего. Когда сам ругаешься на своих, то кажется, это ничего, а когда на них же на своих американцы пускают русских собак — тут плохо становится

и хочется защищать то самое, что позволял себе ругать».

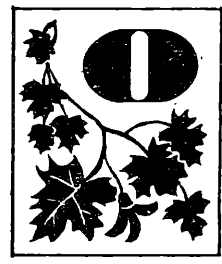
Из разговора с другом: «...Личная свобода как благо культуры Запада. Больше сказать ему нечего. Я ответил, что эта свобода там есть наследие прошлого как результат подвига в прошлом лучших людей. У нас же сейчас пришло время такого подвига, и в нем каждый живой человек может найти свою свободу».

Пришвин работал над повестью до конца жизни. Окончил ее в декабре 1953 года, скончался через месяц после того. Вышла она из печати вскоре после его кончины.

«Корабельная чаща»... Пока не вчитаешься — слышишь какой-то гул бессловесный, глухое бормотание, и все об одном, об одном — о какой-то правде истинной, которую ищут все участники действия. Не человек это — лес шумит. Гул лесной идет среди могучих лесных грив с увала на увал по бескрайнему сузему. Бессловесный гул, но из глубины его просится на свет, хочет родиться живущее там человеческое слово... Это слово правды истинной, всем понятное, всем желанное, с таким трудом и мукой осуществляемое...

«Слово правды, — говорит Пришвин, уходя из жизни, — делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобою одним».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ



писателе судят не по жизни его, а по трудам. И это справедливо: в писательстве человек трепещет, как куст на ветру, каждую минуту он новый, как говорится, сам не свой. Бывает, правда, и так, что именно через творчество человек становится собой и сбрасывает с лица все нажитые лживые личины или маски.

Михаил Михайлович Пришвин, как мы наблюдали и как понимаем его теперь, был именно таким.

Рассказ подходит к концу, и надо бы нам сейчас говорить о том, с чего мы начали, — о единственно достоверном: о самой жизни и человеке в ней. «Пишу как живу» — это был у Пришвина не риторический жест, не красноречивая фраза, а чистая правда о себе.

В последние свои годы Пришвин неоднократно ставил именно этот вопрос — об искусстве как о творческом поведении человека. Ставил, ходил вокруг него в поисках ответа и наконец нашел ответ, четкий, как формула.

Проследим за этими поисками у Пришвина.

В 1950 году 1 июля он записывает: «Капица сказал, что в поэтическом произведении не допускается ни малейшей доли лжи. Он прав, но надо выяснить, что есть

в поэзии правда, а что ложь, и в связи с этим — что есть поведение автора, о котором так давно я думаю и не прихожу ни к чему».

8 сентября: «Содержание художественного произведения определяется только поведением самого художника... содержание есть сам художник, его собственная душа, заключенная в форму».

1952 год, 31 декабря: «Всякое великое произведение искусства содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, достигая правды своей картины, преодолел в себе давление жизненной лжи».

И наконец, в последнем, 1953 году 2 апреля Пришвин находит краткое и точное определение: «Поведение у меня скорее всего означает *долг быть самим собой...»* (выделено мной. — *В. П.*).

Вся жизнь и работа этого человека были направлены целиком на поиск, и отстаивание, и сохранение своего лица, как заданного жизнью величайшего созидательного дела. Спросят: «Только для себя и ради себя?» — «Нет, — ответим мы, — только ради прекрасного Всечеловека, организм которого может и должен складываться из лиц (личностей), а не из личин. Лица должны сохранять каждое свое выражение; в неповторимости, цельности, подлинности *каждого* и будет состоять богатство и величие *всего* человеческого общества».

Вот что значит у Пришвина его «долг быть самим собой». По существу, здесь снова идет речь о подлинной свободе. «Искусство как образ какого-то поведения, открывающего путь к свободе» — так пишет Пришвин. И далее: «Свобода, высший дар человека, определяется предшествующим ей чувством порядка или гармонии и, в свою очередь, определенным предшествующим поведением... Исследователи в этих случаях обращаются к биографии и ничего в ней не находят...» Читателю, несомненно, понятно, что речь идет не о внешних, биографических фактах, а о подлинной внутренней жизни.

Такая долгая жизнь — 81 год! Век Пришвина простирался от воздушных шаров до реактивных самолетов — какое стремительное движение! Поспевал ли за ним этот человек? Лицо его, открытое, спокойное, не искажено спешкой. Внимательный взгляд, обращенный с готовностью ответа к каждому. Может быть, он задержался еще в том медленном мире с воздушными шарами? Нет и нет! Так сказать будет ошибкой.

Мы понимаем: этот человек был посредником между двумя эпохами, он об этом недавно нам сказал, — эпохами свободы и правды. Уходящая не умирала — она врастала в новую, которая рождалась. Это была не смерть, а созидание великой истории человека, недоступной нашему глазу и нашим оценкам мгновенно проходящих двух-трех поколений.

Пришвин, как и каждый, нес в своих руках драгоценные зерна прошлого для далекого нового будущего, веря в него и еще неясно различая. Лица уходящих веков и веков наступающих сливались...

В свете этих мыслей понятна будет запись Пришвина, сделанная за два года до смерти: «Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками, и несу его, и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет, и надо будет зажечь на земле новый огонь.

Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время?»

Вспомним размышления Пришвина над противоборством света и тени, или, в ином понимании, добра и зла. Выход из этой борьбы Пришвин видит только в личности самого человека — царя природы, в ее возможном совершенстве: «Я — встреча света и тени и разрешение их борьбы». Полная тень — это полная тьма, и потому

она не воспринимается зрением, значит, она не существует. Так и зло перед лицом добра.

Не для отдыха или здоровья жил он свои последние годы в Дунине. Он жил в природе, как ученый живет в лаборатории, — это была его мастерская. И не о самой природе писал он, а о природе человека. Писал, не позволяя себе минуты передышки. Он просыпался с рассветом, пока люди еще спали, чтоб с этими спящими неведомыми ему людьми вести свой разговор. Пока были силы, он писал так, чтобы все вместе с ним удивлялись и радовались чуду жизни. Когда силы стали иссякать, он находил в себе волю радоваться и верить в жизнь через силу.

В Дунине, на природе, он пережил свои последние радости телесного здоровья, которые давались ему в первые три года без чрезмерной борьбы. Выразительны в этом смысле короткие отметки в дневнике:

«Сбегал в лес по грибы... Едва донес корзину...» Или: «Опавшие листья уже запахли пряниками. Редки белые грибы, но зато как найдешь, так и набросишься на них коршуном, срежешь и вспомнишь, что обещался, увидев, не сразу резать, а полюбоваться. Опять обещался и опять забыл».

В дунинские годы он мало охотился ради самой охоты — только ради натаски собаки: «Сегодня утром в тумане стрелял перепелов. Жулька была на высоте высот. Ходил на болото Николиной Горы. Итого ходил 7 часов. Было жарко, солнце мучило. Шел из последних сил, боялся кончиться. Но добрался до реки, вымыл голову и после того подобрался.

И что это — не знаю: отдохнув от усталости, чувствую себя новорожденным... Я спрашиваю доктора (Ляпунова), что еще, кроме средства моего личного опыта,

может он мне рекомендовать для ухода от болезни, а не ухода в болезнь... Будем и дальше так «лечиться».

В конце сентября с удовлетворением мастера записывает:

«Вообще справиться в мои-то года с лавераком — это чудо».

«Радость жизни на охоте вливается в душу широкой струей, как вино из кувшина в рот».

«Утром в лесу видел: молодая белка спирально спускалась по дереву, а на другом дереве еще две, а там дальше, вверху и на самой высоте, тоже листва шевелилась. Я замер на месте — и одна маленькая, задрав хвостик, как большая, чувствуя мою близость, замерла. «Вот, — подумал я, — пришел бы охотник и грохнул, ведь это ужас!»

В другой раз, увидя рябчика, бегущего ему навстречу по дорожке, он восклицает: «Как хорошо, что я без ружья!»

Что это было у Михаила Михайловича, эта «жалость»? Уступка возрасту или, наоборот, возрастная духовная зрелость, гармония?

Радость жизни как обладание ею, как власть над ней, как ощущение всеобщей связи в делании *лучшего* на земле и служение этому лучшему создает особое состояние души, названное Пришвиным чувством благодарности: «...Благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками, и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека: за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу». Этого Пришвин ожидает, он требует этого от всех людей как основание их человеческой связи, достоинства их отношений. И когда он наблюдал и на себе переживал между людьми разлад, непонимание, вражду, он

все такое относил к тому многозначимому для него определению неблагодарности. Кому или чему? Жизни, ее смыслу, красоте и самой верховной задаче человека в ней. Здесь, видимо, надо искать корни его несокрушимого оптимизма.

«Радость жизни нельзя навсегда удержать у себя: радость приходит и уходит как гость. Но этот чудесный гость у хороших людей оставляет после себя благодарность, и ею созидается, ею питается продолжение жизни.

Но есть люди неблагодарные, и все-таки и они тоже живут и тоже продолжаются...» Пришвин в недоумении и горе останавливается перед черствостью души: «Какой денек прошел в грозе, и как радовал на закате сквозь лес красный глазок солнца!.. Теряюсь и мучусь: как же мне дальше жить с неблагодарными?»

Его уже близко ждали испытания и удары один за другим; так, наверное, и надо человеку, чтоб он мужал, рос в глубину. Льстивая жизненная удача ничего не дает, не прибавляет. Пока же шел еще наш счастливый 1948 год.

Я вспоминаю сейчас две дорогие мне записи того года — глубина первой и простота второй:

«Дождик вчера метнулся, и вырвалось солнце. За рулем обратил внимание на сосновый бор: по всей опушке расставились сплошным рядом цветущие черемухи.

Мне было так, будто кто-то тронул меня за локоть и прошептал: «Погляди!»

«Июнь. Дни-то какие стоят! Дни одуванчиков и первых грибов. Давайте соберемся — прославим дни золотых одуванчиков».

Работать в полную силу он мог только в Дунине, а сколько, оказывается, надо было для этого преодолеть препятствий! Так, в январе Пришвин снова взялся за роман, чтоб «писать на месте в Дунине с 1 марта

и уже до конца, не поднимаясь со стула», а до 1-го «выжать всеми способами деньги, подготовить условия работы в Дунине — переделать (!) печку».

Было бы, однако, ошибкой думать, что Пришвин жил в Дунине отшельником. К нему тянулись люди, они приходили в дом ненавязчиво, считаясь с занятостью хозяина. Он радовался им. Так, он записывает, что вокруг его усадьбы собирается общество, и это напоминает ему, как бывало некогда в детстве, в Хрущеве. Но теперь это «не люди, *оторванные* от дела, похожие на растения, выдернутые прямо с землей». И в таком смысле это не просто «гости», а каждый со своим лицом, со своим делом, и этим *делом* в первую очередь характеризует Пришвин каждого нового гостя.

Отношения Пришвина с окружающими его людьми — вопрос, который его самого волновал неразрешенностью, о чем красноречиво говорят и дневниковые записи разных лет, и воспоминания людей, его знавших.

Запись дневника в 1949 году: «Сегодня Л. обратила мое внимание на то, что за всю долгую жизнь не было у меня ни одного друга при большом разнообразии встреч. И еще замечательно, что эта мечта о друге через мое слово создала множество друзей моих — читателей, и сама Л. пришла ко мне через эту мечту».

В следующем году новая запись: «У меня друзей не было, но зато к каждому я стремился как к другу». Еще через полгода: «Моя природа есть поэтическое чувство друга».

Очень важно нам здесь себе заметить, какое глубокое, почти всеобъемлющее значение вкладывает Пришвин в это слово «дружба» и, значит, как требователен он и к себе и к людям, делая записи, подобные только что нами прочитанным.

Он не раз говорил мне и однажды записал в дневнике, что многие товарищи по работе и в старые време-

на, и после революции его избегали, как бы тяготясь им или чего-то в нем *пугаясь*, а сам он страдал от чувства какой-то разобщенности с людьми. Но если он по чему тосковал, то именно по доверчивой открытости, сам весь открытый ожиданию человека-друга.

После кончины Михаила Михайловича мы получили из Парижа воспоминания орнитолога академика К. Н. Давыдова, спутника Михаила Михайловича в первые годы его писательства, в начале века.

Давыдов пишет: «Я знал Пришвина в течение полутора десятков лет в самом начале его творческой деятельности, и я горжусь тем, что мне удалось, может быть, как никому, понять его мятущуюся душу, быть свидетелем его порывов.

...Пришвина мало кто понимал по-настоящему. Его бьющая в глаза оригинальность граничила часто с кажущейся наивностью и у многих вызывала недоумение... Мало того, порой его подозревали в своего рода рисовке. На самом деле никакой рисовки у него не было...

Пришвин всегда был искренен... Он всегда искал и находил в окружающей действительности особый скрытый для других смысл... Он создал в своем подсознании мир, в реальность которого твердо верил и в нем жил. Он не желал подчиниться общепринятым понятиям и ни в чем не выносил рутины... не скрывал своих мыслей и не стеснялся их высказывать публично, несмотря на то, что признания не встретят ничего, кроме презрительного пожимания плечами и открытой насмешки.

Был период, и очень продолжительный, когда Пришвин жил в каком-то волшебном мире, мире сказок. В нем всегда боролись, но уживались две личности... Это был глубоко культурный, серьезный и современный человек... В своем стремлении к сказочному, небывалому Пришвин кончил тем, что стал чувствовать это «не-

бывалое» везде, где жил, — «у себя под боком», как он говорил.

...Это был талант такой оригинальный, такой своеобразный, что пройдет еще много времени, пока удастся правильно, вполне разгадать и оценить — откликнуться на эту потерю».

По дружественной проникновенности, по чисто человеческой «нелитературной» заинтересованности эти воспоминания можно считать единственными о ранних годах пришвинской жизни и работы, которыми мы сейчас располагаем.

Уже в наше время, но еще в 20-х годах мы находим в дневнике Михаила Михайловича такую запись: «Сегодня в Москве на Тверской я увидел, как два пожилых гражданина встретились и вдруг узнали один другого, наверное, не встречаясь полвека, один воскликнул: «Сережа!», другой: «Миша!» — и обнялись.

Я завидовал им: «Вот наговорятся-то!..»

Вот и я так думаю иногда о себе: и мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца...»

Пришвин страдает от отсутствия друга, который его *до конца* поймет (какое всеобъемлющее требование!), и эти чувства его нельзя считать следствием общественно-исторической обстановки тех или иных лет, ведь так было с ним и в молодости, и в зрелые годы. В 1949 году он пишет в дневнике: «Ясно вижу себя корявеньким неладным топориком, определившим все мои отношения с литераторами». И желанные человеческие отношения долгие годы были для него только «как возможность, как путь далекий».

Источником этих переживаний были особенности его личности, а главное, как он понял сам и записывает

в дунинские годы: он целиком был *одержим* своим призванием, его *несло* куда-то, он летел и напряженно искал что-то насущнейшее, и благополучным устойчивым людям он был тягостен: «им не хотелось с ним таким *возиться»*.

Но вот прошли годы работы, терпения, не угасавшей никогда надежды, и Пришвин из поисков «края непуганых птиц» вернулся к самому себе, но уже как в свой устроенный Дом. Он делает как бы сам для себя открытие: находит в себе нечто очень простое и в своей простоте крепко-устойчивое: все оказалось в себе и возле себя, и, чтоб быть, оно требовало лишь одного — его собственной самоотверженной отданности встреченному человеку — внимания!

Пришвин перестал теперь искать чего-то от людей, а сам как бы мысленно выглядывал к ним из оконца своего Дома — души — с вопросом: не надо ли кому чего-нибудь от него? Я позволяю себе эту метафору лишь потому, что она подтверждается собственным признанием писателя, которое представляется мне существенным, и я его приведу целиком:

«*В окошко души.* Серые нависшие дни без ночных морозов. Бывало, в такие дни тянет в природу с упреком за то, что сидишь, не действуешь, пропускаешь проходить этим дням без себя в природе.

А теперь все эти дни я вижу в окошко души своей, и вот уже не знаю, что это такое: то ли это окошко открылось, то ли старость пришла.

Но только если это старость и в старости так и дальше будут открываться окошки, то и слава богу, и еще какая слава! за такую счастливую старость».

Однажды он делает такую итоговую запись: «Моя жизнь была посвящена служению Дальнему (в другом контексте, несколькими строками выше — «служению Красоте»), который милостиво теперь возвращает мне ее (эту жизнь) через ближних — читателей».

Люди приходили разные. Все они были чем-то ему интересны. В первый же дунинский год он записывает о семье наших скромных соседей-дачников (и мать, и отец, и две маленькие дочки — все были музыканты): «Андрей Федорович Мутли, владелец двух чудесных девочек, мне прямо сказал: «Вы и не знаете, что вы сделали для наших детей».

В тот же день: «Доктор А. прочитал нам письмо, в котором сын его (попавший в беду. — *В. П.*) пишет, что книга Пришвина «Женьшень» вынула его из петли. И много таких свидетельств...»

Это записи о читателях. Если же говорить о товарищах по писательской работе, то в первую очередь вспомним, что в эти годы Пришвин дружески сблизился с Всеволодом Вячеславовичем Ивановым. Его внимание и, главное, понимание Пришвин благодарно берег и ценил.

Запись в ноябре 1943 года — ее можно считать началом подлинного сближения: «У нас гости. Всеволод Иванов поднял вопрос об оскудении поэзии. «Какая поэзия без дружбы, — ответил я, — вспомните время Пушкина, какая тогда у людей дружба была! А вот один лейтенант приехал с фронта, рассказывал, как они обливали водой трупы, морозили и делали из них баррикады». — «Там людей уже и не жалко?» — спросили его. А он отвечает: «Там-то вот и жалко... Там перед лицом смерти у людей большая дружба, вот увидите, когда кончится война, они нам ее привезут». — «И вот когда, — сказал я, — можно будет думать и о поэзии, будет дружба — будет и поэзия».

— А если не привезут дружбы? — спросил Иванов.

— Ну, это дело веры, — ответил я.

На этом и покончили».

Встречались они главным образом в Москве, а в Дунине Всеволод Вячеславович навестил Михаила

Михайловича лишь однажды: далеко, и занятость, и дорога из рук вон плохая.

В Дунине рядом с нами жили в разные годы поэты А. Я. Яшин и В. В. Казин, известный литературовед В. О. Перцов. Вскоре после нас в Дунине поселилась писательница Л. А. Аргутинская, а в Ивановке — поэт Лахути. В деревне Грязь, рядом с Ивановкой жил перед самой Великой Отечественной войной А. Т. Твардовский.

Когда К. Г. Паустовский задумал обосноваться где-либо в природе прочно, первой попыткой его было найти домик в Дунине. Но купить дом не удалось. И тогда судьба определила ему уже навсегда Тарусу.

Пришвин и Паустовский писали друг о друге, однако они мало и случайно встречались и в гостях друг у друга не бывали. Тем не менее в каких-то невидимых пластах жизни между ними шло общение. Когда Михаил Михайлович скончался, первый из немногих, кто приехал поутру к нам, это был К. Г. Паустовский с женой, и я это здесь с благодарностью вспоминаю.

Не буду утомлять читателя перечислением имен писателей, и начинавших, и уже известных, которые изредка, может быть, лишь однажды навестили Михаила Михайловича в Дунине: их было немного. Помяну лишь поэта В. Ф. Бокова, который в трудную минуту своей жизни приехал к Пришвину, как приехал бы к родному отцу за поддержкой, за ободрением.

Я упомянула о некоторых писателях с «именами», бывавших в Дунине. Но не могу обойти рядом с ними и одного почти забытого человека, не нашедшего при жизни своей судьбы, но подлинного поэта. Это была Ксения Некрасова. Она скиталась по Москве, жила попеременно у разных людей. Ее, вероятно, считали не совсем нормальной и почти не печатали.

Встретилась она с нами так: однажды летом в Дунине, войдя в свою комнату, я увидела на постели креп-

ко спящую женщину. Она была молода, со странным, непривлекательным, перекошенным лицом (потом выяснилось — она попала в какую-то катастрофу). Я присела в недоумении на стул и стала ждать. Ксения чутко отозвалась на человеческое присутствие, тут же проснулась, улыбнулась и сказала: «Вот я и добралась к Пришвину. Вы его жена? Ну, значит, вы тоже должны понимать...» Спустила ноги и, не вставая с постели, стала читать мне свои стихи, движением руки подчеркивая ритм.

То, что она читала, было необыкновенно, и это была поэзия. Сама она во время чтения, казалось мне, преображалась.

Ксения у нас не загостилась, но появлялась время от времени, похожая на летящую куда-то большую растрепанную птицу. Немедленно, с ходу поднималась ее маленькая рука, и звучали строки белого стиха, близкого, на мой взгляд, многим записям Пришвина, его ритмической прозе. Голос у Ксении был нежный, гибкий, в ритм строк, не вязавшийся с ее наружностью. Михаил Михайлович о ней записал: «Была поэтесса Ксения Некрасова, невзрачная, нелепая, необразованная, неумеющая, но умная и почти что мудрая. У Ксении Некрасовой, у самого Розанова, и у Хлебникова, и у многих таких души не на месте сидят, как у всех людей, а сорваны с места и парят в красоте».

Нельзя сказать, чтобы ее начисто обходили в обществе вниманием. Знаю, что в какие-то годы она пользовалась гостеприимством участливой семьи скульптора Коненкова. В 50-х годах Ксения получила наконец с помощью Союза писателей (хотя она и не была его членом) комнату. Тут бы ей и пожить... Но она вскоре умерла, кажется от инфаркта.

В Дунине бывали у нас и работали в разные годы художники: писали портреты Пришвина, дунинскую природу. Кроме Ф. Антонова, Ф. Шурпина, Р. Зелинской,

В. Панфилова и Лины По, о которых я выше упоминала, это были А. Кириллов *, В. Никольский, Г. Шегаль.

В 1948 году в Москве, зимой известный график Г. Верейский сделал портрет Пришвина и этюды к нему, ставшие теперь классическими. В Москве же работала в те дунинские годы над скульптурными бюстами Пришвина Сарра Лебедева. О каждом из этих художников сохранились записи в дневнике Пришвина. Приведу на выбор одну: «...Шегаль замечательный пейзажист, он рассказывал о том, как дорого ему досталось его искусство. «Оно, — сказал он, — мне слишком дорого досталось, чтобы я теперь стал приспособлять его к чьим-то требованиям». И я к этому прибавил: «Может, настоящее искусство тем и держится, что дорого достается своим хозяевам».

О музыке. Она для Пришвина становилась все значительней и необходимей. «Начинаю чаще и чаще уходить в музыку: вот область, куда можно уходить, уезжать, путешествовать там без огорчений от грубого вмешательства нового в старое: вынь да положь!»

Сам Пришвин играл в юности на мандолине. Студентом, учась в Германии, он влюбился в Вагнера, в симфоническую музыку. Потом отдалил его от музыки суровый быт, большею частью вне города. Лишь в конце 30-х годов, как уже рассказано выше, Пришвин поселился в Москве. После войны он стал частым посетителем консерватории. В драматических театрах почти не бывал. Мне запомнилось только его впечатление от Алисы Георгиевны Коонен в «Андриенне Лекуврер» — это были последние годы жизни Камерного театра. Еще — от кукольного театра Образцова. Наравне с консерваторией

* Портрет, сделанный А. Кирилловым, репродуцирован на юбилейной почтовой марке к 100-летию М. М. Пришвина.

любил Михаил Михайлович балет, бывал на выступлениях Улановой.

Это зимой. А для Дунина, где Михаил Михайлович проводил большую часть года, был куплен хороший радиоприемник «Рига-10» и вот при каких обстоятельствах.

В Мосторге (теперь говорят — в ЦУМе) стояла длинная очередь. Я обратилась к секретарю отдела, объяснила обстоятельства, и сотрудник дал указание милиционеру, регулирующему очередь. Тот повел Михаила Михайловича между людьми, вежливо, но твердо приговаривая: «Старый писатель, старый писатель...» Люди охотно расступались.

Михаил Михайлович с торжеством привез домой приемник и не расставался с ним никогда. Он возил его на дачу весной и с дачи осенью.

«Жена Капицы Анна Алексеевна сказала, что когда угощаю их музыкой (замечательный приемник «Рига-10»), то я похож делаюсь на вождя африканского племени, которому подарили граммофон.

Я бы сказал это о себе не в отношении одной музыки, а и вся жизнь в основном для меня как подарок, и в основных своих началах отношение дареного граммофона вождю африканскому остается таким же».

Нашим частым гостем был любитель-скрипач, он же инженер-экономист К. К. Лупандин. Это был наш постоянный спутник в консерваторию. После очередного разговора Пришвин записал о нем: «Один любитель музыки попал в собрание экономистов и, раздраженный чем-то, сказал: «Вы судите, как будто все знаете, а по-моему, вы ничего не знаете, если не слыхали... симфонии Брамса».

Последние дунинские годы Михаил Михайлович часто и глубоко слушал музыку. В дневниках множество записей об этом. Приведем некоторые:

«В консерватории слушали Мравинского: Брамс «Первая симфония» и Вагнер. Тридцать лет не слышанный «Тангейзер» открыл мне широкие горизонты жизни, и в то же время я, русский Михаил, был у себя.

Как будто это я сам шел с пилигримами и бунтовал за радость жизни на Горе Венеры. Так что выходило ясно как день: я недаром отдал юность свою Вагнеру».

В этой записи спрятан ключ к духовной биографии Пришвина. Подтекст записи станет понятен читателю, если он вспомнит основную тему Пришвина — борьба между разделением жизни человека и его внутреннего мира, борьба за их единство, как оно и существует в их изначальной простоте.

С первых его книг, с «Колобка» мы слышим этот лейтмотив о борьбе «светлого и черного бога», звучавший в мировой литературе у отдаленнейших друг от друга по времени и настрою людей.

Человек, увидавший природу падшей и преступной, и другой человек, увидавший ту же природу, «несмотря ни на что», очищенной и прекрасной, — эти противостоящие друг другу образы переносят мысль Пришвина в большой мир культуры, он находит их воплощенными в музыке Вагнера, в его «Тангейзере».

Перенося эту мысль в область другого искусства — в живопись, Пришвин называет ее «возрождающей силой, которая вела вперед Боттичелли в его борьбе с Савонаролой».

Это была борьба за оправдание материи, плоти и одновременно за одухотворение ее. Мысль и жизнь у Пришвина равноправны.

«Вчера был на концерте М. В. Юдиной. Горы летающих золотых звуков — восхитительная абстракция наших человеческих печалей и радостей».

«Сегодня у нас по радио играли ноктюрны Шопена, я сидел на диване и, слушая, глядел на тополь через оконное стекло. То был, конечно, ветерок, и листики

тополя танцевали в воздухе. Но, слушая Шопена, я забыл о ветре, и мне казалось, будто невидимыми пальцами невидимо сам Шопен играет на листиках тополя.

А когда радио кончилось, я все глядел на движение листиков и по-прежнему слышал Шопена».

«Вчера слушал Листа и в такой пришел восторг! Подумал тоже, что ведь есть и Вагнер, и Бетховен, и еще десять великих от музыки, и десять праведников от старой литературы — Достоевский, Гоголь, Толстой, Пушкин, и Суриков от живописи, и с ним еще больше десяти, и от всех искусств, и от наук, и от всяких дел, и просто от ничего тоже берется хороших людей, и у нас, и на всем свете... Так зачем же... не оставаться в союзе с теми, кто определился совершенно и стал, как звезда, на свое место».

«Я стою и расту — я растение.

Я стою и расту, и хожу — я животное.

Я стою и расту, и хожу, и мыслю — я человек.

Я стою и чувствую: земля под моими ногами, вся земля. Опираясь на землю, я поднимаюсь: и надо мною небо — все небо мое.

И начинается симфония Бетховена, и тема ее: все небо — мое».

«Вчера вечером в кресле сидел против вечерней зари и слушал Первую симфонию Скрябина, и это останется на всю жизнь. Это не соловьи объясняли зарю, а человек во всей своей сложности; и человек без всякой «человечины», а сам, как соловей, оставаясь в природе».

В эти годы Михаил Михайлович приобрел еще одного читателя и друга — Е. А. Мравинского. Это были не светские отношения двух выдающихся художников,

это была дружба, росшая в глубину, несмотря на всю разность этих людей, а может быть, отчасти именно благодаря этой разности. Пришвин однажды, незадолго до своего конца, так и пишет Мравинскому: «Мы поразному понимаем природу».

Началось с того, что Евгений Александрович сам однажды позвонил Пришвину. Запись в дневнике: «Звонил дирижер Мравинский и, совсем незнакомый мне, выражал свое признание меня как писателя, сказал даже, что «Лесная капель» — его «подподушечная книга». Такие читатели являются моим золотым фондом и даже больше — золотым без содержания лигатуры — и ложатся на душу, как сама правда природы.

Каким счастьем является для меня не полное признание моего творчества, не премии, не большой орден, не даже полноценная статья, а вот такое медленное стекание моих читателей куда-то в большую воду вечности. Вот этот огонек радостной надежды на будущее воскресение из мертвых и приносит мне в душу каждый большой мой читатель, сокровище моего золотого фонда».

Приезжая в Москву, каждый раз Мравинский заходил к нам. Пришвин не бывал на концертах Мравинского, лишь когда болел.

«Евгений Александрович Мравинский объявился в Москве, позвонил, и вечером мы слушали в консерватории Брамса. Он как дирижер в своих приемах так изменяется, что я в нем себя узнаю: тоже ведь и я в своих писаниях живу и расту непрерывно... наверно, у нас с ним есть какой-то общий секрет в творчестве. Скорее всего этот секрет в полной и безраздельной отдаче жизни своей искусству».

Дней за десять до кончины Михаила Михайловича приезжал Мравинский. Михаил Михайлович полулежал в своем любимом кабинете на диване. Мы двое

сидели возле него. У рояля стояла небольшая елочка. Мы зажгли свечи и смотрели на живые огни. Пахло хвоей. У Михаила Михайловича ничего не болело; только слабость и сильно похудел. Мы с Евгением Александровичем знали, что приближается конец. Он этого не знал или не хотел знать... Мы тихо переговаривались. Мравинский не дотронулся в тот раз до рояля. Слушали только что вышедшую пластинку с голосом Пришвина. Это было последнее их свидание.

Летом 1949 года роман «Осударева дорога» в новой его редакции читает по просьбе Пришвина К. А. Федин. У нас по этому случаю устанавливается связь между Дунином и Переделкином, где жил Константин Александрович.

Михаил Михайлович, в какой-то мере до тех пор несомый тем же ветром поэзии, «как Ксения Некрасова, как Хлебников», отдает теперь себе трезвый отчет о подводных камнях — о препятствиях для своей мысли на путях написания романа.

С К. А. Фединым у Пришвина было давнее знакомство — с 20-х годов, начавшееся еще в Ленинграде, где жил тогда Федин и куда изредка по делам наведывался Пришвин. Но сблизились они на почве писательской работы именно в эти послевоенные годы. Константин Александрович безотказно отзывался на каждую просьбу Михаила Михайловича о дружеском совете. Не было ни одной более или менее значительной работы в эти послевоенные дунинские годы, которую бы Федин предварительно не прочел или не выслушал в авторском чтении.

Они появлялись у нас обычно вдвоем с Вс. Ивановым, эти два писателя, которых Пришвин считал в отношении оценки его труда искренними доброжелателями и ценителями.

Получив от Федина письмо с одобрением, оценкой и деловыми советами по поводу прочитанной им рукописи романа, Пришвин записывает тотчас в дневнике: «12.VI. Вышло в моей жизни это письмо большим событием... Я почувствовал, что существую как художник, что труд мой не пропащий. Сразу выросли крылья и явилась уверенность в заветной мечте своей написать для всех классов, образований и для всех возрастов на одном языке понятную вещь».

В этой записи Пришвин подразумевает уже начатую им повесть «Корабельная чаща». Тут же он записывает. что этой новой повестью он скажет свое «спасибо» Федину — «единственному, высказавшемуся за мою вещь». Он принимается за повесть, а редактирование измучившего его романа поручает мне *.

Пришвин тяжело переживал невозможность (или неумение) высказаться как писатель до конца... И он то мужественно выправляется, то безвыходно страдает. Запись тех дней: «Конечно, наше время есть и начало чего-то и конец. Хочется войти в начало, но и конца не хочется переживать: пусть оно кончается без меня, я же войду в начало. Мало того! мне кажется, я рождаюсь, не имея возможности об этом сказать комунибудь, и оттого мне хочется на старости, как ребенку, плакать и жаловаться».

Тем временем жизнь наша домашняя шла и шла своим чередом, и в ней проходили свои только нам одним заметные беды. Так, в 1949 году умерла от чумки наша Жулька. Михаил Михайлович пережил ее смерть как расставание с любимым другом, хотя внешне особенно не показывал нам этого. Записи же в дневнике,

* Речь идет о последующих неопубликованных редакциях романа, где действие перенесено на гражданское строительство.

относящиеся к тем дням, больно читать. Некоторые помещены в книге «Глаза земли», другие остались еще неопубликованными.

Потом появились у нас другие собаки, пойнтер Кадо, добродушный и огромный. Он был слишком силен и груб, недаром Михаил Михайлович всегда предпочитал охотничьих собак-самок. Он передал Кадо Петру Леонидовичу Капице, который, чтоб справиться с собакой, перед охотой поил ее бромом.

Наконец появилась у нас Джали, или Жалька. Мы раньше выбрали имя при чтении «Собора Парижской богоматери» (так звали козочку Эсмеральды), а после уж приобрели щенка.

Так прошел еще один дунинский год, и тут, осенью 1950 года пришла беда, которую пережил Михаил Михайлович нелегко и непросто: ударом была статья некоего экономгеографа Л. Зимана о повести «Серая Сова», напечатанной еще в 1939 году и благополучно прожившей с тех пор целое десятилетие. Творчеству Серой Совы — этого прекрасного писателя-индейца и благороднейшего человека — посвятила свой труд, кроме Пришвина, еще одна писательница — переводчица А. Ю. Макарова: вслед за книгой Пришвина вышла книга самого Серого Совы в ее переводе «Саджо и ее бобры». В 1949 году повесть «Серая Сова» Пришвина вошла в сборник произведений Пришвина «Зеленый шум». И тут как гром с ясного неба в сентябре 1950 года в номере 86-м «Литературной газеты» мы прочли уничтожающую статью об индейце. Серой Сове и самом Пришвине как его пропагандисте. Пришвин называет ее в дневнике «невежественной и нечестной».

Зиман обвиняет Пришвина в защите капиталистических отношений, поскольку Пришвин находит в Америке среди канадских французов «хороших людей», помогавших индейцу в его борьбе за спасение уничто-

жаемых браконьерами бобров. Зиман берет под обстрел и самого индейца.

«1950 г. *24 сентября.* Прочитал в «Литературной газете» разнос «Серой Совы»... Л. сказала, что за ночь я постарел на десять лет... Беззащитность моя связана с моей профессией.

13 ноября. В лесу встретился мне заместитель директора заводика «Металлист». Он мне сказал, что читал в «Литературной газете» обо мне статью.

— Охота вам читать глупости.

— Какие же глупости, ведь Серая Сова живет в Америке, и вы перевели с английского. Это очень серьезно.

Тут я понял, что читатели «Литературной газеты» понимают меня как возможного политического вредителя».

Михаил Михайлович переживает все это как уничтожение его дела. Запись: «Проект продажи Дунина». Для Пришвина конец Дунина — это не просто переезд в другое место, это угроза творческого конца: «...Остается взяться самому за что-то более прочное, чем вера в свой талант, в свое счастье, и это уже не просто профилактика, а какой-то серьезный ремонт... Правдотворчество дает бесстрашие себе самому».

В те же дни он делает в дневнике как завещание следующую запись, обращенную ко мне: «Переговорил с Л. о работе над дневниками и преподал ей обращаться с дневниками, как будто бы я умер и все к ней пристают, чтобы работать над ними. И она работает, как будто бы я умер, а когда понадобится, будет меня вызывать».

Понемногу Пришвин оправляется и начинает борьбу за себя и за своего благородного индейца. Он идет с этим к первому секретарю Союза писателей А. А. Фадееву. Запись: «1951 год, *2 января.* Был у Фадеева с Аллой Макаровой и успел только мало-мальски рассказать о Серой Сове, в чем дело. Рассказать, чтобы

он мог стать на мою сторону, было невозможно из-за спешки. Такая спешка! Нужна особая сигнализация в этой спешке; я чувствовал себя неграмотным мужиком в городе».

6 января Пришвин пишет в «Литературную газету»: «...Мало того, что опозорено имя одного из лучших людей, но и меня самого всюду в школах, на заводах, везде, где я читаю и показываюсь, подозревают в политической неблагонадежности... Как вы не понимаете, что диффамация лучшего представителя угнетенной нации и печатание статьи о нем в газете, без справки со мной как старейшим писателем, есть преступление».

В ответ на письмо к нам приехал редактор газеты Рюриков и принес свои извинения. Опровержения в газете, однако, не последовало. Тем все как будто и кончилось.

После того книга издавалась многократно и в сборниках, и отдельным изданием, но до сих пор — вот уже четверть века прошло — она издавалась с многочисленными и ничем не оправданными купюрами авторского текста, повторяемыми по инерции из-за «невежественной и нечестной статьи» *.

Я сказала: «все как будто и кончилось...», но не для Пришвина. Приведем лишь две записи этих дней; они не потребуют комментария:

«Ночью во сне что-то виделось, и потом ясно представилась жизнь моя в ее порывистой беспомощности... И деятельность моя, литература, так ничтожна!»

«Когда косят просо, перепела убегают на край и собираются в последнем уголке, и тут их накрывают сетью.

Гляжу на них и ясно вижу, что их свобода живет

* В 1974 году в издательстве «Советская Россия» вышел сборник «Золотой луг», куда включена «Серая Сова» Пришвина с полностью восстановленным текстом.

в моей душе, и я к ней пришел через мое писательство, и это писательство взяло меня всего, и я перестал бояться чего-нибудь.

Но этот путь в литературе был отдельный, потому что теперь во время испытания возле меня нет товарищей».

Все это было так, но тем не менее Пришвин не позволял себе поддаваться унынию. 28 октября 1950 года он уже выступает перед студентами Литературного института с новым рассказом «Молодой колхозник». Он называет его в дневнике неудавшимся и говорит, что рассказ в чтении провалился. Но причину провала относит только к себе: «Это значит, что я не научился печь рассказы, как блины...» Мы теперь понимаем, что это была ошибочная самооценка: рассказ, напечатанный посмертно, получил полное признание у читателя. Ложная самооценка у автора и, возможно, ложное впечатление у слушателей (я его, кстати, не заметила, наблюдая за аудиторией) создались под влиянием только что пережитого вокруг «Серой Совы». Но это был новый урок мужества. И Михаил Михайлович переходит к созданию новых вещей, стоящих у его плеча и просящихся на бумагу.

Невыполнимым оказалось его намерение отойти от литературы и «взяться за что-то более прочное...». Но в то же время что-то оборвалось в нем.

Оставалось невыполнимым и желание создать новые книги, подобные «Серой Сове», столь любимой до сих пор читателями всех возрастов. А ведь Пришвин стоял тогда вплотную перед манившей его задачей, он намеревался сделать такую же работу по геологии или географии: «Взять, например, «Популярную геологию» Обручева и написать по-своему».

Книга была ему доставлена, но так и осталась сиротливо стоять в шкафу дунинской библиотеки без движения: творческий порыв был убит...

Неудачливой осенью того же 1950 года Пришвин выслушал рассказ давнего друга нашей семьи — пчеловода К. С. Родионова о том, как он возил пчел в Заполярье. Выслушал — и тут же начал работу над повестью «Заполярный мед». Через месяц он уже читал дома в узком кругу готовую вещь. Снова неуверенность, неудовлетворение: «Читалось тяжело... Моя затея не удалась». И снова самообман: в январе 1951 года «Заполярный мед» был напечатан в «Новом мире» и единодушно принят и читателями и критикой.

С 1949 года Михаилу Михайловичу пришлось сделать уступку своему возрасту: болеть и лечиться; но болел он на редкость бодро: «Докторам. Сегодня я преодолел инерцию тела, стремящегося к покою, и заставил его действовать... Вот если бы доктора лечили у нас не сердце, не легкие или печенку только... Словом, лечили бы трудовую личность человека, вникая в сущность труда пациента».

Летом Михаил Михайлович простудился. Еще бы! «Я промокал и высыхал много раз, под вечер выехал делать дорогу в лесу и, ничего не успев под дождем, вернулся простуженный: особенно плохо с дыханьем».

Увезли больного в Москву. В постели он с глубоким обдумыванием читает Шекспира. Относится к своему состоянию с юмором, хотя у него начиналось воспаление легких.

Выздоравливает, возвращается в Дунино, начинает работать: «Голова моя плохо налаживается... Возможно, что я просто обленился и требуется обновить себя поездкой куда-нибудь подальше».

Поздней осенью: «...ездил в Иславское и, казалось, вел машину без малейшего напряжения и по сносной дороге (сел дома писать, в сердце начались перебои. — *В. П.*). ...Возможно, что придется и совсем бросить ма-

шину и, может быть, даже охоту. И ничего! Займусь садом. Всему свое время: листики опадают, но дерево живет».

В Москве зимой снова простудился. С интересом встречает новое в медицине средство — пенициллин. Тут же в постели сочиняет веселый рассказ «Пенициллин»: «Сочиняя героя рассказа, дал ему свой возраст 77 лет и ужаснулся: неужели же мне 77!»

Лежа в постели, потребовал собрать и дать ему старые негативы. Их было множество.

Перебирая негативы, записывает: «Рассматривал негатив Клюева *, снятый мною у него в комнате. На негативе видна развернутая книга старинная, на ней рука, еще видна борода и намеком облик самого Клюева.

Теперь стали записывать голос, и через сто лет нас будут видеть, слышать, и вот все это от нас останется людям, только нас самих все-таки не будет.

Так что все, на что мы истратились: скажем, Шаляпин пел, Пришвин писал, Уланова танцевала, — все это наше так и останется, а мы сами... но что это «сам». Это все, что мы не могли людям раскрыть».

Человеку 77 лет — и он все еще сам для себя влекущая тайна, которая должна раскрыться, чтоб всем что-то свое отдать, и отсюда настойчивое желание, более того, требование к себе: «людям раскрыть».

В апреле 1950 года мы переселяемся в Дунино. Михаил Михайлович находится на подъеме: «28 апреля. Роскошное утро. Везде блестит роса на траве. Окапывали малину, яблони, вырубали колья для малины. Вычистил и привел в порядок гараж, инструменты. Но ничего, даже весь цвет, вся радость весны не могут мне дать сами по себе удовлетворения, если я сам не отвечу записью своих образов или мыслей».

---

* Н. А. Клюев — поэт, с которым Пришвин встречался перед революцией в Петербурге.

В мае выступает в школе большого соседнего села Успенского.

Июнь: «...сквозь трудный лес на машине в Чигасово*, вернулся домой по иславскому шоссе — 14 километров. Ехал эти 14 километров пять часов. Два раза садился на пни и, лежа под машиной, их выпиливал ножовкой. Больше ездить не буду по этому пути. Охоту отбило».

«Вчера запоем делал новую «капель» ** без всяких дум о печати».

«Сердце стало сдавать, и ходить стало совсем плохо».

В конце 1951 года и в начале 1952-го Михаил Михайлович впервые в жизни попал в больницу (сердце и печень). Оправился... снова работает. В 1952 году неотрывно пишет «Корабельную чащу». «Доктор (Ляпунов) требует умерить усилие работой с расчетом на академические четверть часа. А работа требует усилия без расчета, того усилия, от которого умер Фауст».

...Нужно скорее, скорее делать — успеть «людям раскрыть!». Он сбрасывает все неудачи и препятствия, как балласт. Вот записи Пришвина, сделанные им под Новый год (1948-й и 1949-й): «Намеченные достижения не удались: ни роман еще не доведен, ни собрания сочинений не достиг. И даже собака моя любимая больна, и, может быть, и не будет жива.

Но зато я существую, да, я словом своим по силам своим жизнь изменяю, творю — значит, я существую. И вместе с этим все больше и больше овладевает мною мысль о каком-то хорошем месте моем в будущем сознании людей.

Когда это будет, и где, и как — я не могу сказать,

---

* Лесная деревня в пяти километрах от Дунина.

** Будущая книга «Глаза земли» по образцу «Лесной капели».

но в том я уверен, что место свое найду, и эта вера моя есть требование моего человеческого смысла».

«Жизнь ужасно страшна, но мы, наверное, идем к лучшему. Нужно только это коренное верование сделать независимым от личного положения в здоровье, довольстве и славе: если успеваешь — не переносить личную радость туда, и если проваливаешься — не винить общий ход по себе».

«Вечером будем Новый год встречать, ожидая лучшего. Так и вся Россия, — она учится ждать, и в этом содержится ее мудрость, надежда, вера, любовь. Это ожидание лучшего, накопляясь, разбивает границу, определяемую смертью.

Мы ожидаем в терпении, чтобы каждому из нас открылся бы больший простор для творчества жизни и, независимо от нас, всем явился бы ясный путь навсегда для мира во всем мире».

В начале 1953 года в Москве Пришвин заболел как никогда тяжело, и снова воспаление легких. Во время болезни он меньше всего сосредоточен на себе, весь обращен к миру, к человеку — к общему. Достаточно вспомнить: к нему приходила делать уколы медсестра. Она внезапно катастрофически умирает: сегодня была — молодая, веселая, а завтра нам сообщили о ее смерти. И Пришвин тут же в постели, совсем еще слабый, пишет в ее память рассказ «Золотая рука». А в дневнике запись: «На днях умерла Клавдия Ивановна, милая медсестра. У нее глаза всегда улыбались».

И наконец, была борьба за «Корабельную чащу» — последняя борьба в его жизни.

8 июля 1953 года: «...передал Л-е для доставки в «Новый мир»... Я вдруг освободился совершенно от работы, и вместе с тем исчез прежний трепетный интерес к судьбе книги, и это значит, что я кончил. Я все сде-

лал, всего себя, какой я есть, вложил в эту повесть, и если выйдет плохо, то это будет значить, что я сам плох. Может ли это быть? Конечно, может. Но я не могу себе представить, чтобы Федин или Твардовский... (Запись обрывается. — *В. П.*) Все может быть плохое, но я сделал все, чтоб его не было, и совесть моя совершенно спокойна. Как хорошо!»

1 сентября 1953 года: «Слово правды» *, оказывается, требует переработки.

— ...Я бы, — сказал Твардовский, — напечатал Пришвина: пусть Пришвин отвечает сам за себя. Но время очень тяжелое, спустят всех собак на него, а я его люблю, мне его жаль...

Нашел выход из тупика литературного: вернусь к агрономии, как Фет вернулся в свое хозяйство на 20 лет. Буду прочищать дорожки, а когда нечего есть будет, стану за коровой ходить. Всем буду заниматься, только останусь на воле. В отношении повести не буду спорить и постараюсь сделать все, чтобы напечатать. Надо пережить неудачу и собраться на каком-то твердом месте в себе».

Через несколько дней Михаил Михайлович перестал видеть одним глазом. Он заклеивает бумажкой стекло очков, чтоб не проверять себя в ожидании улучшения, и продолжает работать. Находит в себе силы даже шутить: «8 сентября. Правым глазом плохо вижу, но до Фауста еще не дошел».

В конце октября мы переехали в город. Уезжали вдвоем из Дунина и не знали, что это в последний раз.

* Первоначальное название повести, измененное потом по воле редакции. Правка повести производилась в декабре незадолго до кончины ее автора. Михаил Михайлович доверил ее редактору «Нового мира» Н. И. Замошкину. Сам он участвовать в этом был не в силах.

Михаил Михайлович сам вел машину. На иславском поле, в глубокой грязи, мы безнадежно застряли. И тут навстречу нам показался верхом на лошади наш знаменитый предколхоза Дюков. Увидав беду, он спешился и один руками вытащил зад нашей груженой машины из грязи. О Дюкове мы также не знали, что он уже безнадежно болен. Скончался он вскоре за Михаилом Михайловичем, той же зимой.

Еще летом «между делом» Пришвин составил для издательства «Молодая гвардия» сборник «Весна света» с новыми вводами к каждому разделу. Редактор книги Г. А. Ершов знал о моих подозрениях в отношении здоровья Михаила Михайловича. Он сделал так, чтобы книга вышла поскорее и была нарядной. За три дня до Нового года он принес Пришвину сигнальный экземпляр. Книга в прекрасном оформлении была для Михаила Михайловича подарком. Он записывает: «Мало ли чего в нашей жизни было разбито, но я спас и вывел людям весну света...» И еще: «... если это правда, то вот и мое счастье».

К 80-летию Пришвина, отмечавшемуся в феврале 1953 года, было решено издать его собрание сочинений. Был конец декабря, и пришел крайний срок сдавать первый том — автобиографический роман «Кащеева цепь». Михаил Михайлович хотел его закончить «цепью маленьких притч, намекающих на основы творчества (творческое поведение)». Но сил уже не было, и он передал работу мне. Я выбрала и соединила ряд фрагментов — заготовок из имевшихся разрозненных записей разных лет, предназначавшихся и для автобиографии, и для книги «Искусство как поведение».

Меня поразила одна запись, и она легла в заключение книги. Запись звучала как голос человека, уже ушедшего из жизни и в то же время продолжающего размышлять над нею и как-то непонятно в ней участвующего. Я опасалась одного, что Михаил Михайлович

прочтет тот смысл, который в ней был тайно заключен и который я от него тщательно скрывала, — прочтет и потеряет устойчивость и покой, испугается. Но отказаться от найденной записи я была не в силах. Вот она:

«...Был в лесу добрый медведь, и его полюбили, и когда он попал ногой в медвежий капкан и заревел, то вместе с ним и весь лес заревел.

Мало счастья было медведю, что попал он в капкан и заревел, но все-таки, правда же, много легче. Даже скажем и так: большое счастье досталось медведю, что, прощаясь с ним как с другом, весь лес заревел.

Вот мне и кажется, будто я, как и весь русский человек, этим счастьем силен!»

Михаил Михайлович прочел подборку, все одобрил. Дошел до концовки... А запись была ведь совсем недавняя — последнего лета... Какой смысл придавал он ей и тогда, когда писал, и теперь, при чтении? Может быть, он все понимал и скрывал от меня, и это было проявление предельного мужества и сострадания ко мне, связанного с особым состоянием его души — той самой тишиной, о которой он не уставал писать в эти последние годы?.. Этого мы никогда не узнаем. Он лишь коротко, по-деловому заносит в дневник одобрение моей работы и принимает ее.

С этих пор, то есть в последний месяц жизни, Михаил Михайлович отказался от работы «на производство», однако болезни не уступил и главное свое дело — дневник — вел ежедневно до конца.

Москва. Декабрь. Раннее утро. Михаил Михайлович, как всегда, уже на ногах. Он подходит в кабинете к окну, записывает: «День серый от неба и до земли пришел и стал.

— Не спеши, Михаил! — сказал я себе.

А самому дню: — Погоди! — приказал я. — Не

трогайся, пока я не отпишусь, теперь утро, ты еще в моих руках!»

Власть над собой, над временем, над самой жизнью. Так он вскоре и ушел от нас, как будто по собственной воле, не спеша, приказал себе и вышел из времени, и вошел в вечность — в таинственный круговорот свей любимой природы.

...За несколько минут до кончины (отказывало сердце) он задыхался — то приподнимется, то ляжет, а я беспомощно, бессильно, в муке душевной просила: «Потерпи!», чем-то старалась помочь... Он сурово, почти гневно, и не мне, а скорее себе или куда-то в пространство, бросил: «С этим мы должны справляться сами...» Энергичным движением отвернулся к стенке, лег на правый бок, подложил ладошку под щеку — мирный жест засыпания. Через несколько мгновений его не стало. Это мгновение никто из нас не уловил.

ПРОСТО ЖИЗНЬ



ерелистываем страницы дневника. «Молодой клен весь уцелел, я тронул его, и он весь сразу упал к моим ногам».

И когда читаешь, всегда мелькает мысль, что это — о самом себе.

Клен этот и сейчас стоит — он в глубине нашего леса, на Чигасовской дороге. В тот раз мы ходили по лесу вдвоем (не часто брал он меня с собой в лес по утрам); маленькое событие это произошло на моих глазах, я запомнила деревцо и каждую весну его навещаю, когда оно одевается новой зеленью.

Стоит и дом Пришвина в Дунине. В нем живут вещи, хранящие прикосновение его рук. Нерушим прежний распорядок дня. Новые люди, гости наши — читатели — молча ходят по дорожкам сада, сидят на скамейках, на которых видели мы Пришвина с записной книжкой в руках... И рождается горячее желание проникнуть во внутренний мир этого человека, живущего до сих пор с нами в его словах и образах.

Мы рассказали здесь не только о его радостях, но и о печалях, и о жизненных ударах. Их было, конечно, больше, чем мы рассказали, — ведь за плечами осталась такая долгая жизнь. И, тем не менее сквозь

это все, неминуемое в жизни каждого, Пришвин находит неизменно выходы в мир оптимизма, такого, что кажется: никто и ничто не может этот мир разрушить или у него отнять.

Удивителен этот человек тем (уже не раз это нами здесь говорилось), что он имел силы радоваться жизни, «несмотря ни на что», не покоряясь ни злу, ни страданию, и так до последней своей минуты.

Думая постоянно о гармонии, ища ее определение, он в конце жизни записывает лаконично, сурово и совсем по-новому: «Гармония, успокоение — есть привычка к состоянию борьбы».

Чего стоила ему эта борьба и достигнутая гармония, мы знаем по его дневникам за полвека.

Гармония Пришвина — это в конечном итоге мужество его души: смотреть весь свой век прямо в глаза жестокостям жизни, так смотреть по долгу художника — за себя и за всех; смотреть — и не сломиться.

Всю жизнь — мысль о своем основном герое — Евгении из «Медного всадника», точнее сказать, о своем современнике, неведомом, но близком, равно значительном; «маленьких» людей для него нет. «Если даже мне удастся совершенно очистить своею душу от эгоизма, у меня останется одна тема: Евгений из «Медного всадника». Это было записано в 1922 году.

Когда Пришвин говорит о Пушкине, что тот был «замучен мыслью о судьбе Евгения», это в полной мере он относит, конечно, и к себе. В этом переживании, длившемся всю жизнь, Пришвин существовал как бы на полной свободе и независимым от любых житейских случайностей, потерь или приобретений, огорчавших и сбивавших его с ног не меньше, чем каждого человека.

Эту всецелую отданность нравственной идее можно иногда ошибочно принять даже за «жесткость» (же-

стокость). Но не будем торопиться. Чтоб понять человека, надо прислушаться к *тону* его слов.

Три позднеосенние записи в Дунине.

«1952 г. Листопад в разгаре. Многим сейчас грустно, а мне сейчас весело: там кончается что-то, и я свою повесть кончаю... Мне даже кажется, будто и у них там у всех в лесу все трудились долго, и что теперь у них вышло, и оттого листья падают: отработались! И так это хорошо, так спокойно, все так раздумчиво. Кажется, вот если бы совесть свою сохранить до того чистой, чтобы жизнь после всего отошла от меня самого, как отходят эти листья с деревьев».

«Прошел торжественный день осени, безоблачный, тихий. Я чувствую в таких днях торжество внутреннего глубокого существа, победившего внешние страдания».

«Листья опали с деревьев, но почки будущих листьев, будущей жизни определились, и на каждой почке сверкает большая светлая капля».

Однажды осенью 1949 года, утомленный бесконечными срывами с «Осударевой дорогой», он записывает: «Не удрать ли вовсе из литературы и жить потихоньку?» Это пишет человек, который через несколько месяцев скажет, что недостойна себя жизнь без охоты писать: «Мне кажется, эта охота моя больше жизни...»

Можно сказать еще и так: для Пришвина самым ценным была *просто жизнь,* обыкновенная, повседневная жизнь, как величайшее дело, порученное каждому человеку, и в этом смысле каждый был в его глазах ее творец и художник. Отсюда рождался интерес, уважение к любому встречному с его неповторимым лицом и опытом. Здесь рождалась очень часто и боль разоча-

рования... И новый поиск, и снова вопрос, и доверие, и надежда.

Я уже говорила: Пришвин не верил в системы — логику, обобщение, формулу. Его убеждает лишь непосредственное впечатление, «первый взгляд», «детское» восприятие... И в этом смысле он постоянно, до назойливости часто повторяет о необходимости сохранения «своего ребенка» в душе. Вот почему себя самого Пришвин никогда не понимает как учителя. Так идет издавна, через всю жизнь. Это неразбиваемое единство в его душе с ранней молодости и до старости поражает. Оно с годами углубляется, находит новые и новые образы, но в существе остается неизменным.

Обратимся к началу его писательства, возьмем хотя бы дневник трудного «переходного» 1919 года. Он — сельский учитель в глухой деревне на Смоленщине. Запись: «Нечего вспомнить — что я делал, писал, кого чему научил: нечего! Впрочем, кто же может вспомнить свои дела и назвать их делами? только глупый самодовольный человек. От дел у человека ничего не остается, ничего не прибавляется, ничем не связывается прошлое и настоящее (Толстой даже отказывался от своих писаний). Остается связью бескорыстное — что это? радование жизнью, младенческое восприятие мира, было хорошо, есть что вспомнить и поблагодарить кого-то за это — вот все, что остается. Какая благоговейная святыня бывала в душе, когда видишь первую иглу зеленой травы, прокалывающую слой прошлогодней листвы, или первую пушинку снега, слетающую к ногам при наступлении зимы... или утреннюю звезду, когда она бывает совсем близко от рожка месяца...»

Через два месяца о том же очень кратко и строго: «...я никого учить не хочу, я поведаю вам свою боль и радость, а вы делайте с ними что хотите. Я не учитель, а только деятель общения и связи».

Перелистаем несколько десятилетий...

1952 год: «Вечером вчера вышел на улицу без всякого дела и поехал по метро в город. И вдруг мелькнуло мне знакомое чувство счастья своей личной свободы на мгновение: кажется, будто я владею мгновением жизни своей в толпе, как часто у меня бывает в лесу. «А разве, — подумал я, — и человеческая толпа не загадочна в жизни своей, как и лес?» И я вдруг обратил это свое чудное внимание к жизни минуты».

И еще одна запись — об обобщении и его диктате. В ней Пришвин откровенно и бесстрашно называет философскую *систему* (в смысле непререкаемого обобщения) могилой мысли.

1953 год: «Когда я читаю настоящую большую философию, то не могу никогда отогнать от себя, что я на кладбище хожу по каменным плитам, хожу с обозначением той или другой мысли, а под плитами лежат покойницы-мысли.

Тоже еще думается, когда запутаешься в дорожках на кладбище, что ведь есть где-то сама живая стихия, где эти мысли от каждого веют нам как нечто живое, небывалое, что каждый человек явился к нам с чем-то своим неповторимым, что ему хочется обратить это свое неповторимое в небывалое для общества и тем самым остаться живым, сохраненным.

Эта живая бесконечно разнообразная стихия действующего народного слова и есть все, чему я служу не как ученый, языковед, философ, а как мыслящий простой человек...»

Пришвин говорит многократно в своих записях, что в Дунине он нашел *все* и был счастлив. Но что он понимает под словом «счастье»? И где оно — в природе, в творчестве, в любви? И есть ли границы между эти-

ми именами одной и той же сущности, между реками, льющимися из одного истока — жизни?

Человек, в понимании Пришвина, должен победить и может победить одиночество, свою трагическую брошенность в холодный, жестокий космос. Он должен вернуться к себе, но в такое расширенное «я», в каком вмещаются все общечеловеческие ценности: добро, поэзия, мысль. Пришвин дает в своем творчестве и образ этому своему «возвращению». Для него в его частной судьбе — это скромное «Дунино» — меньше всего оно означает в этом толковании некую географическую точку.

«Дунино» — это образ жизни или жизнеощущение. Пусть это лишь частная попытка победить разделение в жестокой природе и жестоком человеческом общежитии, частная попытка создания гармонии.

— Недосягаемо? — спросила я его однажды.

— Да, — ответил он, — но и неотвратимо!

Обычная человеческая дружба или любовь двух — это, в понимании Михаила Михайловича, не только личное событие — нет! оно касается всех, потому что человек, сказавший «Ты», тем самым вышел из одиночества, он тем самым вместил в себя все, находящееся за пределами его эгоистической *особи*. Он, по словам Пришвина, теперь «не *особенный* — не одинокий, он стал как все...».

Долгие годы Пришвин ходил вокруг мысли собраться с силами — написать завершающий роман о единстве творчества, поэзии, любви... Это должна была быть третья часть автобиографического романа «Кащеева цепь». Но сил и времени у Пришвина уже не хватало. А может быть, причина тому глубже, истиннее; он думал и так: «Не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду?» Вероятно, по качеству своего дарования — улавливать в слове пролетающее мгновение жизни, пока сам еще не успел «излу-

кавиться», — вероятно, это и было самой большой правдой Пришвина-художника.

Вспоминается мне осень 1941 года. Мы живем в переславских лесах, идут самые тяжкие, военные дни там, на фронте; у писателя душа сжата в комок и все мысли, все записи об одном — о судьбах России... И в лесу он теперь не с лесом, на реке — не с рекой... И вдруг мы находим в его дневнике такую запись: «Иногда, очнувшись в лесу от своих мыслей, я как бы выгляну из себя... Тогда открывается в душе родник радостной жизни, чистой, святой, и страстное желание прийти к людям, не понимающим этого, и открыть им непостижимые сокровища жизни... Всю жизнь как писатель я только и делал это — пытался своим искусством открыть этот мир сокровищ для людей... Я же, возможно, как художник очень ограничен, но зато я знаю, что я делаю, и это мое знание делает мое искусство драгоценными, и вот почему люди, привыкшие ценить в искусстве лишь красивость, а не знание и волю, не скоро меня поймут».

Я хотела бы донести до читателя *тон* жизни и мысли Пришвина в его последние дунинские годы так, чтобы тема, появившаяся вначале, развиваясь, охватила бы нас к концу полным звучанием и не оборвалась.

Мы сделаем это, приведя ряд дневниковых записей Пришвина. Будем следовать по годам их написания:

«1947 г. *октябрь.* Белая изгородь, вся в белых иголках мороза, пересекает красные и золотые кусты... Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза!

И вот эта холодная бегущая вода в реке, и этот огонь от солнца, и вот уже расплавились иголки мороза на крыше, и крупными редкими сверкающими каплями стала падать вода из желобов.

Но и этот огонь, весь в своем сиянии, и эта вода, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе и чего мы даже не знаем, — все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир».

«1948 г. *апрель*. Я совершенно один сидел на пне, и мне радостно было, что никто не видит моего утомления, не слышит моего кашля, не чувствует моей больной поясницы, и сам я могу все это сбросить с себя так, что оно не мешает мне мечтать, сочинять и только шуршит, как старая листва под ногами бегающих друг за другом зябликов.

Никто меня тут не видит, ничего мне теперь не стыдно — я совершенно один...»

...И невольно вспоминается здесь недавняя запись того же года: «Ах, как желал бы я теперь выбрать из своего написанного хорошее, а остальное бы сжечь и похоронить без отпевания!»

«1950 г. *февраль*. Не могу справиться с собой, когда, бывает, подкатывает под самое сердце радость ни с того ни с сего... И даже если и нет ничего и не к чему придраться моей радости из-под сердца, то радуешься просто тому, что живешь.

Там в глубокой тишине слышишь движение крови своей: пульс жизни. И когда это найдешь, вдруг спохватишься: погляди, рядом с тобой страдает твой друг! И тогда бросишься искать путей, как бы эту радость жизни людям отдать».

«1951 г. *май*. День был такой прекрасный, что я подумал: есть на свете много такого, что получше моих сочинений, и, уложив работу на стол, вышел из дому».

«1951 г. *сентябрь.* ...Временами как бы расцветает чувство мира, и если в нем мне удастся что-нибудь написать, то оно всегда свидетельствует о мире и привлекает ко мне читателей добрых. Сложив все удачное, мне кажется, я могу ощутить свою долю мира, отданного мною на пользу людей. Не это ли одно остается потом от писателя? Но что это Шекспир? — Тоже мир душевный или игра?..

Боже мой, ничего я не знаю и всем осеняюсь... Я скорее всего прост и глуп, как Иван-дурак».

«1951 г. *октябрь.* Сумерки сегодня были теплые и тихие. Я сидел у реки, и, пока смеркалось, мне казалось, что лишнее мое все понемногу расходилось в сумерки и оставляло меня больше и больше, пока наконец я совсем не осмеркся.

Мне было так, будто у меня осталось только детство, что я после всего наконец вернулся в него, но только оно теперь лучше, и экзаменов больше не будет».

«1952 г. *апрель.* Сижу этой весной в лесу под деревьями, и меня восхищает, что они все перенесли: и ветры, и бури, и стужу, и снег, и мороз. Сколько было всего, а теперь как ни в чем не бывало начинают новую жизнь.

...Помню старых русских людей... какие хорошие, какую трудную борьбу выдержали, и теперь со мной в новой весне живут как молодые.

И я пока живу возле себя, они со мной живут. И, может быть, кто-нибудь так и меня перехватит и удержит в жизни своей прекрасной».

«1953 г. *январь.* Пишу оттого, что не могу удержать в голове и сложить, соединяя, проходящие отблески

жизни какой-то единой, большой. С пером в руке, как с костылем...»

«1953 г. *июнь.* ...Как нелегко жилось, как удалось уцелеть! И я хочу все-таки в автобиографии представить жизнь эту как счастливую. И сделаю это, потому что касался в творчестве природы и знал, что жизнь есть счастье».

«1953 г. *октябрь.* Осень в деревне тем хороша, что чувствуешь, как быстро и страшно проносится жизнь, ты же сам сидишь где-то на пне, лицом обращенный к заре, и ничего не теряешь, все остается с тобой».

Он вечный труженик в своем ремесле, он пишет сейчас о свободе, о радостном окончании непрерывных жизненных «экзаменов», о верховной ценности того, что он называет «просто жизнь». Это уже не творчество в его достижениях, не мастерство в его соревнованиях, это прямой выход в великую жизнь природы, в мир, по его словам, бесконечный в пространстве и собранный в себе как единство, «где каждое существо отвечает за вселенную. Много я написал об этом, и еще напишу, и буду на *этом стоять...* Моя собственная, во мне, золотая, единственная в своем роде и такая еще неповторимая мысль еще до сих пор не определилась, но родилась. К ней ведут, однако, во множестве образы...».

Эти образы мы сейчас с вами и разглядываем...

Проходят последние годы Пришвина в Дунине: «Мы сживаемся с Дуниным и делаем из него мало-помалу родину... Моя радость жизни определилась в дунинском домике с другом моим и спокойной работой».

Но спокойствие это лишь кажущееся. В том смысле кажущееся, что жизнь писателя становится все более

ответственной за совершающееся в человеческом мире, все более «не для себя».

В последние годы назрела потребность высказаться всем понятно о том, что волновало всю жизнь, но открывалось вовне лишь в переменчивых образах.

Однажды солнечным днем в золотом осеннем дунинском лесу Михаил Михайлович сделал запись, значение которой трудно переоценить и для исследователей, и для друзей, любящих его неутомимую в непрестанном движении душу:

«Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды и необходимо мне дать ее вам.

Я хочу сказать, что весь смысл, и радость моя, и долг мой, и все — только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные.

Я кричу! Но мой крик в золотой пустыне возвращается ко мне обратно, и я, как первобытный дикарь, древнейший человек, делаю из глины первый сосуд и заключаю в него для друга моего перебегающую жизненную силу. И это все равно: там была вода и глина, теперь у меня дух мой и слово, и я из слова делаю форму».

Эта запись — и о подлинном лице человека, которому посвящена наша книга, и о происхождении всякого подлинного искусства.

Лучше об этом мне самой вряд ли удастся сказать.

В последние годы записи Пришвина говорят о его тревоге за судьбы человечества. Мысль сосредоточивается не на любимом искусстве, не на поэзии жизни, не на теме личной любви или дружбы... Все это, конечно, сохраняется и живет, но основная мысль — об

опасностях жестокого взаимоистребления, об угрожающей миру новой войне, о судьбах дорогой его сердцу (самой дорогой из всего, что он любит) родины — России. С этим именем соединено у него все: и искусство, и любимая женщина, и близкие друзья.

Он, уходящий уже из жизни старый человек, не считается с сознанием близкого личного конца. Он как никогда ощущает в себе мысль о личной ответственности за все совершающееся вокруг него в мире.

«Ушел я от того, что пережил в юности бог знает как далеко, и, конечно, с этим, что теперь делается и чего мне хочется, то, прежнее невозможно сложить. Но ведь я-то начинал то самое, что теперь делается, и, значит, я за него отвечаю. Вот почему я признаю себя участником дела и гражданином в Союзе и полагаю все свои душевные силы, чтобы наше дело вывести к лучшему!..»

Он высказывается твердо, уверенно и многократно, что «России суждено сказать новое слово... это слово будет о мире всего мира». Это тема его последней повести.

В чем видит Пришвин возможность плодотворного участия в деле творчества мира? Оно — в создании средствами искусства образов мира, которые, он уверен, влияют на сознание и дело людей.

В 1950 году после заседания Постоянного комитета защиты мира в Стокгольме Пришвин записывает: «В борьбе за мир, принятой на себя Советским Союзом, некоторые не принимают участие ввиду того, что, по их мнению, войны и так не будет, другие — что война все равно неизбежна.

...Мы (художники) принадлежим к тем скромным деятелям в творчестве самой субстанции мира, которые не имеют времени на политическую оперативную деятельность. Мы верим, что наша деятельность необходима в деле создания мира еще более, чем политика,

потому что без субстанции мира политику нечем и оперировать...»

Субстанция мира, которую творит художник, это и есть воспитание душ влиянием образов, создаваемых искусством. Поэтическому слову (так думает Пришвин) присуща та же сила, что и музыке, — влияние не через логику рассуждения и выводов, а через иные способности человеческой натуры, которые вряд ли до конца могут быть вскрыты.

«Лично я боролся за мир с того самого раза, как взялся за перо», — вспоминает Пришвин свою жизнь, свою в ней работу и тем завершает жизненный круг.

Пришвин погружается в стихию, которую он сам называет «чутьем истории».

Записей об этом можно было бы привести множество, выберем несколько из дунинских дневников:

«...Все, что осталось от Европы, — это борьба индивидуалистической (капиталистической) цивилизации с коммунизмом. И мы думаем, что эта цивилизация будет поглощена коммунизмом и культура новой личности родится в коммунизме. Мы надеемся, что коммунизм будет тем материнским зерном новой культуры, а то, что нам теперь неприятно, пойдет на пропитание эмбриона новой культуры».

«Идея человечества есть русская идея, противоположная идее фашизма... и состоит в смирении нации перед всеми нациями... Русский начинает с того, что каждую нацию ставит выше себя...»

«Входя в колею жизни, слабеющие люди и народы падающие, закатные, получают веру в инертность человеческой природы и убеждают себя в этом ссылками из истории и на «суету сует» Соломона. Нужен приход невежественных молодых народов — варваров, чтобы загорелась вера в небывалое.

Не бывает? А мы попробуем!»

Пришвин — романтический «комсомолец XIX века» (он часто так себя называл) — видит в XX веке пересмотр всех основ жизни — «срывание ее одежд»:

«Яснеет задача современного искусства обнажить человека совершенно, лишить его всех покровов религиозно-этических и романтических. Помнить, что этой же правдой (вот она!) вышел в люди Шекспир...»

Пришвин-художник опускает теперь занавес между нами, зрителями, и тем, что совершается на жизненной сцене. Там идут тяжелые роды нового общества. Занавес его — это художественный образ: «...весь мир будет голый и потом начнет одеваться. И первая одежда будет, как в раю, из листьев, а первым садовником, конечно, признают меня».

Мы видим за этим улыбку Пришвина. Но в то же время, несомненно, поэт Пришвин, как и всякий поэт миротворчества, готовит уже для того будущего общества зеленые одежды — одежды прекрасного.

В конце 1950 года Пришвин в том же настроении надежды замечает: «Сейчас начинает подкрадываться чувство возможности жить человеческим массам не под диктовку голода. Вот этого-то «нового» и ждут теперь от писателя — явления образа (чуда) во свидетельство нового закона жизни. Тут сам ничего не сделаешь, а все будет как бог даст».

Шел последний, 1953 год. Лето в Дунине. Запись 16 июня: «Читая К. Леонтьева * теперь об эгалитарном процессе, дивишься легкомыслию пророка. Он ужасался тому, что в деревне... не ткут холста на юбки все по-разному, а покупают одинаковую материю в городе и т. п. И это страдание за разные юбки он берет на себя из-за «красоты»!»

---

* К. Н. Леонтьев — писатель второй половины XIX века, создатель своеобразной системы толкования славянофильства.

И все это эстетическое и нравственное блуждание досужих людей провалилось в бездну, где человеку только бы уцелеть, только бы выбиться куда-нибудь и в чем-нибудь.

«...чуть ли не с 1881 года, восьми лет от роду, я знал, перед чем стою и что вывалит из себя когда-нибудь наш вулкан.

Теперь вулкан вывалил, и победителя не судят».

Никакой идеализации прошлого. Никакой идеализации настоящего. Все как неотвратимая правда истории — ее «возмездие». И — «победителя не судят»!

Наступил июль. Михаил Михайлович стоит у реки, смотрит на заречный берег, на поля, где недавно шел сенокос: «На лугах за рекой показались стога, и сколько они мне говорят! Как зазывают к себе надергать сена, положить в теневой стороне, сесть на него, спиной прислониться к стогу и думать, думать о том, что проходило, без слов.

Теперь жизнь моя проходить будет в словах, и я хочу, чтобы слова мои теперь были правдой».

В свете этих мыслей он заканчивает свою повесть «Корабельная чаща», где чаща, за которую борются и которую берегут ее герои, становится не хранителем неподвижного старого, а копилкой сил для движения в новое — в небывалое: «Возврата нет!»

Летом 1953 года Пришвин подходит к работе над автобиографией и четко намечает ее смысловой стержень: «Вчера до конца понял себя и своего Алпатова* в патриотическом творчестве, и лично понятый марксизм обратился в патриотизм... Быть русским, любить Россию — это духовное состояние... Еще раз убедился в том, что мы с Л. на правде сошлись, и нет в мире

* Алпатов — герой автобиографического романа Пришвина «Кащеева цепь».

более верного свидетельства нашей правды, как то, что мы сошлись.

Значит, немедленно по окончании повести я перехожу на автобиографию, и это значит, что я собираюсь жизнь свою обратить в слово».

На следующий день мысль продолжается: он отмечает свое единство с людьми, идущими за ним «по кладочкам через реку». Это его читатели, друзья, участники его мысли. У всех общее дело, Пришвин убежден в существовании этого единства — всеобщего очага творчества.

И сейчас, стоя на краю жизни, вступая уже на тот мост, на те кладочки, он пишет вовсе не о конце, а только о движении! Оно недоступно автору во всей полноте, но Пришвин не сомневается — оно «вперед», то есть к лучшему.

«...поручаю начатое мною делать другому, а сам продвигаюсь вперед.

Куда же «вперед»?

Вперед — это к тому месту, где уже все понимают, что и к чему они делают... Мне кажется, что каждый настоящий творец в своем творчестве всегда чувствует существование общего очага творчества...»

И еще раз повторим вслед за Пришвиным: «Слово правды делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобою одним».

Мысль и ее образ завладели художником, они живут в нем неотступно. Вся природа участвует в его работе. Одна запись идет за другой — и все об одном, об одном... Это образ общего очага, общей кузницы...

Запись еще через день. Он стоит в нашем саду на поляне и смотрит на прибрежную полосу леса в закатном свете: «...закат горел костром за деревьями, уже совсем черными по красному. Так думалось, глядя на деревья, что в своем молчании они, может быть, и

ближе нас к самой кузнице, где совершается творчество жизни».

Наступил конец сентября — самое лучшее время в Дунине. Тихо на деревне, дачники давно разъехались. Еще тепло и солнечно. Хорошо работается и в доме, и на веранде, и в саду. Листопад в разгаре. Аллеи покрыты золотисто-бурым ковром. Прекрасное рабочее уединение!

Но в одиночестве он никогда не бывает один.

26 сентября. Михаил Михайлович, раздумывая, бродит по аллеям сада: «Листья в липовой аллее уже хорошо и серьезно шумят под ногою. Слышишь ли?»

К кому этот вопрос? Мы, без всякого сомнения, понимаем: он обращен и ко мне, и к тебе, читатель, пусть этот разговор между нами состоится через сотню лет, после того, как была написана эта строка в том давно ушедшем в вечность сентябре.

Не раз раздавался в русской литературе этот вопрос, обращенный через головы всех близстоящих к тем, стоящим еще поодаль: «Слышишь ли?»

«Листья серьезно шумят...» О чем? Все о том же: это вечная дума «о мыслимой судьбе человечества».

«..Гулял в своих аллеях и думал о том, что скорей всего так я и буду жить до конца в Дунине, если не потревожат военные события. Тема же для дум во всем мире одна: войной кончится все это напряжение, или всемирный организм всего человека рассосет эту величайшую для всех времен напасть».

Вечная дума о спасении жизни. В добро этой жизни он верил и для этой веры был рожден.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ



имой 1954 года я перенесла инфаркт, и только в середине лета меня перевезли в Дунино. Там я понемногу набралась сил и снова принялась за прерванную работу. Приходилось вести ее одновременно и в Дунине и в Москве. В городской квартире с помощью Зинаиды Николаевны Барютиной и трех приглашенных машинисток шел начатый еще зимой, тотчас после кончины Михаила Михайловича, сбор, систематизация и опись архива. Без этой предварительной работы нельзя было вплотную приняться за составление шеститомника избранных произведений; необходимо это было и для новых публикаций в текущей прессе, и для составления новых книг Пришвина, которым суждено было (я ставила себе сознательно эту задачу как основную) раскрыть по-новому значение писателя Пришвина как поэта-философа, новатора мысли и формы, а не просто «певца природы», каким его считали в широких читательских массах и как называла его подчас неглубокая критика.

Вот почему сразу же в Дунине я вернулась к составлению книги «Глаза земли» по дунинским дневникам. С книгой надо было торопиться, так как она была вне-

сена самим автором в состав будущего собрания, но самой книги еще не существовало. Были только ее заготовки.

По мере составления книги легко удавалось через газеты и журналы доводить до читателя отдельные ее отрывки. Они принимались в те годы, как говорится, «нарасхват», и читатели тех лет, несомненно, помнят первые страницы «Литературной газеты», целиком занятые дневниковыми отрывками Пришвина. О них говорили, их выписывали, их цитировали в печати. И понятно почему: наступало новое время — время «брачных отношений» человека с природой (по терминологии Пришвина) взамен губительной однобокой тенденции завоевания, использования, в конечном счете —уничтожения природы человеком. Пришвина с нами уже не было, но слово его оставалось и становилось все более и более современным. Ясно было, что в минувшие, довольно далекие даже годы Пришвин предвосхищал темы наших дней, хотя не раз бывал поставлен под обстрел критикой.

То, что теперь уже знает каждый школьник, что стало насущной потребностью и условием сохранения жизни на планете, — служение природе и спасение ее — Пришвин это давным-давно предчувствовал и как природовед, и как художник, и об этом писал, и долго оставался в этом отношении непонятым и одиноким.

Одновременно с составлением очередной новой книги надо было составлять и тома собрания. Первым томом шел автобиографический роман «Кащеева цепь», подписать в печать его успел сам автор. Составление остальных томов лежало на мне: я должна была действовать на основании завещания Пришвина, поручившего мне продолжение своего дела.

Скоро у нас образовался дружный коллектив сотрудников при Издательстве художественной литературы, возглавляемый главным редактором издательства

А. И. Пузиковым и редактором, ведущим собрание, К. Ф. Платоновой. На себя мне пришлось взять, кроме составления томов, еще комментарии к заключительным 5-му и 6-му томам и весь так называемый «аппарат»: канву жизни и творчества, подбор иллюстраций и т. п.

Отвлечемся ненадолго и расскажем, как в многообразный труд писателя наряду с другим входила и фотография. Начиная с 1928 года он занимался ею уже регулярно, никогда не делая значительных перерывов до конца своих дней.

Бывали периоды, когда охота с фотокамерой заменяла ему привычную многолетнюю охоту с ружьем (ведь и ружье было, по существу, способом вхождения в природу, и только в переломные трудные годы оно служило подспорьем, чтоб кормиться с семьей). Достаточно привести такую запись дневника, сделанную в 1930 году: «До того я увлекся охотой с камерой, что сплю и все жду, поскорей бы опять светозарное утро».

Охота с ружьем и охота с фотокамерой были близко связаны между собой еще и тем, что у Пришвина за долгие годы выработалась привычка к трудным, подчас мучительным условиям жизни на болотах, среди комаров, гнуса и слепней, с переходами по многу километров в жару, завязая в грязи; привычка эта и выработанное охотничье терпение расширили пространство и для его фотопоисков.

Он склонен был преуменьшать достоинство своей фотоработы: «Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это не увидит».

А сюжеты, которые снимает Пришвин, смысл, который он в них вкладывает, и приемы, которые он ищет и пробует, — все это может послужить не одной только фотографии, но и ряду смежных областей, где работает глаз и воображение человека.

час мемориальные дома на новую ступень их быта: мы убеждаемся на опыте, что они должны становиться научными лабораториями, творческими центрами, где развивается мысль писателя, а не только местом показа комнат, фотографий и вещей.

Нам отрадно сознавать, что дом наш выгодно отличается от того мемориального музея, куда однажды попал Пришвин и о котором сделал в дневнике следующую запись: «1941 г. 12 февраля. Музей вызывает в воображении охранный заповедный кусок земли, жизнь населения на котором из-за какой-то необходимости подавлена... А еще больше этот музей похож на беломорскую куйпогу, то есть обнажение морского дна во время отлива: было море, был разлив, а теперь что? Какая-то иллюстрация к идее совершенной пустоты земной славы и совершенного бездомья. Как будто бы N. для того только и жил, чтобы устроилась... канцелярия».

Но, как всегда бывает в жизни, в нашем деле появилась и «оборотная сторона», вызывавшая тревогу: люди приезжали на природу — в места, прославленные рассказами Пришвина, и к тому же места эти были соблазнительно близко расположены к городу. Многие приезжали просто чтоб полежать на берегу, разжечь костер, закусить, выпить... Стали ломать, рубить, засорять берег и дно реки, и наши деревенские ребятишки постоянно ходили теперь с пятками, порезанными о битые бутылки. Главное, начали гибнуть здоровые деревья — с них безжалостно срезали смолистую кору на растопку... Так началось бедствие!

Но нашлись, как всегда это бывает, и другие люди, которые поняли: надо спасать дунинскую природу. В «Правде», в «Комсомольской правде», «Литературной газете», во многих других газетах, в частности в районной — «Наши рубежи», появились статьи

целью привлечение людей к делу охраны природы, иными словами, воспитание в них чувства личной ответственности за нее. При этом, конечно, не только за одну дунинскую природу, но и по всей нашей большой земле.

Так в Дунине мы доносим до людей любимую мысль Пришвина: «Охрана природы — это охрана Родины». Как давно, как страстно писал об этом Михаил Михайлович!

Примером приведу запись из книги наших посетителей. Заметим, что сделана она на десятом году после ухода из жизни Пришвина: «Мы, дунинские туристы, пять человек, совершенно случайно остановились на берегу реки и очень жестоко обошлись с лесом. Стыдно нам! Больше этого не будет. Клянемся вам, Михаил Михайлович».

...Случайно! Они даже не знали о домике Пришвина на горе, под которой жгли костер. Смутно знали, о чем писал этот человек. Может быть, почти ничего не читали. Переночевали на берегу, рубили живые деревья для костра, для палатки... Отправляясь домой, оставили после себя мусор. Но вот, проходя мимо нас, так же «случайно» заглянули в открытую калитку. Зашли, послушали, посмотрели. Завязалась беседа. Протянулись нити понимания... И в результате запись, в искренность которой нельзя не верить, невозможно даже предположить, что «клятва» эта когда-нибудь будет забыта.

Как я уже упомянула, люди приезжали отовсюду и разные. Тут же в саду происходили знакомства, обмен мнениями. Рождались не только новые читатели и исследователи, но и активные охранители природы, люди, решающие посвятить свою жизнь целиком охране природы. Бывает и так, что они приходят к нам через сколько-то лет лесоводами, зоологами, ботаниками. Некоторые — поэтами...

Так постепенно нащупываются и осуществляются у нас новые формы работы. Сама жизнь выводит сей-

Михайловиче. Отмостка с этим бедствием покончила навсегда. Еще, что было осуществлено и о чем мы с Михаилом Михайловичем лишь мечтали, — это была постройка забора вокруг участка.

Проект забора сочинялся всем «комитетом»: это были секции из штакетника, соединенные на их стыках столбами, на каждом из столбов была крышечка или «домик» из двух наклонно поставленных, как две карты, дощечек. «Домики» бежали вниз по склону участка лестницей, и поэтому весь забор, казалось, был вовлечен в непрерывное веселое движение. Так нам казалось, и действительно, в этом было что-то от настроения Михаила Михайловича.

План дома при ремонте был сохранен полностью. Сгнивший прируб был перебран так, что превратился в подсобное помещение, где летом мы делали в течение нескольких лет экспозицию книг и фотографий, проводили беседы, показывали диапозитивы и укрывали в дождик гостей.

Но вскоре выяснилось: книги отсыревают, фотографии портятся. И мы мечтаем теперь утеплить это помещение и превратить его в экспозиционный зал, если только слово «зал» может быть применено к такому скромному по размеру помещению.

Среди сотрудников всех музеев нашей страны ведутся сейчас поиски новых методов работы в мемориалах с целью сохранения подлинных вещей и самих мемориальных помещений, быстро идущих на износ при постоянном росте посещаемости, особенно если дом уже старый. Выходом может служить не что иное, как устройство такого экспозиционного помещения рядом с мемориальным домом.

Нашему делу чрезвычайно помогает, что дом расположен среди природы. Работа в мемориалах, расположенных в соседстве с природой, кроме своей непосредственной цели — сохранения памяти о человеке, имеет

музея, — спросим мы, — музея как места сохранения всего материального, что окружало ушедшего из жизни творческого человека (к этому «материальному» следует отнести не только вещи, рукописи, картины, книги, но даже и самих оставшихся его друзей, учеников, продолжателей, исследователей)?

Спросим — и так себе ответим: смысл этот состоит в восстановлении и сохранении личности человека, сохранении духовного богатства, которым он украсил и углубил нашу жизнь. Необходимо торопиться с этим и вот почему.

В наш небывалый век с его удивительными открытиями в науке, поисками новых форм в общественных отношениях жизнь превращается в неудержимый поток, и мы с изумлением и страхом наблюдаем за его стремительностью. Страшно потому, что в этой быстроте легко может потонуть память о прошлом, оборваться драгоценные связи между поколениями — утратиться так называемое историческое наследие и преемственность. А нам оно насущно нобходимо, оно нас питает, в нем плод многовекового труда отцов наших и дедов. Заповедник природы и мемориал быта — это и есть копилка опыта и школа жизни для новых людей в их новом созидательном труде и творчестве. Так понимали мы идейную сторону дела, и она вдохновляла нас.

Сразу же трудным и в то же время совершенно неотложным делом стала нависшая над нами необходимость крупного ремонта. Делать это частными силами и средствами, да еще наряду со всеми срочными литературно-издательскими работами, было мне нелегко. Я всегда помнила слова Пришвина: «...теперь на частных путях останутся только кроты». Но мы преодолели трудности, и к осени 1959 года ремонт был закончен. Самое нужное в нем было сооружение отмостки вокруг дома, чтобы не заливали подвал весенние талые воды и летние ливни, от которых мы так страдали при Михаиле

Люди шли к нам не только чтоб посмотреть на самый дом и на окружающую природу. Многие шли, чтоб проникнуться настроением и духом Пришвина и глубже проникнуть в его творчество. От одних к другим переходила весть о памятном пришвинском доме. В 1955 году в краеведческом справочнике появилось первое упоминание о пришвинском Дунине.

Нашими гостями были и взрослые и дети, исследователи и просто читатели, были и гости из зарубежных стран.

Спросят — кто это «мы»? Вначале я была одна. Но очень скоро из числа приходящих людей выделилась группа читателей, которые вот уже более двадцати лет, прошедших после кончины Пришвина, разделяют мой труд. У нас сформировалась сама собой группа активистов, называемая нами в шутку «комитетом содействия», хотя, по правде говоря, это вполне серьезный комитет. Состав его, естественно, время от времени меняется, но сохраняется его основное ядро. Туда входят люди разных профессий и общественного положения.

Организатор Московского пушкинского музея А. З. Крейн говорит в своей книге «Рождение музея» так: «Многого, очень многого не имел бы Московский пушкинский музей, если бы у него не было, помимо обычного штата сотрудников, еще и «нештатного штата» — группы помощников, добровольно взявших на себя обязательство систематически работать в музее».

У нас в Дунине работает все эти годы только «нештатный штат». И к нему могут по праву быть отнесены из той же цитируемой мною книги слова о любви и уважении к людям, «которые добровольно урезают время своего отдыха во имя неистребимой потребности к активному, реально полезному труду».

Так сами читатели Пришвина создают его мемориальный дом и заповедник природы.

В чем же смысл и ценность всякого мемориального

Пришвин не успел заняться систематизацией своего фотоархива: «руки не доходили». Вот почему надо было тут же срочно его приводить в порядок. В результате этого наш шеститомник (законченный довольно скоро — в 1957 году), а также однотомник «Дорога к другу», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1957 году, были обогащены фотографиями самого автора.

Иначе складывались дела в Дунине: литературную работу там перебивали встречи с приходящими людьми, хозяйственные хлопоты: ремонт дома, уход за садом... А все вместе становилось самой жизнью во всем ее многообразии: жизнь Пришвина продолжалась.

Приехав в Дунино после кончины М. М. Пришвина и открывая двери нашего осиротевшего дома, я увидела в сенях на полу просунутое в щель письмо. Оно было от лыжников московского клуба туристов, совершивших еще в марте поход в память Пришвина. У меня сохранилась тетрадь, которую Михаил Михайлович предназначал для своего очередного дневника и на которой пробовал бумагу, не расплываются ли чернила. На тетради остался след его руки. И я наклеила на ее первую страницу эту записку наших первых посетителей.

Скромной по виду была эта тетрадка, но она легла в основу многих последующих тетрадей и особенно нам дорога. Такое отношение явилось для нас поначалу подарком.

Люди были разные по роду деятельности, по общественному положению, по возрасту и в то же время все были объединены чем-то одним. Видимо, это «что-то» было деятельное и бескорыстное отношение к природе.

И в этой тетради, и в последующих книгах с записями посетителей всегда повторяется одна мысль, одна просьба — сохранить уголок дунинской природы, сохранить Дунино как заповедник и наш дом как мемориальный музей писателя Пришвина.

В. Пескова, Т. Гайдара, И. Мотяшова и еще ряда авторов с сигналами бедствия; они писали о необходимости оказывать помощь нам, хранителям пришвинского наследия. Фотографы присылали снимки, отражающие следы варварского обращения с лесом, лугом, рекой. Дом ученых — наши постоянные посетители — предоставил мне возможность выступить с докладом о работе в Дунине, и я рассказала о необходимости поддержать борьбу за народную ценность. Ряд общественных деятелей и творческих работников культуры обратился в правительство с просьбой сохранить дом писателя и окружающую природу.

Мособлисполком немедленно откликнулся и 1 марта 1967 года принял официальное решение. В нем, между прочим, говорится: «Учитывая, что дом-усадьба представляет культурно-исторический интерес и то, что он фактически уже в течение нескольких лет является народным музеем, исполком Мособлсовета решил: 1. Признать дом-усадьбу писателя Пришвина М. М. памятником местного значения и взять под государственную охрану. 2. ...Разработать проект охранной зоны усадьбы М. М. Пришвина и зону регулирования застройки земель...»

План этот был разработан и утвержден, природа вокруг дома включена в охранную зону в определенных им границах.

При утверждении постановления было признано, как мы только что прочли в «Решении», что «мемориальный дом-усадьба Пришвина фактически является народным музеем», и это действительно так: нет теперь ни одного краеведческого или туристского справочника, в котором не значилась бы усадьба Пришвина в Дунине.

К тому же, как говорится, и само время работало на нас. В том смысле «работало», что идея охраны природы становилась постепенно всеобщим достоянием, она

уже не требовала разъяснений и доказательств. Людей, способных рубить живые деревья на костры, или вырезать на коре свои инициалы, или вытаптывать поляны с травостоем, или оставлять после себя битые бутылки, консервные банки и целлофановые пакеты, — таких людей становится меньше.

Конечно, одного постановления на бумаге было маловато для претворения идеи в жизнь. В помощь районному горсовету, на который было возложено наблюдение за выполнением решения, потребовались усилия и добрая воля всех, кто приезжал в Дунино не для его «потребления».

Дунино стало местом постоянной литературной работы по указаниям, оставленным мне М. М. Пришвиным. Тотчас после выхода из печати Собрания сочинений я составила книгу «Незабудки». Это записи из дневников разных лет, подобранные мной в определенной смысловой последовательности. Они, как сгустки мыслей, отвечают потребности современного человека в сильном и сжатом слове. Стремительность открытий в науке, борьба идей в жизни общества; то вспыхивают, то потухают великие и малые войны — земля переполнена событиями и в этом смысла стала тесной. Зато таинственная вселенная «просматривается» все шире, и расстояния для исследующей мысли растут воистину в астрономических масштабах.

Нам уже не до развлекательной литературы. Нам нужна короткая и сильная запись, как крик или сигнал: чем дальше расстояние, тем короче зов; это лаконизм стиха, афористическая форма прозы.

Сгущенная мысль и есть стиль Пришвина, в частности в его дневниках.

Первое издание «Незабудок», вышедшее в Вологде в 1960 году, я готовила в Дунине под стук топоров и в

суете большого ремонта. За последующие годы вышло еще два издания этой книги. «Незабудки» и дунинские дневники Пришвина, вошедшие фрагментарно в 5-й и 6-й тома собрания сочинений, привлекли в Дунино новых посетителей, среди которых оказались новые помощники и новые друзья нашего дела.

Так прошли 50-е и 60-е годы. Приближался юбилей писателя — в 1973 году 100-летие со дня его рождения. Мы к нему готовились.

Наша работа нашла оценку и поддержку у Министерства культуры: к юбилею писателя был произведен текущий ремонт дома и, главное, перекрыта целиком пришедшая в ветхость крыша. Мособлисполком совместно с Обществом охраны памятников истории и культуры изготовил и закрепил на нашем доме мемориальную доску, торжественно открытую в юбилейный год.

Празднование 100-летия получило широкий отклик по всей нашей стране. Не только в центральных городах, но и в самых отдаленных уголках нашей Родины о Пришвине писали, устраивали вечера, вели передачи по радио и телевидению, организовывали научные конференции. В Дунине шла переписка со школами, природоведческими и литературными кружками, отдельными авторами, исследователями, читателями. В разных издательствах страны вышли книги Пришвина и книги о нем. Мной лично за годы, прошедшие после кончины писателя, был подготовлен ряд новых его книг, написаны о нем исследовательские работы, сделан ряд публикаций новых текстов Пришвина.

Итак в дунинском доме М. М. Пришвина продолжается жизнь, работа и встречи с людьми.

Мы уже совершили с читателем мысленный обход нашего сада. Теперь войдем с вами в дом. Внутреннее убранство дома трогает каждого человека, впервые в

него входящего, ощущением уюта и душевного тепла — сохраненной в доме жизни. Очень часто, не сговариваясь, люди выражают нам это.

Что еще удивляет обычно людей — скромность обстановки и самих составляющих ее вещей. Это смотрится как-то необычно и даже странно в доме известного писателя и в наше благополучное время.

Теплота и уют труднообъяснимы словами, так как, по-видимому, являются сочетанием личного вкуса, настроя души, образа мыслей и образа жизни обитающего в нем человека. Невозможно разложить аналитически на составные части это сочетание. Скромность же, иногда, скажем прямо, бедность вещей если и объясняется, то никак не однозначно, и я сейчас постараюсь об этом понятней сказать.

Тут же, кстати, оговорюсь, что скромность эта вызывает обычно у всех гостей особое уважение к жившему *так* человеку. Тем он был и силен, что весь без остатка отдавался внутренней работе, не снисходя к слабостям, не размениваясь на поиски излишнего... Он как бы укреплялся и внутренне освежался строгостью в быте и привычках.

Приведу несколько записей из книг посетителей. Возьмем первую книгу и последнюю.

«1955 г. 8 июля. ...Простота, демократичность и своеобразная прелесть домика... Исключительное чувство вызвали личные вещи Михаила Михайловича. В них столько теплого, человеческого родного нам. Домик воспитывает больших и маленьких. Михаил Михайлович и после смерти учит не только своими произведениями, но и всем укладом жизни, своими взглядами. Очень полезно молодежи посещать этот домик. Мы надеемся, что он будет сохранен и приобретет всесоюзное значение».

Звенигородская турбаза. 17 подписей.

«17 июня 1956 г. Любимому писателю, певцу нашей природы, совести нашего народа низкий поклон».

«4 сент. 1956 г. Дом восхищает своей простотой. Эта простота и характеризует, насколько велик был этот человек».

«10 августа 1958 г. (Надпись на английском языке.) Я, право,чувствую большую гордость оттого, что мне посчастливилось посетить дом покойного писателя Пришвина... Виденное вдохновило меня. Это напоминает мне Толстого и Прем Чанда. Восторженное поклонение природе, связанное со вдумчивым подходом, — это идеальный путь. Желаю, чтобы его творческий труд вдохновлял молодежь.

С. Н. Мальвиа. Член парламента от провинции Бхокаль, адвокат, бывший премьер-министр княжества Бхокаль, ныне секретарь Всемирного Совета Мира».

«30 ноября 1958 г. Группа журналистов из Москвы, работников газет, радио, а также иностранных корреспондентов с большим волнением посетила дом М. М. Пришвина... Произведения М. Пришвина всегда любимы и читаемы и молодежью, и людьми старшего поколения и у нас, и во многих странах мира... Передаем глубокую благодарность людям, которые берегут и хранят все, что связано с жизнью и творчеством нашего родного писателя.

По поручению 100 человек подписи».

Примечание экскурсовода:

«В числе этой группы были иностранные корреспонденты Китая, Вьетнама, Бельгии, Албании, Франции и др.».

«17 июня 1959 г. Мы побывали в гостях у В. Д. Пришвиной, и души наши умылись. Нас очень тронул рассказ

о жизни Михаила Михайловича, о его светлом, радующем людей труде, о его прекрасной жизни. С благоговением смотрели мы на елочку, посаженную М. М. в честь оконченной последней повести, на стол и скамейку, где он работал, на его более чем скромный кабинет. Перед нами вставала его жизнь, чистая, как родник. Его книги давали и будут давать светлую радость всем людям.

Участники похода школы № 720 Киевского р-на г. Москвы. Всего 23 чел.».

«10 июля 1960 г. Мы снова пришли в наш любимый сад, правда, с другими ребятами. Пусть это станет настоящей традицией нашего лагеря. Может быть, это звучит смешно, но после каждого посещения работать с ребятами легче: они становятся честнее, проще, глубже. Так что для нас это не экскурсия, а воспитательное мероприятие.

И. С. Збарский — педагог пионерлагеря АН СССР и 35 пионеров 2-го отряда».

«1971 г. 25 июня. Хотелось бы остаться здесь и жить так же просто, насыщенно, как жил Михаил Михайлович. Только здесь возможно настоящее творчество, без суеты, без мелочности. И еще. Настоящие люди, настоящие таланты обязательно связаны с Россией, как Пришвин. Обязательно сохраните дунинскую усадьбу для будущих поколений. Глубоко благодарны В. Д. Пришвиной — хранителю усадьбы.

Группа туристов, г. Москва, 23-я спецшкола».

«1971 г. 4 июля. Мы не родственники, а на турпоходах так сблизились, что стали одной семьей и недели не можем прожить друг без друга. Не думайте, что мы неучи: у нас есть шеститомник Михаила Михайловича. Вы в этом убедились, когда мы цитировали его в разговоре с вами. Мы были неожиданно обрадованы тем, что

у вас в Дунине, в доме Михаила Михайловича, тоже образовалась «семья», подобная нашей. Может быть, правда растет новое человечество? Сегодня мы вам разобрали подвал, а в следующий раз починим трубу. Что еще?

От группы: слесарь-монтажник Игорь Королев».

«1971 г. 8 октября. Если жизнь покажется серой и утомительной, если исчезнет вера в человека, нужно просто приехать в Дунино к Михаилу Михайловичу.

Преподаватель СОГУ В. Жданов».

«1974 г. 10 мая. Мы, сотрудники кафедры луговодства (Тимирязевской с/х академии) Заславская Н. В. и студент Алтухов Д. в память о М. М. Пришвине... засеяли луг... Чувствуем себя в долгу перед всеми обитателями и друзьями дома».

«1974 г. 5 авг. Пришли мы в усадьбу М. М. Пришвина и видим — нужно помочь общему делу! В усадьбе упали три высокие ели, загородили дорожки для экскурсантов. Взялись с радостью и все сделали. Валерия Дмитриевна горячо нас поблагодарила и подарила нам книжку о М. М. Пришвине. Непременно придем сюда еще. Какое красивое место! Нас было 34 человека.

П/л «Алые паруса», 2-й отряд «Горизонт».

«1974 г. 1 декабря. Вторично мы посетили усадьбу М. М. Пришвина. Нас опять потянуло к этому месту — наиболее значительному для русского интеллигента в окрестностях Звенигорода. На этот раз нам хотелось бы подчеркнуть значение энтузиастов, поддерживающих и

создавших этот музей. Такое отношение к памяти Пришвина — наилучший памятник ему.

Спасибо Вам.

Пансионат АН СССР, 7 человек».

Скромность пришвинского быта, которую отмечают все посетители, объясняется еще и так: надо вспомнить, что жизнь наша начала строиться в Дунине в первые послевоенные годы. Мы только-только выходили тогда из общих страданий, тревог, лишений, которые испытывал каждый из нас, русских людей, и за себя, и за всех. Хлеб вволю, да покойное небо над головой, и, главное, снятая с души тревога за близких там, на фронте, — вот что было в те дни нашей величайшей радостью. Понятно, что всякое желание лучшего казалось нам тогда излишним, суетным.

В дунинский дом пришли вещи, служившие нам в трудной обстановке эвакуации. Что-то мы привезли из городской нашей квартиры, казавшееся там лишним либо, наоборот, особо дорогое по воспоминаниям. Что-то полезное и даже интересное нашли мы в самом доме и на чердаке, брошенном жившими здесь раньше людьми. Что-то привезли друзья. Так спящая вещь оживала в Дунине, начинала действовать, становилась любимой.

М. М. Пришвину было свойственно особое содружество не только с человеком, не только с животными, но и с самой материей — с вещами, ему служившими, сохранение им верности и благодарности. Все одушевлялось и входило в круг его личности — в мир, в котором он жил, в мир поэзии. Пришвин утверждал, что само чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности...

Он был мужественным человеком. И все же его что-то пугало в жизни. Что? Оказывается, это была не беда, не нужда, не болезни, не бесславие, а душевная черствость — отсутствие благодарности за добро. «Как

мне жить дальше с неблагодарными?» — восклицает он однажды в дневнике.

Вот почему корзинку для бумаг он не покупает, когда стало возможным ее купить в магазинах, а сохраняет верность (благодарность) служившей ему сколько-то лет огромной коробке из-под монпансье — она была принесена как-то нашей Марьей Васильевной для этой цели из магазина, стояла под письменным столом и заменяла Михаилу Михайловичу корзину.

Вот почему свою автомашину он называет иногда в дневнике ласково-уменьшительным именем *Маша*.

Для Пришвина его дунинской дом, окружавшие его вещи — это не был мир разорванных кусков материи, а некое существенное духовно-материальное единство природы, выходящее за пределы собственного индивидуального «удобного» мира.

Интерьер дома — это был для Пришвина не удобный и красивый быт, нет, это всегда особенный и новый мир, сотворенный человеком в содружестве с материей. Вещи обладают удивительным свойством: существуя рядом с человеком и служа ему, они постепенно одушевляются от человека, больше того, они служат духовной связи поколений. Вот почему мы должны внимательно и бережно вглядываться в мир вещей, остающихся от ушедшего из жизни человека, в мир переживших его свидетелей...

Пройдем, читатель, с вами бегло по комнатам дунинского дома, не останавливаясь пока на подробностях *. Оговоримся: почти каждый в доме предмет может явиться поводом для прочтения какой-либо выразительной цитаты из дневника писателя.

Входим в *переднюю*. Здесь висела в зависимости от

* В настоящее время дом готовится к открытию в нем Государственного мемориального музея и для осмотра закрыт.

Усадьбу можно посетить по воскресеньям с 11 час. до 16 час. (с 1 мая по 1 ноября).

сезона наша верхняя одежда. Вот, например, охотничья куртка Михаила Михайловича. Запись: «Ходили к портному заказывать охотничью куртку. «Еще охотитесь? — спросил портной. И через некоторое время: — Ах, я забыл вас поздравить с семидесятипятилетием».

— Нашел с чем поздравлять!

— А как же? — вытаращил он глаза.

Если бы только он понимал, какую ценность имеют эти годы у людей достаточно здоровых и с ясным сознанием. С чем поздравляет! С этим бы поздравил! Но увы! Они поздравляют, только пользуясь газетой».

Минуя мою маленькую рабочую комнату, входим в *столовую*. Единственная вещь в столовой — это буфет кустарной работы загорских мастеров-игрушечников. Остальное — следы только что пережитого военного времени и приспособления к нему.

Например, диван — это просто-напросто поставленные рядом два ящика грубой плотницкой работы, сделанные нами в эвакуации и служившие в Усолье для спанья, хранения книг и одежды.

В разгар войны, отрезанный от осажденной Москвы, Михаил Михайлович начал было кормить нас с помощью фотографии, он бродил по окрестным деревням, снимал детей и женщин для посылки их портретов на фронт, и тогда ящики эти были поставлены на ребро, превратились в шкаф-лабораторию. (Эти ящики служат и посейчас кроватью для гостей.)

По стенам висят образцы фотографий, сделанных самим Пришвиным. Его портреты в Дунине, пейзажи работы разных художников. Среди них особенно ценная для нас — вид с веранды давно не существующего хрущевского дома, в котором родился Пришвин, на давно не существующий пруд и въездные колонны перед домом. Запись о пейзаже во время болезни в 1953 году весной: «Лежу и днями смотрю на картинку «Хрущево», и все не нагляжусь, и кажется, так много в ней

чего-то, и мое духовное питание этой картинкой никогда не кончится... А для других в этой картинке нет ничего, только чудесный цвет земли и неба в первые дни мая». Картина эта работы художницы — двоюродной сестры Пришвина — в 1913 году.

Маленький самоварчик, который Михаил Михайлович иногда ставил сам ранним утром в свои утренние «дневниковые» часы: «Утром я потихоньку перехожу в столовую чай пить, и со мной переходит Жалька».

Над столом висит электрический звонок, сохранившийся в доме «от прежнего времени». Утро в сентябре. Запись: «Четвертый день чистый и золотой. Даже у нас в столовой от кофейника к висячему звонку паук за ночь успел провести паутинку».

У окна — деревянный бюст Пришвина работы скульптора С. А. Лоика, это единственная вещь, прибавившаяся к обстановке комнаты после кончины Пришвина.

Радиоприемник; собрание пластинок с записями голоса Михаила Михайловича и с записями любимых его музыкальных произведений (приобретены им самим).

Веранда, о которой много было уже сказано в предыдущих главах нашей книги.

Запись: «...дождь мелкий и ровный шумит по липам, идет, идет, ближе, ближе, а я сижу на веранде под крышей, читаю, пишу, пишу, еще пишу, а он все идет, и я знаю: он никогда не придет к моему столику».

Спальная комната — проходная к кабинету Пришвина. Здесь среди других фотографий — портрет Михаила Михайловича в детском возрасте, о котором я рассказывала в 1-й главе книги.

Кровать моя (перевезена из Москвы) — на ней скончался Михаил Михайлович.

Комната Михаила Михайловича — это и спальня его, и кабинет. Кровать простая, железная, найдена на-

ми в доме. Оставалась от солдат, живших здесь во время войны.

На вешалке вещи Михаила Михайловича, висят со дня нашего последнего отъезда из Дунина в 1953 году. Имеются на многих фотографиях Пришвина. На спинке кровати — складной палка-стул. На стене ружья. Охотничьи принадлежности. Охотничьи тяжелые сапоги и самодельный съем к ним.

Запись ранней весной в городе при сборах в Дунино: «С большим удовольствием заказал сапожнику ремонтировать охотничьи сапоги».

Апрель, Дунино: «Сегодня из-за большой воды я надел свои огромные сапоги, такие тяжелые, такие высокие, что чувствовал себя в них, как древний воин в тяжелом вооружении. Ступаю по грязи, крушу ледяной черепок так звучно, что жаворонки по дороге мышками бегут от меня».

Письменный стол — простой канцелярский, соответствующий военным годам. Интересно, что думал Пришвин вообще о письменных столах. В 1948 году он записывает:

«...еще страшнее думать, что я сам поверю в то, что мне приписывают, перестану в лесах сидеть на мокрых пнях и сочинять, и куплю себе настоящий писательский письменный стол».

Он упорно отстаивает свои «нерукотворные» столы в природе. Так, в 1950 году он пишет: «Кабинет не так-то мне уж нужен. Напротив, только в кабинете я почувствовал, как независим мой внутренний мир от кабинета». (Эта запись по поводу московского кабинета.) А о дунинском: «Нет у меня до сих пор отдельного независимого кабинета, и боюсь, что если устроюсь, если не будут щекотать мои нервы домашние, то я просто усну в своем независимом кабинете...»

Запись последней осенью: «Вдали каждый день за густыми зеленями разгораются больше и больше золо-

гые леса. Но раньше меня при этом самого тянуло к уткам, вальдшнепам, тетеревам. Теперь тоже золотые леса, и я знаю, в них сохранилось все то же. Но зачем же мне теперь тянуться, шагать, тащиться с ружьем, если теперь я могу только подумать, и все ко мне прилетает, садится за письменный стол.

Теперь мне только раз взглянуть на леса из своего окна — и все мое царство возле меня собирается».

Под стеклом на столе лежит вычерченный Пришвиным план нашего леса. План был всегда при прогулках в кармане, на нем отметки рукой Пришвина мест, где «водятся белые грибы».

В столе много дорогих нам памятных предметов, и сейчас не будем их перечислять. Скажем лишь об орденах («Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени), членских билетах (Союза писателей, охотничьем), о шоферском удостоверении... И еще — о последнем мундштуке. Берег он его для памяти о данном себе слове не курить, хотя, не будем таить, не раз срывался.

Школьный пенал, сохранившийся с детских лет Михаила Михайловича, с его надписью. В пенале — значок «Юный турист», преподнесенный Пришвину на слете юных путешественников в ЦК ВЛКСМ зимой 1948 года.

Запись: «Выступаю среди юных в ЦК. Буду говорить об охране природы... Прошлый год состоялось решение Совета Министров об охране: местами наша родина начинает лысеть... ...Во время моего доклада-импровизации наслаждался вниманием аудитории».

В первый раз тогда прозвучали с трибуны, а потом уж вошли в печать слова Пришвина:

«Пионеры! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни... В кладовой солнца надо завести человеческий порядок и охранять его.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину. Будем же при школах, в пионерских лагерях и всюду, где только можно, начинать это дело.

Обращайтесь к вашим учителям и вожатым, они вам укажут, как надо это начать».

В ящике стола рукой Пришвина наколочен гвоздик, на котором висит его ключ от машины — «ключ счастья»: «...В природе чудится где-то свобода или счастье, и ключик в кармане от машины представляется ключиком к счастью».

На столике в углу собраны (как стояли и при жизни Михаила Михайловича) разные принадлежности охоты, садовой и столярной работы, а также принадлежности фотографии.

Сохраняются книги по фотографии на русском и немецком языках. Они испещрены заметками рукой Пришвина.

За эти годы в обществе распространились отпечатки с негативов Пришвина; мы делаем их по просьбе издательств, журналов, музеев, кружков и отдельных читателей. Многие, в свою очередь, дарят нам свои снимки и диапозитивы. Они делают их на местах, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Есть у нас в Дунине подаренные, прекрасно оформленные альбомы, особенно много сделал в этом отношении инженер (он же любитель-фотограф) Константин Константинович Попов. В 1965 году студией «Диафильм» был выпущен диафильм о Пришвине «Дорога к другу», сделанный тем же Поповым. Нельзя не упомянуть здесь о многочисленных прекрасных снимках профессионала-фотографа Виктора Сергеевича Молчанова.

Весь этот материал обогатит в будущем фонды и экспозицию мемориального дома М. М. Пришвина в Дунине.

В двух шкафах стоят книги самого Пришвина и книги других авторов, которыми он пользовался при очередной работе.

Дунинская библиотека Пришвина поражает тем, что она очень маленькая. Объясняется это просто, и мы уже рассказали об этом: Михаил Михайлович под конец жизни решил очистить свою библиотеку от всего второстепенного, оставив себе лишь «вечных спутников». Конечно, живая жизнь неуклонно ее пополняла.

В библиотеке стоят словарь Даля, славяно-русский словарь и энциклопедический Брокгауза и Эфрона, книги классиков русской и зарубежной литературы. Тут же маленький атлас мира с затертыми до дыр картами, по которым Пришвин следил за военными действиями, живя в Усолье во время Великой Отечественной войны.

Специальную полку составляют книги, которые Михаил Михайлович изучал, создавая «Осудареву дорогу» и «Корабельную чащу». Здесь научные книги о лесе, административные и географические справочники. Еще одна полка в шкафу: практические руководства по фотоделу, по вождению автомобиля и уходу за ним, литература по вопросам охоты и охраны природы.

Ценностью библиотеки являются книги с авторскими дарственными надписями. Среди них книги М. Горького. Например, книга «Мои университеты» с надписью: «Собрату М. М. Пришвину. М. Горький. Napoli. 15.1.26».

Раздел книг с дарственными надписями неизменно пополняется и сейчас: авторы присылают свои книги в дар дому Пришвина. Но здесь я расскажу лишь об одной: она к тому же не от автора, а всего лишь от читателя. Это редкая книга — словарь славянского и

русского языков, издание 1867 года под редакцией Востокова. Появилась она у нас при следующих обстоятельствах: как-то ранней весной 1941 года (мы жили еще в городе) раздался звонок. Я открыла дверь, там стоял человек. Он подал мне тяжелый, много раз перевязанный бечевкой предмет и быстро ушел.

Я развязала бечевку... Это была толстая книга — старинный словарь, тщательно, хотя и очень «кустарно» отремонтированный. Под крышкой ветхого переплета на развороте были вклеены страницы, на которых мы прочли нарисованную в детской манере надпись: «Другу всего живущего, ваятелю красоты словом — Михаилу Михайловичу Пришвину от признательного читателя. Москва. 1941».

Вокруг надписи были наклеены, тоже как это сделал бы ребенок, вырезанные из какой-то книги изображения «всего живущего» — разных тварей, начиная с медведя и кончая пчелой и ржаным колосом.

На обороте страницы наклеена одна фраза славянским шрифтом из Экклезиаста: «В заутрии сей семя твое, и в вечер да не оскудевает рука твоя».

Мы так и не узнали никогда, кто был даритель...

Многие книги в библиотеке имеют пометки рукой Пришвина. Упоминания о них и размышления разбросаны по его дневникам. Для примера приведем некоторые записи:

«Читаю «Войну и мир» — не читаю, а пью. Интересно бы знать, как это читает теперь молодежь. Тоже хорошо бы решить ясно: в чем же сила Толстого, если это не только поэзия, то что же это у него сверх поэзии? Вот этот ответ и есть цель моего нынешнего чтения».

«Красота светит всем, но не каждому: не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает, — не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает.

Русская литература, конечно, в красоте вырастает как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни вне красоты. Что это́? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи».

«Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия — не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен.

И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский».

«Я сказал молодым почитателям Маяковского: «Только вы должны понимать, что Маяковский сделался нашим не силой поэтического кривлянья и фигуранства, а силой внимания к грядущей народной жизни... Я знаю это по Блоку и по себе».

«При чтении «Записок охотника». ...Вера без дел мертва. А любовь? Дело любви — это дети, но если не дети? Если не дети, то все: всякое дело на свете должно быть делом любви. Так вот и сочинения Тургенева были делом его любви».

«Бабушка в «Детстве» Горького мне кажется самым удачным в русской литературе образом нашей родины. Думая о бабушке, понимаешь, почему родину представляют у нас все, всегда в образе женщины-матери, и тут же хочется вспомнить, кто в русской литературе нашу родную землю представил так же хорошо не только как мать, а и как землю наших отцов — как наше отечество».

«Читаю «Консуэло» Ж. Занд (впервые) и радуюсь гению этой женщины. О господи, как мало я понимал...

женщину, и как мало, кроме избранных, и сейчас вокруг меня ее понимают... Восхищаюсь и редкостной темой (святая певица), и творческим размахом».

«Заканчиваю читать старинный роман. Мне он читался как современный... Вот, оказывается, откуда этот романтизм, вытекающий из 30-х годов прошлого века, из общества Ж. Занд и Виардо... Второе — роман пытается раскрыть мою тему: искусство как образ поведения. Третье — возможное величие женщины.

Роман питал наших писателей: узнается происхождение Ставрогина из Альберта и многое другое. Пророчески сбылся в последней войне бандит барон Тренк. Учитель Порпора — разоблачение подвига искусства для искусства.

А что значит совпадение моего поиска мифа в фольклоре! Явно, что я тоже... выходец 30-х годов прошлого столетия... Так в наших душах топчутся времена».

«Хемингуэй — это фронтовая душа, то есть такое состояние духа, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не остается, а между тем, к удивлению самого себя, ум работает гораздо яснее даже, чем в гармонии с сердцем. Это у него умные записи последнего сердечного стона.

Нужно ли это? Наверно, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку...»

В библиотеке Дунина лежит книжка «Кладовая солнца» (библиотека «Огонька» за 1946 год). На обложке неудачный портрет Пришвина, им замазанный, с шутливой надписью: «Очень обидно! Зубные врачи да-

же жалуются, что мал рот, а они, подлецы, что сделали!» А рядом — американское издание той же книги (1952 г.) с цветными иллюстрациями американского художника. На одной из иллюстраций Пришвин аккуратно заклеил рисунок собаки и написал: «Этой бумажкой закрыта собака, та самая Травка, которой Антипыч, умирая, перешепнул свое слово о Правде. Собака художнику не удалась».

В кабинете Пришвина мы организовали уголок памяти путешествий Пришвина по Северу, где, по его словам, он «родился как писатель». Среди прочих предметов мы видим тут этюд маслом «Белая ночь» — подарок нашего дунинского художника В. Панфилова. Здесь же и кошель (заплечная плетенная из бересты сумка), он прислан нам в подарок от петрозаводского охотника и рыболова Ф. Пахомова. С подобным кошелем Пришвин исходил Север в начале века. Сейчас это редкая вещь, и Пахомов долго искал ее для нас в глухих деревнях своего края.

В кабинете висит фотография окна и вид из него на луг и заречные дали. Она сделана самим Михаилом Михайловичем. Запись в дневнике: «Летней ночью несколько раз просыпаюсь... по привычке следить за ходом ночи, вдохнуть чудесного воздуха в открытом окне. Теперь еще ночи светлые и темнеет на какой-нибудь час или два.

И вот уже дня три было, подхожу к окну сонный, вижу, светятся два окна... С этим и засыпаю... А сегодня ночью как глянул туда, так поймал себя и спросил: «Да какие же это окна, кто там живет?» И вдруг как будто наконец-то опомнился и понял, что это не окна, а сквозь темные кусты и деревья река наша Москва выглядывает».

Вот откуда, может быть, и родилась у Пришвина в Дунине мысль дать своей будущей книге название «Глаза земли».

В углу стоит самодельная кровать для Жальки с натянутой на нее сеткой, «чтоб просыхала шерсть». Запись: «Несколько раз в ночь я подхожу к окну, отодвигаю занавеску, гляжу на термометр и возвращаюсь в постель. Это заметила Жалька. Она трогательно привязана ко мне и в самом глубоком сне слышит меня, как слышит мать своего ребенка.

После меня непременно встанет, раздвинет носом гардины, лизнет термометр и возвратится на свой коврик возле печки».

Всякая мелочь дунинского быта или пейзажа овеяна мыслью Михаила Михайловича, и очень часто она является поводом для его поэтического раздумья в дневнике. Например, что может быть проще, прозаичнее кадушек под водосточными трубами? А вот записи о них:

«Одна кадушка под капелью у нас забыта, и до того, что к Петрову дню кругом обросла, и цветущая крапива, склонясь к воде, любовалась собой, как Нарцисс».

«Если бочка под капелью полна и вода все льется из водосточной трубы, то нужно ли раздумывать воде, чтобы перелиться из бочки, и свободным ручьем радостно с говором бежать по земле в реку, в море и, может быть, в океан?

Так я тоже мало думал о мастерстве строительства русской речи, а всегда помнил о бочке, откуда сам теку, и эта память о бочке определяла мое поведение».

«О гусях.

Смотрел и всматривался в стадо молодых гусей, дивился, что ничем не заняты, а потом: как же ничем? Они растут и ждут.

И запомнил себе: пусть мои мысли тоже сами растут, и я буду ждать».

«Дуб, если попадет на опушку на просеке, не по-

глядит на соседние елки, а вывернет свои державные суки прямо по ним к свету».

«Видел, как в лесу сосны спорили с ветром: спорили, советуясь друг с другом, как спорят гордые в правде люди с сильными мира сего, не сдаваясь силе, но стараясь ее убедить».

«*Крапива осенью.* Крапива стоит выше человеческого роста, почернела, лист измельчал и в дырочках, старая-старая... Хотел пожалеть, тронул, а она, такая старая, кусается по-прежнему, как молодая!»

«*Октябрь.* В кусту что-то зашевелилось, я пригляделся и вдруг ужасно обрадовался — это был воробей, наш воробей! Он с нами живет, он свой и никуда от нас не улетит».

«Тихо. Между деревьями синим столбом подымается прямой дым. С самого утра комарики мак толкут. Тепло, светло и так прекрасно, спокойно и умно, как не бывает весной.

А воробьи, живущие над окном, под наличниками, ведут себя оживленно по-весеннему, и у одного в носу был даже пух для гнезда.

Нашли же они себе место: им хорошо, и нам не мешают! Да, вот именно такое утро сегодня, как будто каждое существо на земле нашло свое место, и никто никому не мешает: вот истинный образ мира во всем мире».

Такие записи из дунинского дневника можно было бы нам приводить без конца. Все они свидетельствуют об одном: нет для Пришвина «мелочей»! Все полно многообразия и смысла. И если пойти по этому пути сердечного внимания, то дни наши превратятся в поток открытий — радостное ощущение всеобщности, ответственности и связи.

ЭПИЛОГ



ало найдется писателей, у которых во время работы над очередной книгой в глубине души не таится мысль: «Главную книгу свою я еще не написал». Пришвин не был исключением.

«Как мало я сделал для поэзии, но как чудесно для поэзии создана богом и природой душа моя...» (1946 г., Дунино). Недооценка труда? Требовательность? Скромность? Тут недосказано какое-то более глубокое содержание, чем просто высокое требование к литературному произведению. Вернее всего, это была требовательность к себе, постоянный вопрос совести — что удалось изменить в жизни в сторону прекрасного средствами искусства?

Когда Пришвин начинал свое писательство, у него были такие слушатели и читатели, его современники, как Горький, как Шаляпин, они оставили нам слова восхищения; такие, как Блок, благожелательно, но осторожно прислушивавшийся к его голосу. Большинство же проходило мимо.

Михаил Михайлович вспоминает, как А. Н. Толстой приехал к нему с визитом в его убогую комнату на окраине Петербурга, которую он снял без мебели и

жил на полу, потому что так ему удобнее было работать. Он вернулся тогда из поездки по Северу, привез массу листков с записями фольклора, на полу было удобно раскатывать и склеивать эти листки в длинную ленту, которую он скатывал на два ролика. Таков был прием его работы: он заучивал слова и поговорки, перекатывая ролики «на конках, в амбулаториях, в приемных, на полустанках в ожидании поезда...».

«В своей отличной шубе он (Толстой) остановился на пороге моей комнаты, изумленный. В совершенно пустой комнате на полу, подстелив под себя пальто, на животе лежит среди бумаг, записок и лент этот самый «Пришвин».

Мне было до крайности стыдно, что столь блестящий светский молодой человек ворвался в мою мастерскую и сделался свидетелем моей интимнейшей жизни. Я стал рассказывать... Толстой, по-своему как-то мигая, строя серьезную мину и в то же время явно сдерживая смех, сказал: «А ленты-то для чего?»

Я раскатал ролики и, перекатывая один на другой, показал. Тут он не мог не расхохотаться и сказал: «Ну, так написать рассказ невозможно».

— А вот напишу, — сказал я.

— Не напишете, не напишете, — повторил он со смехом, уходя от меня.

...Я простил ему его смех, не мог же он, столь счастливый писатель, понять, что ролики мои не были просто способом усвоения материала, а вытекали из всей темы моей жизни — творчества как поведения» *.

Первые читатели первых книг Пришвина не знали еще, не угадали еще тогда «главную книгу» этого человека. Оказывается, это была скорее даже не книга, а завещание, обращенное к нам, идущим по его следу,

* Дневник 1941 года, 13 января.

Пришвин объясняет это слово уже под самый конец, живя в Дунине, так: он писатель, который пишет свои книги как завещание о душе своей грядущим поколениям, чтобы ему самому непонятное они бы поняли и усвоили себе на пользу.

Мы улавливаем в этих словах какое-то недоумение, почти робость перед загадкой человеческой души и — что самое поразительное — самоотдачу себя нам, будущим; доверчивую просьбу понять и, главное, принять его труд и его жизнь «себе на пользу». Такой самоотдачей, видимо, живет каждый творец — большой и малый, часто этого не сознавая.

Долго Пришвин был понимаем своими читателями просто как «охотник». А он был, оказывается, всю жизнь «охотником за собственной душой». С годами это открывалось перед нами все глубже, все яснее.

Пришвин поселился в Дунине и сказал себе: «Теперь видно становится, что из этого дома уже не уйти, что этот дом — последний». Это не было остановкой, потому что он тут же добавляет: «Раньше я был в поисках края непуганых птиц и описывал все незнакомое. Теперь я наконец дома... Как будто я сам сижу на месте, а мир ходит вокруг меня, и по знакомым близким предметам я постигаю его движение». И еще короче: «Я стал — мир пошел».

Изменилась только точка наблюдения. Мы помним слова Пришвина на его 80-летии в юбилейной речи: «Мне говорят, молодец — и я молодею». Он так и не признал ни остановки, ни старости. С этим и ушел.

Клочок земли, на котором стоит дунинский дом, засеян писателем многолетними семенами (он когда-то был агрономом, и мы законно прибегаем здесь к этой метафоре). Семена всходят и дают множество побегов:

это мысли, образы, живые люди, постепенно создающееся их единство. Это значит — мир дружбы, мир несомненных ценностей.

Так пишется «главная книга» Пришвина, которая не может быть закончена никогда.

После кончины М. М. Пришвина прошло 20 с лишним лет. В 1973 году отмечалось 100-летие со дня его рождения.

Выходят новые книги. Имя его постоянно вспоминается на страницах журналов и газет, говорят ли люди о теории искусства, или о психологии творчества, или о воспитании человека, или о соотношении понятий «личность» и «общество», или, наконец, о природе, ее роли в жизни человека и ее охране — насущнейшая тема наших дней. Даже когда говорят о перспективах изучения космоса, имя Пришвина начинают вспоминать теперь рядом с именами наших крупнейших ученых: Вернадского и Циолковского.

По дневнику Пришвина (этой «главной книге») разбросаны во множестве мысли, как зерна. Многие еще не проросли, требуют времени для их роста.

К. Паустовский заметил, и нам важно запомнить его свидетельство: «Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им — сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства» *.

Мысли Пришвина протягиваются нитями к новым поколениям, и мысли эти оказываются действительно молодыми.

Все это — как радостный вызов концу, потому что хотя Михаила Михайловича и нет сейчас с нами, но

* К. Паустовский. Книга скитаний, гл. «Лесовик».

остаются его зори, его весна света, весна воды, весна зеленой травы, весна человека.

Смерть — это не роковой барьер жизни творческого человека. А увядание и старость — это только «для себя маленького», это иллюзорно. Есть и по-настоящему навсегда будет — это Всечеловек. «До чего он хорош!» — восклицает Пришвин. Мы понимаем его: без такой веры в возможность совершенства не может быть и движения в ту прекрасную сторону. Для этого прекрасного мы живем, трудимся, умираем и вливаемся в целостный организм Человека, как лесной ручей вливается в океан.

Свет мудрости и свободы, то есть умение видеть мир разносторонне и в то же время цельно, льется на нас со страниц пришвинской прозы. Михаил Михайлович как бы говорит нам: «Одной логикой, как сетью в море, вы не поймаете истину, потому что истина не золотая рыбка, а сам океан».

Пришвин доверяет самой силе жизни, силе текущего времени, которые в соединении с доброй волей человека образуют историю. Эта сила подобна силе бесчисленных малых ручьев, размывающих почву и стремящихся в океан. Таким малым ручьем ощущает себя Пришвин: «Рано ли, поздно ли — ручей мой размоет скалу и, больше того, обратит ее в плодоносную землю... Нет разных дорог для воды, все пути, рано ли, поздно ли, непременно приведут ее в океан».

Отдельный человек — это как песнь маленькой птицы в общем хоре весенней жизни... Еще раз вспомним: «Ночная птица соловей поет — слышат все, а певца не видно. И если и увидишь при свете, то что прибавит к песне вид серенькой птички?»

Это образ себя самого. Именно таким он становится нам дорог и значителен.

Когда мы приехали в Дунино, нашей первой весной мы услыхали соловьев — не одного, не двух, — это было целое соловьиное царство. Они пели в черемуховых зарослях у самого нашего забора, и по всему высокому склону, и в кустарниках за рекой.

Прошло с тех пор много лет. Вокруг растет человеческая жизнь... Но каждую весну у нас совсем рядом поют все те же дунинские соловьи.

СОДЕРЖАНИЕ

Пришвина В. Д.

П77 Наш дом. М., «Молодая гвардия», 1977.
336 с. с ил.

Книга о жизни и творчестве М. М. Пришвина. Органическое соединение рассказа автора В. Д. Пришвиной с дневниковыми записями самого писателя создает обаятельный образ Пришвина — мыслителя, писателя, человека. В книге представлены фотографии М. М. Пришвина.

8Р2

П $\frac{70302-077}{078(02)-77}$ 250—77

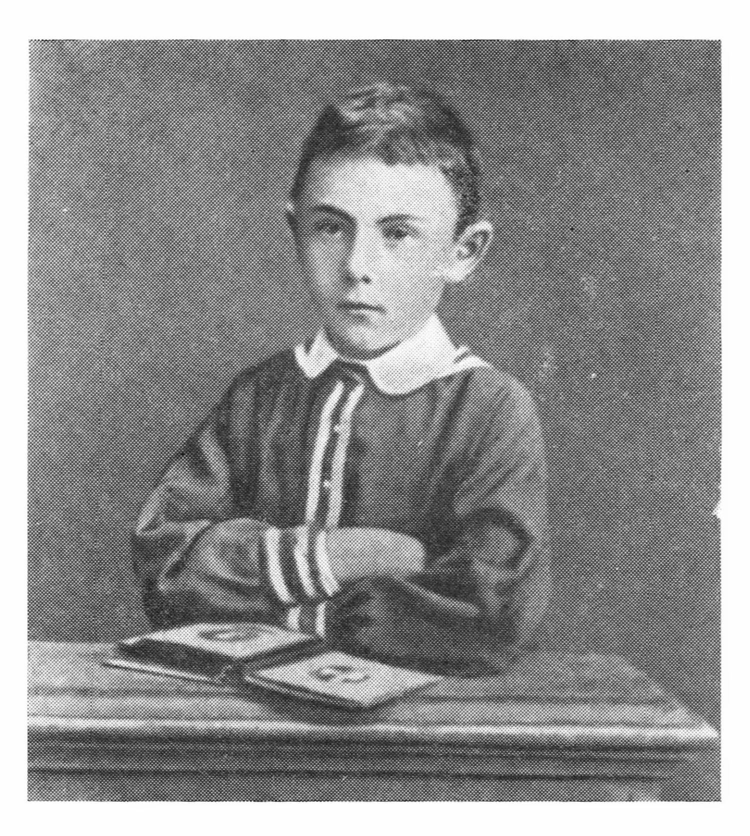
ИБ № 546

Валерия Дмитриевна Пришвина
НАШ ДОМ

Редактор **А. Алексеева**
Художник **В. Павлюк**
Художественный редактор **К. Фадин**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **З. Харитонова, Н. Павлова**

Сдано в набор 28/IX 1976 г. Подписано к печати 28/II 1977 г. А00587. Формат 70×108 1/32. Бумага № 1. Печ. л. 10,5 (усл. 14,7) + + 8 вкл. Уч.-изд. л. 15,3. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 14 к. Т. П. 1977 г., № 250. Заказ 1629.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



Миша Пришвин восьми лет — Курымушка.

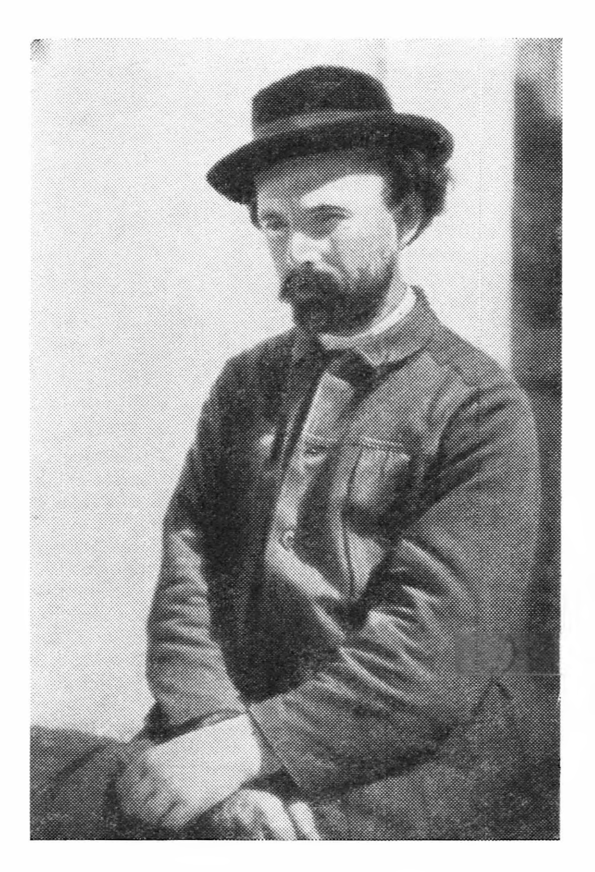


Въ краю непуганныхъ птицъ.

Очерки Выговскаго края

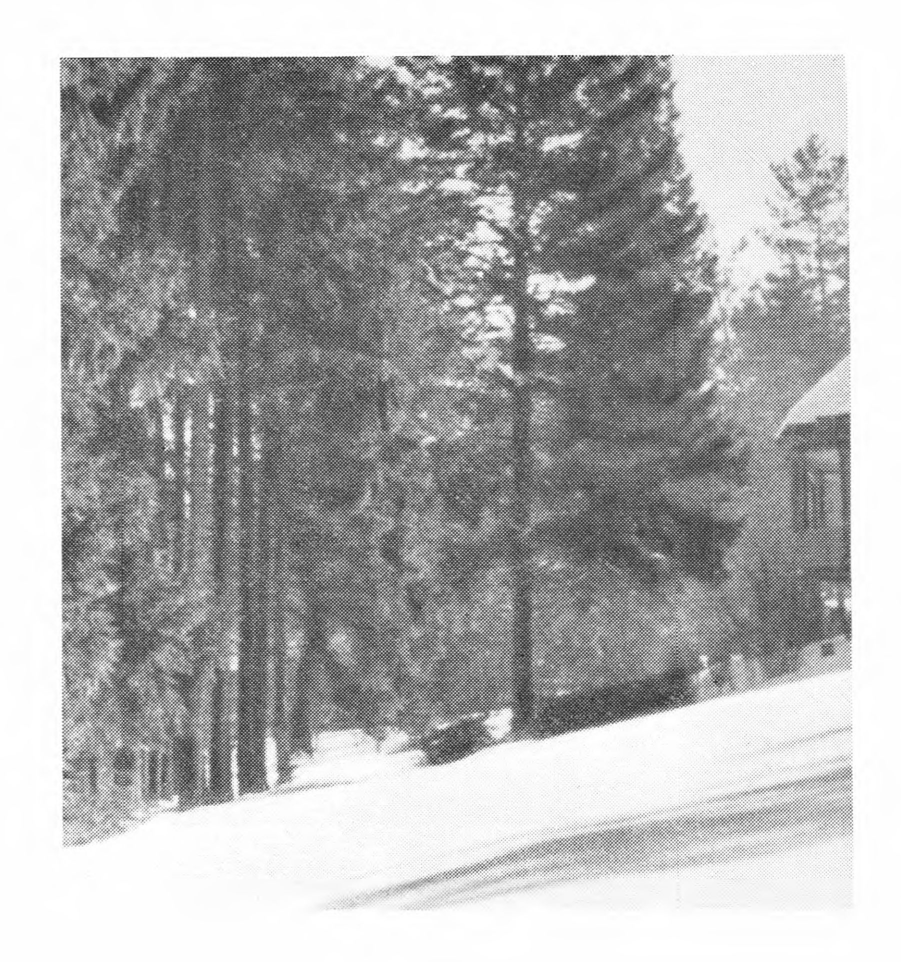
М. Пришвина.

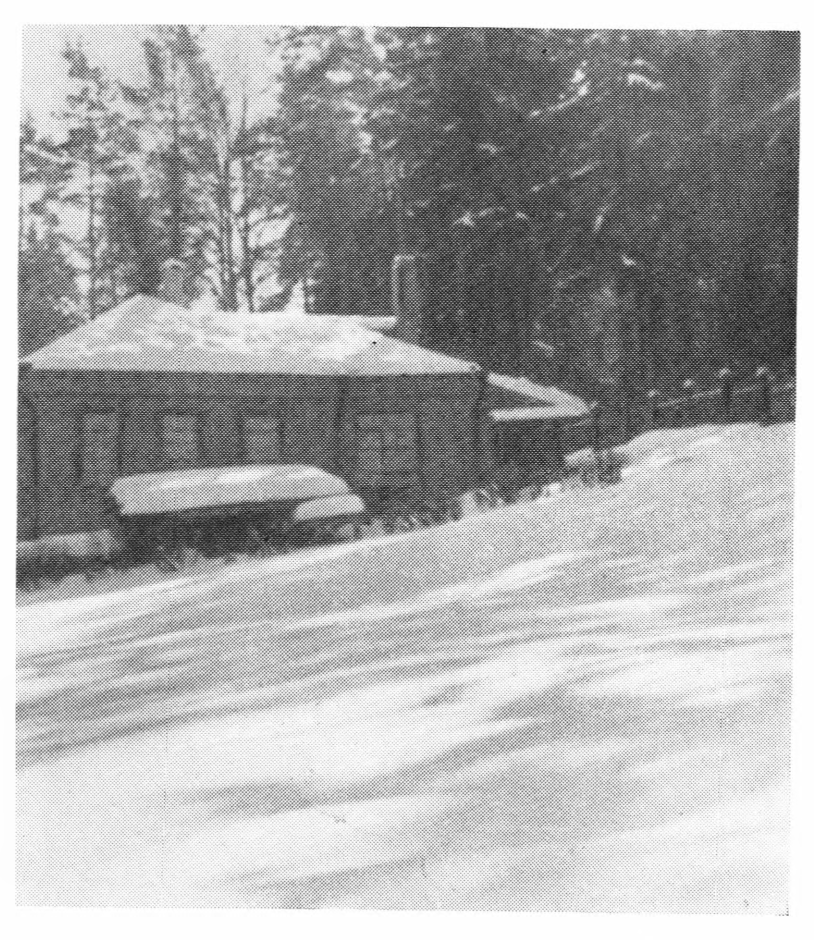
Изд. А. Ф. Девріена.



М. М. Пришвин в Новгороде
накануне первой мировой войны.

Первая книга М. М. Пришвина. 1907 г.

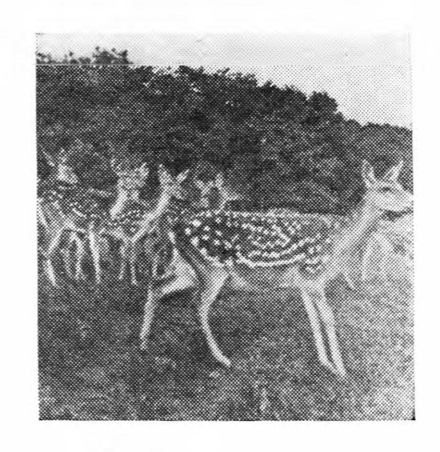




Дом в Дунине.

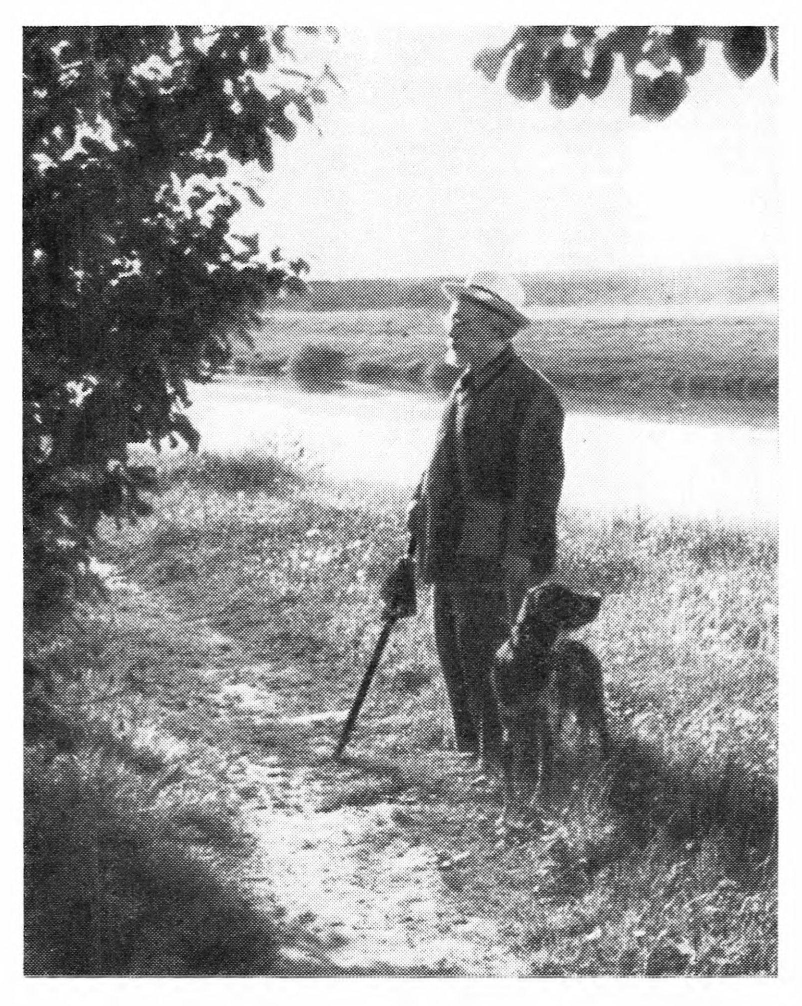
Под Костромой. 1938 г.

Кабардино-Балкария. 1936 г.

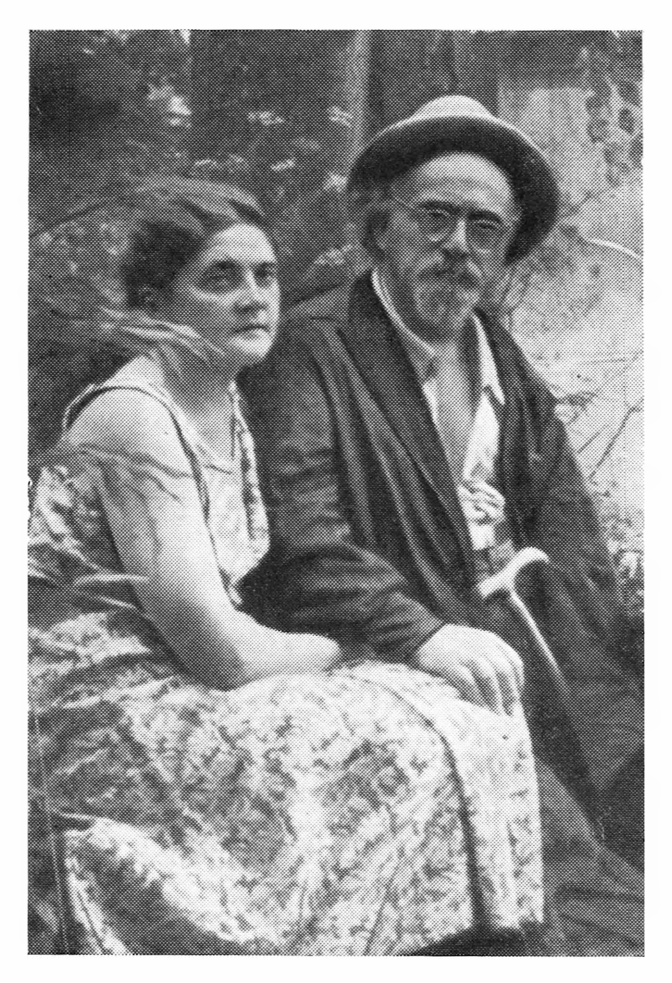


Дальний Восток. 1931 г.
Фото М. М. Пришвина.

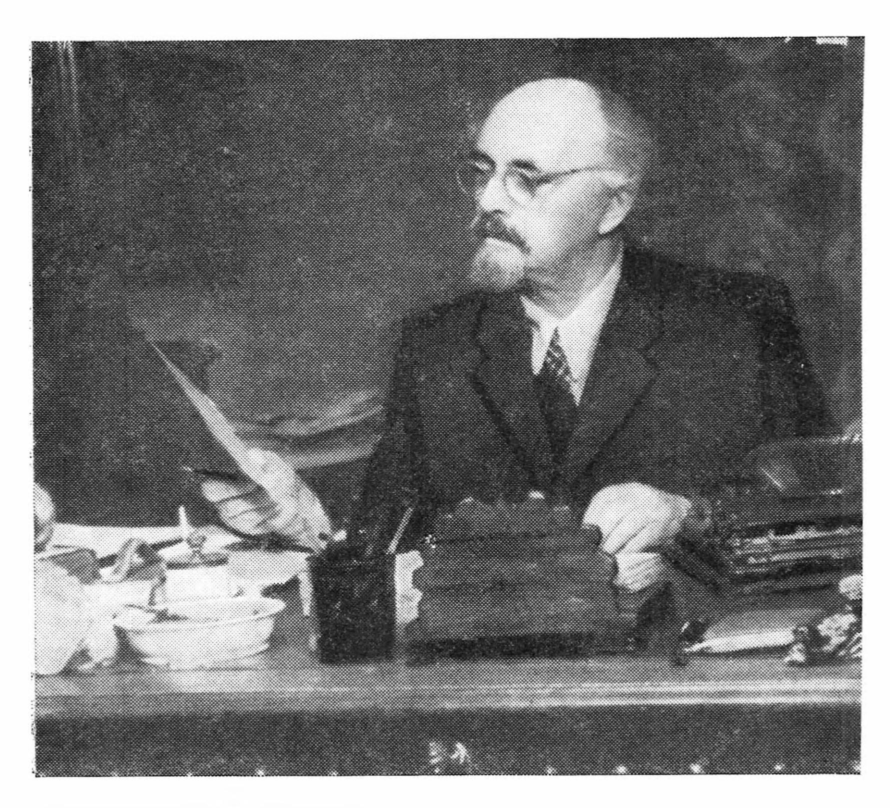
Север, деревня Лавела. 1935 г.
Фото М. М. Пришвина.



Михаил Михайлович на берегу Москвы-реки в Дунине. 1950 г.



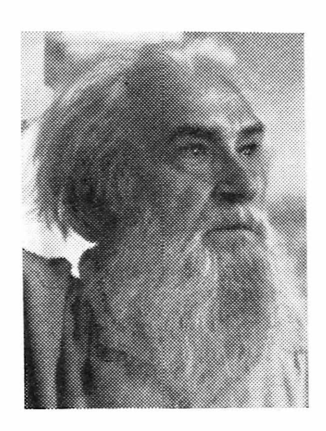
В. Д. и М. М. Пришвины. Дунино. 1952 г.



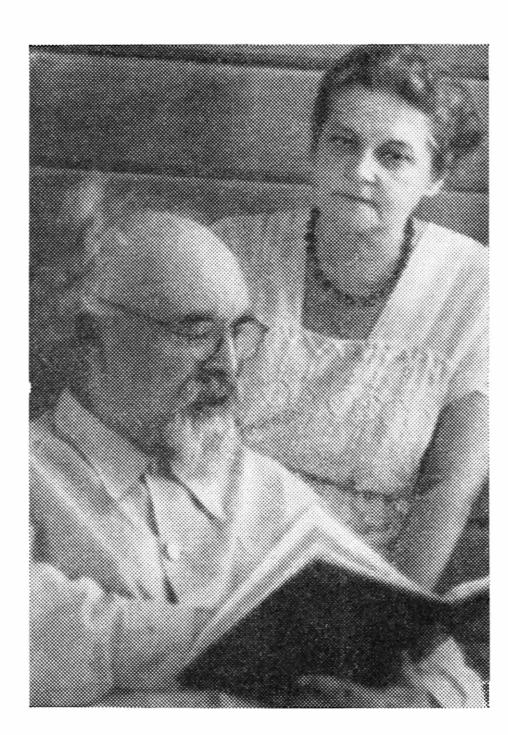
В московском кабинете. 1950 г.



Страничка из дневника.



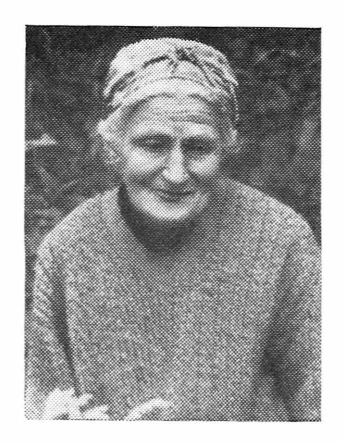
Сергей Тимофеевич Коненков.



М. М. и В. Д. Пришвины.
Дунино. 1953 г.

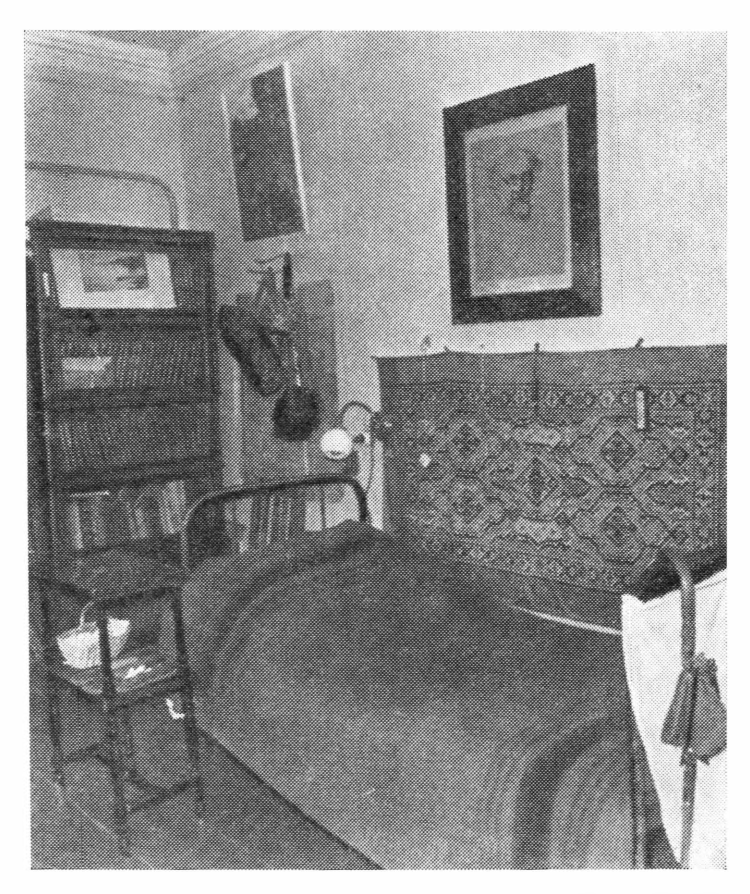


Петр Леонидович Капица. 1950 г. Фото М. М. Пришвина.



Мария Васильевна Рыбина. 1974 г.

Евгений Александрович Мравинский с Жалькой. 1957 г.



Комната М. М. Пришвина в Дунине.

Веранда в Дунине.

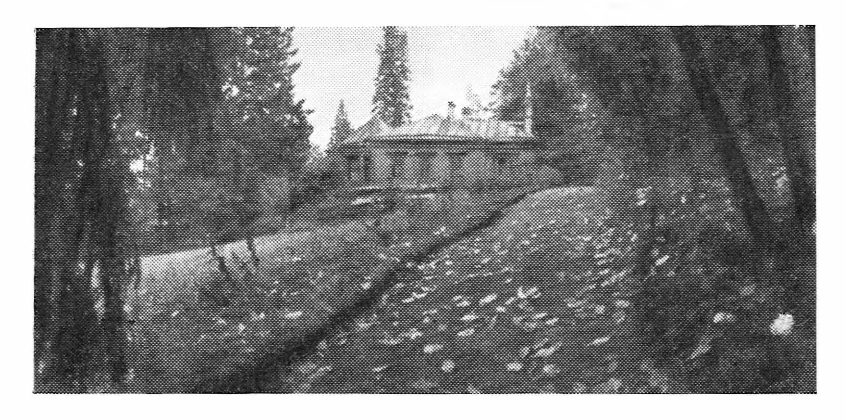


Жалька. Фото М. М. Пришвина.



Птица Сирин. Памятник работы С. Т. Коненкова на могиле М. М. Пришвина.

«Листья в липовой аллее уже хорошо и серьезно шумят под ногою. Слышишь ли?» (М. М. Пришвин).



1 р. 14 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ